

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

М.Н. АКимова (зав. отд. публицистики)

Н.М. АХПАШЕВА

Б.Л. АЮШЕЕВ

А.Г. БАЙБОРОДИН

Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ

Б.Я. БЕДЮРОВ

В.А. БЕРЯЗЕВ

Б.В. БУРМИСТРОВ

В.В. ДВОРЦОВ

Б.С. ДУГАРОВ

А.И. ИВАНТЕР

В.Н. КАЗАКОВ

А.В. КИРИЛИН

Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)

В.Н. КОСТИН

М.В. КУДИМОВА

С.Г. МИХАЙЛОВ (зав. отд. поэзии)

А.М. РОДИОНОВ

Э.И. РУСАКОВ

В.Н. СЕРОКЛИНОВ (зав. отд. прозы)

В.И. ТИТОВ (отв. секретарь)

М.А. ЧВАНОВ

Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА

В.Н. ЯРАНЦЕВ (зав. отд. критики)

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

10 октябрь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Юлия МАКСИМОВА. Или вот еще... Миниатюры.	3
Марина КРАСУЛЯ. Кугуар. Повесть.	13
Ефим ГАММЕР. Или Ада. Главы из романа.	81
Сергей ПЕТРОВ. Дневник карьериста. Рассказ.	94

ПОЭЗИЯ

Виктория ИЗМАЙЛОВА. Вечные мальчики. Стихи.	9
---	---

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Алексей АЧАИР. Борис Савинков. Поэма. <i>Предисловие Владимира Росова.</i>	124
Алесь АДАМОВИЧ, Василь БЫКОВ. Диалог в письмах. <i>Предисловие Михася Тычины.</i>	133

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Борис ПОЗДНЯКОВ. Гражданская война и чехи в Сибири.	146
Владимир АЛЕЙНИКОВ. Саю ваю. <i>Окончание.</i>	153

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Александр ЧЕХ. Владимир Высоцкий: грани поэзии, или Ревность муз.	178
Владимир ЯРАНЦЕВ. Памяти Бориса Климычева.	185

ЛИТЕРАТУРА НОВОСИБИРСКА

Иван КОЗОДОЙ. Что нам стоит дом построить. Главы из повести.	104
Юлия ПИВОВАРОВА. От Васи к Наде. Стихи.	77

Книжная полка

Владимир ЯРАНЦЕВ. Свиток мгновений, анафоры магия.	187
--	-----

<i>Авторы номера</i>	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

ИЛИ ВОТ ЕЩЕ...

Миниатюры

Декабрь. Достать чернил и...

Я, это, захохотал — мне, стало быть, смешно стало. Я говорю:

— Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а ты вокруг посмотри — все в работе, как в драке...

— Нет, — говорит она, — я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил.

— Ну а я?

— А ты? — смеется она. — Ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет...

А. Грин. «Алые паруса»

Каждый Новый год я пишу письмо Дедушке Морозу. Начинается оно всегда одинаково: «Ну, знаешь ли, это уже слишком...»

В детстве я мечтала быть Златовлаской, артистом Гойко Митичем и любимой девушкой молоденького Олега Янковского в роли Генриха Шварцкопфа. Видите, какой у детей хороший вкус. Но ведь мечтать по-взаправдашнему умеют только дети.

Маленький пузатый мальчик в метро уютно гудит носом — играет трансформером. Его мама — с такими же, как у мальчика, пухлыми капризными губами — надеется, что мальчик, когда вырастет, будет банкиром. В крайнем случае — военным. А мальчик мечтает стать ниндзя или изобретателем игрушек, он еще не решил. Ведь жизнь такая бесконечная.

Вот девочка сидит за стеклом дорогого автомобиля. Ее маленькое ухо обиженно оттопырено в сторону папы. Папа совсем сошел с ума — сегодня он записал ее на курсы китайского. А ведь есть еще дурацкий теннис, танцы, кружок по го, японским шашкам. Папа надеется, что хотя бы дочь будет счастливой. Папа думает, что счастье — это стать женой дипломата, в крайнем случае — выучиться на переводчицу с китайского. А девочка мечтает снять брегеты, вон ту серебряную звезду с городской елки и познакомиться с чумазым хулиганом Вовкой из дома напротив. Или, может, все-таки стать принцессой. Она еще не решила. Она подумает об этом в третьем классе.

Мой папа каждый декабрь вспоминает каптри Мамедова. Давным-давно, когда в нашей стране еще не было ватных палочек и президентов (вот в какой прекрасной стране мы жили!), Мамедов мечтал об отпуске. Почти год автономок мечтал, от постоянного недосыпа дрожали голова и руки. И вот однажды, тихим-тихим зимним вечером, каптри заснул на вахте. И приснилось ему, что на судне проверка. А все офицеры знают, что результаты проверки и отпуск — вещи, крепко-накрепко между собой связанные. Во сне у Мамедова было почти все хорошо, судно стерильное, личный состав в наличии, вот только сверхсрочник Самсонов приволок с берега женщину Зинаиду тайным манером и прямо сейчас чаевничал с нею на камбузе. Тогда Мамедов вскочил, прямо во сне пришел на камбуз и, как Стенька Разин, выбросил за борт пожилую буфетчицу Марию Генриховну, ошибочно приняв ее за легкомысленную Зинаиду. Провел, так сказать, зачистку. Списан был после этого

интересного случая пассионарий Мамедов по невятной причине — лунатизмом в нашей прекрасной стране офицеры тогда не болели.

Вокруг волшебный месяц декабрь: ноги мокрые, нос красный, под юбку дует, в брюках несексуально — когда еще мечтать, как не в канун Нового года... Надо просто посмотреть вокруг.

Кассир супермаркета Ирина надеется, что в новом году этот постоянный клиент, мужчина с мягкими чистыми пальцами без кольца, однажды пригласит ее. Все равно куда. Она мечтает прямо на работе, что-то говорит сама себе и смеется, всплеснув пухлыми прохладными руками. И уже совсем другой мужчина, с другими пальцами, внимательно начинает на нее смотреть...

Осужденный Матвеев, отбывающий срок за драку в исправительной колонии общего режима номер сто десять, мечтает вернуться к профессии дизайнера, когда выйдет. А еще он надеется, что жена Надежда правильно воспитывает их сына — маленького пузатого мальчика трех лет. Он ходит по *xame*, курит, слыша скрип в коленях, и пишет SMS: «Надька, привет, вот и две Пасхи прошло». Надька уже знает, что сроки зэка считают не годами, а Пасхами, и мечтает, чтобы у мужа перестали болеть колени. Хотя это почти невозможно...

А еще одна знакомая женщина вспоминает другую зиму, на побережье. Когда снег идет прямо в море и прозрачная светло-зеленая вода густеет прямо на глазах. Даже ее глупая собака из той зимы становится серьезной, топорщит усы и ест снег. Женщина мечтает закончить наконец свой отчет и уехать из большого города. Домой.

Нам, женщинам, перед Новым годом надлежит быть воздушными, трепетными и благодными. Тонкими пальцами перебирать старые фотографии, шуршать блестящими обертками подарков, снимать нагар с ароматных свечей фамильной серебряной ложечкой... А не говорить с мужчинами о политике, не орать на подчиненных и не писать про свои мечты Дедушке Морозу открытку, которая начинается традиционно: «Старый ты забывчивый поц...»

Искусство флирта

В четыре года она понимает что, огрев пластмассовой лопаткой цвета фуксии по хребту Иванова Вовку, можно заставить его уступить качели. Если повезет — и начатую барбариску.

В пять лопатка еще необходима, но если зареветь, то Вовка съедает за нее порцию вермишелевой запеканки и даже пьет ее кипяченое молоко. Мишка, Андрей и Сережка тоже не выносят громкого рева. Впечатлительный Мишка носит ей игрушки из дому. До первой инвентаризации. Кокетство еще туманно, но ощутимо стучит — прямо в песочницу.

В семь она открывает мир *взгляда*. Если долго смотреть на Стасика, он дает списать, барбариску и яблочко.

Становится понятен смысл идиомы «перегнуть палку». Она долго тренируется на Вовке. Всю математику Вовка волнуется как первоклассник, жует промокашку и вовсю придумывает, как понравиться. Барбарисок у Вовки нет. В результате на русском он отрезает ей лезвием косичку — придумал. Она помнит Вовку до сих пор.

В восемь она понимает, что мальчики разные. На кого-то можно просто смотреть. Но есть другие. Смотришь на него, смотришь — и ничего не происходит. Потом отлупишь мешком со сменкой — и опять есть домашнее задание и яблочко. Барбариски сами по себе волшебным образом появляются в парте. Каждый день.

В пятнадцать она, конечно, уже не дерется. Она смеется. Она обнаруживает, что привычка облизывать губы заставляет бледнеть старенького тридцатилетнего физика. Возле подъезда ее каждый вечер караулят двое громких в шлемах. Она называет их Черпаты и Чезет-350. Есть еще Паштет на папиной «копейке». Он постоянный. Со времен пластмассовой лопатки цвета фуксии.

В семнадцать она заканчивает школу. В аттестате по поведению у нее три, а по физике, конечно, пять. Она отлично гоняет на мотоцикле и водит «копейку».

В двадцать она умеет капризно гнуть губы. Студентки университета в шутку предлагают записаться к ней на курс «Техника стрельбы глазами». Амур хохочет и неприцельно бьет вокруг. Она учится искусству флирта: место и время, как и зачем.



Интересные тридцатилетние доценты теряют волю, а старенькие сорокалетние доктора наук — совесть.

В тридцать она научилась бить прицельно. Она смеется и плачет одному, а не вселенной. Она научилась бить жадной, ведь так просто расплескать и раздарить всю себя — глаза, ямочки, улыбку. Теперь она умеет сдерживаться. Коллеги по работе — это просто коллеги. Не нужно ничего усложнять.

В сорок почти не нужно прибегать к запрещенным приемам. Флирт на уровне интуиции. Она ведет себя безупречно. Разве что иногда, забавы ради, она на секунду дольше задерживает взгляд на каком-нибудь бледнеющем мужчине. Чтобы не потерять навык, не более.

Пятьдесят пять. Во многой мудрости — многие печали. В общем-то, жизнь по-прежнему прекрасна. А массаж — лучше, чем секс. По субботам она навещает детей за городом, так и не перебравшись из мегаполиса.

Однажды у нее ломается машина. Телефон благополучно забыт дома. Она забирает пакеты с подарками из салона автомобиля. Всего два километра, чепуха. По дороге ей встречается Петрович, сосед. Он еще вполне полезный мужчина. Она выпрямляет спину и начинает пристально смотреть ему в глаза, ведь сумки тяжелые. Особенно мешает пластмассовая садовая лопатка.

Через десять минут она бросает в пыль сумки, проклинает деревянного Петровича и вспоминает Иванова Вовку из младшей группы. Она вытаскивает из пакета садовую лопатку цвета фуксии и тихо зовет соседа в спину:

— А ну-тка, повернись, Петрович...

А еще через минуту они мирно идут рядом. Сосед Петрович кричит, тащит ее сумки. Он время от времени потирает шею и уважительно бубнит:

— Че ты там, Николаевна, кирпичи, поди, таскаешь, не бережешь себя. Зашла бы на чай, что ли, когда бы ко мне, у меня и конфеты есть, барбариски, настоящие, как в детстве были...

А она идет между газонами, тихо похохатывает и думает, что жизнь гораздо проще, чем кажется. И что никогда не сравнится искусство флирта мадам Помпадур и леди Френсиз, их веера и мушки, с нашими лопатками. И с нашими мальчишками.

Не стой за ценой

... Или вот еще — в утреннюю угрюмую маршрутку запрыгивает мужчина. У него широкие плечи, мокрые волосы и улыбка. Маршрутка еще не проснулась, в салоне сыро, тесно; водитель, жадная сволочь, берет пассажиров, будто машина резиновая; окна снаружи лижет липкий городской туман; тусклый свет, тусклые лица. Мужчина возится. Возится в правом кармане, потом в левом, потом во внутренних. Потом разводит руками и весело сообщает угрюмой маршрутке: «Забыл!» Граждане пассажиры с интересом начинают смотреть в сторону водителя в ожидании представления. Мужчина поворачивается к водителю и доверительно рассказывает:

— Вот незадача, друг, — забыл кошелек. Моя мне весь мозг с утра вынесла: ты покушал, ты побрился, ты ключи не забыл... Вынеси елку, короче.

Водитель сумеречно смотрит на мужчину в зеркало, вспоминает свою.

— Все равно домой возвращаться. Я по кругу прокачусь с тобой?

Водитель молчит. Маршрутка слушает. Хрестоматийная бабка в хустынке крестнакрест и с мохнатой родинкой над губой ехидно вопрошает:

— А платить чем будешь?

Мужчина приосанивается и сообщает:

— Я буду вам петь!..

Через пять минут остановка «Метро». Подъезжает маршрутка с трехзначным номером, из нее выходят счастливые сияющие люди, выходят в утренний мрак, морось и туман. Их лица ошутимо диссонируют с остальным человечеством.

А из неопрятных внутренностей автобуса мужской бархатный голос поет из «Паяцев»: «Ridi, Pagliaccio, sul tuo amore infranto! Ridi del duol che t'avvelena il cor!» Поет так, что остальное человечество почти плачет...

Или вот еще, она мне вчера говорит:

— И я в шлюпке, в лодке, говорю тебе... Большая черная вода, луны нет... и звезды какие-то не такие, не наши, не южные. А внутри — больно. Так больно, как



будто не сгнило еще сердце. И вдруг я понимаю, что вот-вот, прямо сейчас все прекратится, я могу!.. Я забыть могу! Я беру со дна лодки лоскутное одеяло и начинаю складывать. Беру из себя — и складываю: легкие, желудок, сердце... весь ливер свой изъеденный, в общем. А все больное — я прямо вижу, как все внутренности мои болезнью этой чертовой испорчены: сердце черное, а бьется еще — так-так, так-так, так-так, тише, тише... И я заворачиваю внутренности свои, такой сверток получился, как кошачий трупик. И не плачу, нет, только вода соленая, горькая из глаз течет, океан же вокруг и холодно. Ну... как в «Титанике» холодно, помнишь?.. Беру сверток и кладу на воду. И он тонет, трупик тот. Вниз. Уходит, уходит... и всполохами внизу буквы, как в казино — помнишь, мы с тобой были в две тысячи пятом в казино? Забы-ы-ыла... И тут вдруг я оживаю. Я вроде как мертвая была, что ли... И понимаю, что я сделала чудовищную ошибку. Я ничего не забыла, ни-че-го, ни секунды — пусть больно, пусть, но пять лет... Я живая, я жить хочу! Я встаю и прыгаю в воду, за самой собой прыгаю. Только уже поздно — я прыгаю на стекло. Как будто кто-то сверху посмотрел на корчи мои и сказал: все, отдохни, нет ничего, все прошло, ничего уже не вернуть. И я стою... как Он, на воде... да нет, что ж я вру — как животное стою, на карачках... и смотрю, как уходит в никуда, в черную воду, моя душа. Успокаиваюсь, ты представляешь, — и просыпаюсь.

— Ты дура, — говорю.

— Не исключено, — безмятежно отвечает она. Поправляет макияж и закуривает. — Но, знаешь, он мне сегодня в скайп пишет: «Аня, Аня...» А я говорю: «Аня здесь больше не работает»... В жопу эту любовь.

Или вот еще — одна знакомая женщина ехала ночью. Очень неприятная ситуация оказалась. Пришли в гости со свежепознакомившимся кавалером. Кавалер казался хорош всем — челка вразлет, поэты серебряного века наизусть, чистые туфли, топ-менеджмент. Неделю гоголем ходил вокруг нее, приманивал. Настасья Петровна то, Настасья Петровна се... перед подчиненными неудобно было. Даже одномоментно сердце екнуло: он ли? На поверку кавалер оказался испорченный. Пришла на свидание в специальных туфлях от Серджио Росси, а этот... Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове — в хлам. Начал куражиться, тискать коленку и смотреть в переносицу — тут и сел старик. Хлопнула дверь, выбежала в ночь, как у Шарлотты нашей Бронте, вся в слезах. Под пьяное уханье. Ни сумку, ни телефон — ничего не взяла, так противно было. А дом на другом конце ойкумены, час машинной езды. Встала, раскинула руки белой лебедью, поймала попутку. В машине тепло, Элла Фицджеральд поет... и вонючек этих ужасных нет, с псевдооelőчной свежестью.

Адрес назвала — и вспомнила, что дома-то тоже денег нет. Все у кавалера. И так стыдно ей стало рассказывать водителю эту историю позорную — и что сорок пять уже, и что работала как автомат, и дом, и машина, и даже замуж уже не хочется, и домашние питомцы — золотые рыбки, и эти кольца, самой себе купленные. Вернулась к водителю и сказала картонным голосом:

— Дайте мне ваш телефон, пожалуйста. По объективным причинам я смогу заплатить вам только завтра.

А он на нее смотрит и молчит. Молчит!.. У нее в голове уже и картинка сложилась: сейчас высадит посреди дороги — и поминай как звали. Спи в канаве, госпожа коммерческий директор. Картинку про маньяка, который охотится по ночам за стройными женщинами с дорогой стрижкой и в туфлях от Серджио Росси, она старательно засовывала поглубже в голову. А водитель посмотрел, посмотрел — и говорит вежливо:

— А хотите чаю, женщина?

И до утра с ней по объездной катался. Слушал.

Тут бы и закончить, как в кино про товарища Новосельцева, что, мол, одна знакомая женщина родила водителю еще мальчика. И еще. И девочку. Но жизнь другая. Кавалер проспался, ужаснулся и к заутрене стоял прямо в офисе на всех коленах сразу. Оказалось, влюбился как малолетка, поэтому нес чушь несусветную. Одна знакомая женщина теперь замужем за кавалером, а тот самый водитель теперь работает у них. Десять лет уже.

Иногда мне снится один и тот же сон. Когда я умру в первый раз, меня позвуют в большую светлую комнату. Там будет сидеть приемная комиссия. Я стою одна,



босая, на теплом дощатом полу и ужасно волнуясь. Председатель комиссии прочитает мое личное дело и скажет:

— Ну что ж... Оплата произведена в полном объеме, неоплаченных аккредитивов нет — два раза платила черной неблагодарностью, равнодушием и болью. Также — тоской, временем и здоровьем. Платила слезами и памятью. Я считаю, все ясно. Вы приняты.

— Почему? — спрошу я одними губами.

— Не стой за ценой, если вещь тебе нравится, — ответит мне Председатель. И улыбнется.

Или вот еще

Лето — одно из четырех времен года между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

... Или вот еще — Костю помнишь?.. В соседнем доме жил. Все знали, что рано или поздно это случится. И он знал. Разные диагнозы ставили, и все окончательные. Год, два, месяц. И он жил... как хотел. Когда начиналась весна, он брал палатку и уходил на все лето к морю. Деньги? Нормально зарабатывал, тем не менее. Собирал мидии, рапана ловил. Никогда не сквалыжничал, повар из «Хаты рыбака», итальянец, только у него брал.

Он возвращался осенью и рассказывал нам про свое лето. Как подплыли ночью, в августе, дельфины. Шли клином, как журавли, к самому берегу. И носами вытолкали маленького раненого на гальку — ему же воздух нужен, а плыть он уже не мог. И стояли до утра с ним, с маленьким, говорили. Вся стая. Стрекотали как цикады, прощались. А на рассвете ушли...

Как проснулся однажды, а пока спал, светляки прилетели, и вся палатка была похожа на изумрудный дворец — и как же заснуть в такую ночь... Так и не спал, смотрел, чтобы запомнить...

Как в конце июля в новолуние видел дорожку, только не лунную, а от Млечного пути, и планктон горел жидким золотом; и как можно плыть и смотреть на руки: от каждого движения вода взрывалась миллиардами искр. Как пришли пузатые тучи, стало душно и страшно, вспомнилось все мутное, что в жизни было, тучи шли с моря быстро и неотвратно, как лавина, а за километр до берега встали. И прямо там началась гроза. Тучи выпускали в воду толстые страшные светящиеся столбы; всю грязь, которую с собой принесли, оставили — и успокоились.

Знаете, говорил он, что море — оно как бог, оно все примет, все услышит, все спрячет. Море — это самое хорошее, что может с нами случиться.

Он был для нас Оле Лукойе, заколдованный принц и брат. Умер, конечно. Зимой.

Или вот еще: лето — это баклажанная икра. Сначала ты долго летишь на пузатом самолете, летишь на юг. В салоне ты снимаешь свитер — наконец-то холодный ветер остается за бортом. Ты вытягиваешь ноги и спишь. Потом долго едешь на такси и о чем-то думаешь, а ветер, теплый, мягкий, тычется щенком в лицо, лижет волосы, целует лоб.

Спасибо, говоришь ты смуглому таксисту, он кивает, хитро смотрит и одобрительно улыбается. Ты бросаешь чемодан посреди комнаты; за долгую зиму пыли накопилось, наверное, целый сантиметр, да и кран подтекает, но не важно. Ты открываешь шкаф, надеваешь прошлогодний сарафан — ты все постирала в прошлом году перед отъездом, но все равно чувствуешь терпкий запах моря. Ты берешь большую сумку, очки, старую дурацкую шляпу и идешь на рынок.

На таком рынке можно ходить часами: овощи лежат блестящими холмами, фиолетовые баклажаны, разноцветный, как светофор, перец. Помидоры пузатые, с блестящими сытыми боками. В таких помидорах, кажется, ты видишь собственное отражение. Почему синенькие?.. Надо обязательно сказать именно так — *синенькие*: «баклажаны» остались в другой стране. Тогда ленивые и крикливые продавцы дадут тебе

самые лучшие овощи, самый лучший лук, самую лохматую зелень. Чеснок пахнет так одуряюще, что хочется купить мешочек соли и есть его прямо по дороге. Помнишь, в детстве, в том детстве, когда в самую жару прятались в кипарисах, делали кукол из мальвы? Мальвы — глупые цветы... Нераскрытый бутон — голова, раскрытый — платье; скрепил сгоревшей спичкой — и у тебя есть своя маленькая девочка в розовом платье. И когда заиграешься, проголодаешься до звона в ушах, можно побежать на рынок, выпросить соли, огурцов — и играть до сиреневых сумерек.

Дома ты моешь баклажаны, привариваешь немного в соленой воде, ни в коем случае не чистишь. Так всегда бабушка делала; бабушка, как дед ее на север увез, тосковала всегда за синим морем и варениками с голубикой. Бабушка делала икру и, помнишь, говорила тебе: «Ангел мой...» Ты ошпариваешь помидоры, чистишь шкурку, режешь все кубиками и обжариваешь в золотом пахучем масле. Дома нет такого вкусного масла. Потом ты садишься перед тарелкой с икрой и ешь. Наконец-то.

И тогда приходит успокоение, включается звук, становится слышен шум далеких машин, музыка, бодрое переругивание приморских старушек с дворовыми котами. Ты выдыхаешь и мечтаешь о том, что когда-нибудь и у тебя будет своя собственная маленькая девочка в розовом платье.

И тихо говоришь себе: «Лето — это баклажанная икра».

Или вот еще: мой знакомый капитан торгового флота привез с севера невесту. Невеста отличалась замечательно белой кожей с синими прожилками, хорошо себя чувствовала исключительно местной дождливой зимой и бредила во сне корюшкой. Другая бы радовалась солнечному климату, мелким комарам и веселой будущей свекрови выдающейся фигуры, но невеста чахла, от солнечных ванн отказывалась — словом, вела себя как Снегурочка с Мизгирем в начале пьесы Островского.

Капитан отчетливо понимал, что уйди он в рейс до оформления их взаимоотношений, обязательно появится какой-нибудь местный волоокий Лель (полон город бездельников!) и уведет Снегурочку так молниеносно, что даже веселая будущая свекровь не отследит. И поэтому всячески намекал на *жениться*. И у нас тут вовсе не колхоз-миллионер, а все-таки город, хоть и Маринского театра не имеется.

Невеста при намеках впадала в отчаянную мигрень и сама намекала, что хорошо бы подумать, проверить чувства расстоянием, так сказать, и вообще, лучший праздник — это Новый год, а лучший фильм — это «С легким паром» с Женечкой Лукашиным: мол, под Новый год и решим. Капитан решительно не понимал, как кому-то может нравиться этот безответственный алкоголик, но помалкивал — очень хотелось жениться именно на Снегурочке.

День отбытия в рейс приближался, лето в разгаре, а невеста была все так же далека и холодна, как Джомолунгма. Она подозревала, что капитан запрет ее на отдельной кухне, и больше никто не увидит, какие у нее красивые глаза и тонкие запястья. Ах да — и придется научиться готовить этот противный борщ.

Тогда капитан плюнул, взял пять уроков на гитаре и долго о чем-то совещался с женой стармеха, замечательных кулинарных способностей женщиной.

И однажды, в самый полдень лета, когда невеста с веселой будущей свекровью укатили на заезжий вернисаж, капитан нарядил елку, нарубил, как мог, тазик оливье и запустил бородатый фильм про Женю, Галю и коварную разлучницу Надю. Снегурочка пришла, увидела капитана с гитарой, съела ложку салата с майонезом смертельной жирности и сдалась как испанский флот Нельсону при Трафальгаре. Правда, там еще колечко было, с крупным камешком, похожим на бриллиант. И любовь.

И да, оказалось, что борщ — это не так уж сложно.

Я люблю лето.

Я люблю лето осенью — от него остается сытость отношений и умиротворение. Я люблю лето зимой — зимой хорошо греть руки у открытого огня, зная, что после нового года дни становятся длиннее. Я люблю лето весной — я изнемогаю от ожидания, весной я становлюсь хрупкой, как хрусталь: волосы, любовь, снег — все ломкое и такое недолговечное. Но ждать остается совсем недолго. Скоро лето.

Я люблю лето летом.

Виктория ИЗМАЙЛОВА

ВЕЧНЫЕ МАЛЬЧИКИ

* * *

Пляска с Судьбой залихватская, выучка канатоходская,
Горше, чем доля солдатская, скотская доля сиротская.
Олухи, лохи, молчальники, встречные вечные мальчики —
Все командиры-начальники, все бессердечные мачехи.

С бала на пир приказав вести, балуясь черной икоркою,
Сыщут причины для зависти, выкорят черствою коркою.
Спесь и презрение выкричат, глянут — и то не по-доброму,
И отберут, коль не выклячат, грош, на дороге подобранный.

Знатны ли, славны, залещены, сломлены ль и обезличены,
Равно щедры на затрешины, шпильки, тычки, зуботычины.
Если наследство, так враг отца, невус семейного «неуда»,
Некому, некому плакаться, некуда спрятаться, некуда.

* * *

Смотри — просторы небесные,
Светлы долины окрестные,
Лучи рассветные ранние,
Поля и нивы бескрайние,

В садах гвоздики бордовые,
Меж ив колодцы замшелые,
По ульям соты медовые,
На ветках яблоки спелые,

Холмы и скалы отвесные
С гремучими водопадами,
В пещерах — клады чудесные
Во тьме сияют лампадами,



В озерах рыбы зеленые,
На водах лебеди белые,
В лугах косцы загорелые
И косы их раскаленные,

И прорва, полная взглядами,
Огнем, Любовью, монадами,
Которых никто не видывал,
И Тот, Кто Всё Это Выдумал.

А Тот, Кто Всё Это Выдумал,
Он сам себе позавидовал.

* * *

А Тот, Кто Всё Это Выдумал,
Из пламени слов слепил,
Он сам себе позавидовал
И сам себя ослепил,

Свирепым зверем ощерился,
Ударил взором пустым,
И серым пеплом рассеялся,
И алым, и золотым.

И Тот, Кто Всё Это Выдумал,
Парчу сменил на рядно
И сам сады свои вытоптал,
И в яд обратил вино,

И адовы муки выстрадал,
Ступал меж звезд по слезам,
Но чаду кроткому высватал
Погибель верную сам.

В ловушке замысла нового,
Неявного никому,
Безвинного и виновного
Равно заточил в тюрьму,

Ключи от узилищ связкою
Швырнул на морское дно
И кровью, как черной краскою,
Залил свое полотно.

Рулады птичьи несметные,
Гуденье медное пчел
С мольбой и криками смертными
В одну симфонию сплел.

И сам, раздавленный кротостью,
Скорбит об общей судьбе,
Кривляясь, пляшет над пропастью
И гимны поет себе.



* * *

Гимнам и мольбам не внимая, возводя мосты и преграды,
 Девочка по имени Майя никогда не говорит правды.
 Побранив, слегка приобнимет, приобняв, медяк прикарманит,
 Что ни подарила, отнимет, в чем ни обещала, обманет.

Любо ей бродить по полянам, сказки сочинять и шарады,
 Пресный воздух выдыхать пряным, никогда не говорить правды.
 Коль взглянуть без розовых стекол, отключить сирены-мигалки,
 На плече ее белый сокол станет жалким чучелком галки.

Заскрипит калиткой резною, растревожит ветки сирени,
 Выбежит пригожей княжною с книжкой в ежевичном варенье,
 А сама – горгулья, горбунья, старая, кривая, хромая,
 Самая ужасная лгунья девочка по имени Майя.

Проведя Содомом, Аидом, черствою просвирой отравит,
 Нарекая божьим саидом, идолищу в жертву отправит.
 Смотришь, как в ружейное дуло мелкая ничья собачонка.
 Как она меня обманула, глупая смешная девчонка.

* * *

Ночь не моет ножек никогда,
 впереди у ней — далекий путь,
 города, текучая вода,
 ночи доходящая по грудь,

буераки, зыбкие пески,
 чащи и болот зеленый свет.
 Если в перспективе марш-броски,
 муть лицо резона тоже нет.

До того она черным-черна,
 в сотню раз черней, чем негры все,
 даже вековая седина
 не видна в растрепанной косе.

Белый день — проспектом на коне,
 а она — околицей пешком.
 Да кто ее увидит при луне,
 в черном платье, виснущем мешком?!

* * *

Полднем опаленная роща на горе,
 Все еще зеленое в этом октябре.
 Выйдешь — затеряешься в бликах на траве,
 Словно растворяешься птицей в синеве.

И — то старой запонкой, то сухим жуком,
 То полынным запахом, то печным дымком,
 Сыплешься по ветхости, катишься в пески,
 Таешь на поверхности медленной реки,

Позабыв о времени, доме и делах,
Имени и племени ржавых кандалах,
Всей душою бедною в пепле и в пыли
Проникаясь бездною неба и земли,

Огнеокой, томною, теплой, как рука,
Горькой, гекатомбною, щедрою пока,
Но уже пронзающей сдержанным «прощай»,
Нежно-ускользающей, как ни улещай.

Вспыхнет мысль напрасная — надо ж так сглупить,
Дело-то опасное — слишком полюбить.
Миг — и преисполнится счастья и тоски,
Дрогнет и расколется сердце на куски.

С Вечностью слияние в полтора часа.
Белое сияние плавит небеса.
Словно дальний колокол чуть звенит земля.
За янтарным пологом избы и поля.

И неумоительно хоть весь день бродить,
Но уж как мучительно будет уходить!
О пощаде взмолятся, взятое в тиски,
Дрогнет и расколется сердце на куски.

А пока, не ведая про испытый яд,
В струях света бледные тополя стоят,
Будто погребенные в луковом пере,
Все еще зеленые в этом октябре.



Марина КРАСУЛЯ

КУГУАР

П о в е с т ь

*Хочешь иметь сундук Нестора?
Получи его подагру!*

Часть первая

ЖЕРТВА

Глава 1

Владивосток.
Зал — битком...
Отхулиганил регтайм.
В луче — Сандра.
Чуть касаясь ног:

My funny Valentine!

Взрыв аплодисментов!

*Sweet comic Valentine,
You make me smile with my heart.
Your looks are laughable,
Un-photographable
But you're my favorite work of art...*

Публика подалась вперёд. Мурашки по телу.
Каждый слышит своё.
И сам ты, будто Моне, пишешь и пишешь то впечатление, то лондонский туман,
то маки в цвету...
Концерт перетекает в блюз...

***Вот пепел, который мы сделали вместе,
Вот запах с печальным названием «вчера»,
Пустая рюмка на фортепьяно
И где-то в области сердца — дыра.***

Джаз-банд свингует. Звук давленный. Ты сам по себе. А там просто: тум, тум...
Не прибавить, не убавить.

Контрабас булькает болотным, банджо шуршит соломенным. Клавиши залипают вязко, ударник песком сыпет, а саксофон поливает и поливает коньячно-шоколадным...



Сандра Истомина.
 Тёплая, плавная, грудной голос... Вкусная. Что там мужчины! — дамы не могут глаз оторвать.
 Сакс даёт певиче передышку.
 Эстрадная площадка — матовый пол из кусков пластика. Под сценой огоньки.
 Последний номер джокером из манжеты — рок-н-ролл. И тут высоченный каблук попадает встык между плитами. Улыбается, поёт, а нога засажена намертво.
 Всё! Пора цветы принимать.
 Дёрнулась. Шпилька под корень — крик!
 Оглянулась. Стоит каблук у стойки чёрной рюмкой, издевается подлец.
 В финале танец. Задержалась на мгновение... Отшвырнула шузы и босиком:
 — *One, two, three, four! E-э!*
 Зрители: «Е-э!»
 — *О-у!*
 Эхом: «О-у!»
 — *Тэб-тэб!*
 Зал: «Тэб-тэб!»
 Ошалела публика: топают, визжат, беснуются.
 А Сандра — как вспышка на солнце:
 — *Оу! Йе-ccc!..*
 Крики: «бис!», «браво!». И снова «браво!», «бис!».
 Фанаты в курсе — сцена усыпана горькими хризантемами. Что ж, купайте её в аплодисментах. Она того стоит!..

И вдруг Истомина слегла... Ослабла до невозможности и даже как вроде рассудком помutilась.

В одночасье расхотела петь и вольный джаз и терпкий рок-н-ролл. Концерты поотменяла. Без повода, без причины, натурально, раздумал человек жить.

Глава 2

Нынешняя Сандра — наречённая Александра — пела, казалось, с рождения. К шести годам бойко солировала в детском хоре.

Улыбчивый крепыш, вернее — крепышка, встанет, подбоченится и ка-ак вжарит! Совсем по-взрослому...

Слушаешь и мороз по коже... Настоящая, живая, поёт как дышит: вдохновенно, искренне, с куражом. Тембр — один на миллион.

Солнечный ребёнок! Хохотушка сероокая, на щеках ямки, коса до пояса, нос кнопкой.

Про характер: норов, что надо. Да и безрассудство имеется.

Будучи подростком, Саша рванула с друзьями в Тянь-Шанские горы. Жара стояла невыносимая: градусов под пятьдесят. Асфальт плавился. Маревое струилось над трассой. Мираж дурил блестящими лужами. Вот вроде мокрое пятно, а подъехал ближе — нет ничего, как и не было.

Ехали долго и весело. Две гитары и барабанчик задавали ритм: умца-умца! умца-умца! Сашка зычно запевала, и компания, подхватив, рвала глотки:

*У окна стою я, как у холста,
 Ах, какая за окном красота!
 Будто кто-то перепутал цвета,
 И Неглинку и Манеж.
 Над Москвой встаёт зелёный восход.
 По мосту идёт оранжевый кот.
 И лотошник у метро продаёт
 Апельсины цвета беж...*

Вот так: с гиканьем и посвистом, докатились они до места. Ребята выгрузились и расположились под вековыми платанами на берегу Угама.

Бешеная речка. Стремительная, летит она от ледника в долину. Бурлит, перескакивает через обломки скал. Вода безумно холодная, пить невозможно — зубы ломит.



И никто в тот поток не лезет купаться, хотя заводь удобная есть. Вот она — чаша прохладная, так и манит, так и манит. Но не сунешься, даже думать нечего.

Костёр запалили, мясо на шампуры... Пока готовилось, разбрелись по окрестности. Пацаны сгрудились у берега:

— Чё, мужики, слабо купнуться?!

— Ага! Давай! Ты у нас смелый.

— Да не дрейфь! Рискни!

— Я чё, больной на всю голову?

— Во сыкло.

— Да, пошёл ты, придурок!

Саша стояла рядом, на валуне, наблюдала, как мальчишки кривляются. И так тошно ей сделалось, так тошно, взглянула на воду пенную... И... внутри оборвалось — ах! — сиганула в поток! Яростное течение швырнуло об камни, закрутило...

Друзья-товарищи даже среагировать не успели.

Бросилась Санька в «ванночку» со всего маху с головой, а как булькнула, сильно пожалела...

Зря! Эффект оказался чудовищным: совсем не то, чего ожидала. Ки-пя-ток! Именно пламя, а не лёд! Кожа полыхала, как от ожога раскаленным маслом.

Еле выкарабкалась...

Росла девочка в радости. Училась хорошо, а в музыкалке — даже блестяще. Потом в училище поступила, на джазовое, там взяла сценическое имя Сандра, как половинка от целой *Александры*. А после училась в академии искусств на Дальнем Востоке. Практически — в консерватории. И пела, пела, пела...

Влюбилась вовремя. Парень ей достался, как верный конь: ладный, сердечный, разумный. Родила девочку-синичку. И всё хорошо: карьера, муж, дочь...

Глава 3

Итак, легла тридцатилетняя Александра Истомина умирать...

Расскажи такое, поверили бы? Вот-вот: нонсенс!

Похудела на тридцать килограммов, прямо-таки высохла на глазах. Улетучилось магнетическое очарование. Щёки ввалились, под глазами тёмные круги, цвет лица из нежно-персикового превратился в грязно-болотный. Румянец, будто лепесток, ветром сдуло...

Живое слово «хочу» — испарилось. На всё отвечала однозначно: «Спасибо, не надо». Ничего не надо? «Ничего».

Родные утомляли, друзья раздражали. Еда сделалась безвкусной — трава травой. Ласку и нежность от любимого просто терпела. Спать — не спит, бодрствовать — не бодрствует. Говорят, материнский инстинкт сильнее инстинкта самосохранения, так даже Мать в ней уснула. На ребёнка смотрела пустым взглядом.

Молодая, уверенная в себе женщина стремительно угасала. Будто розу срезали, а в воду поставить забыли...

Супруг в панике бросился спасать. Уложил любимую в больницу на обследование. Мало ли, может...

Пыхтели доктора нешуточно. Чего только найти не пытались: и просвечивали, и простукивали. Куда только не заглядывали!..

Анализ — ужас! — пробирок не пересчитать. Аж лаборантка психанула: «Неделю на одну вашу певичку пашу!.. Все тесты и пробы в норме. Вы б с диагнозом хоть как-то определились для начала, чего так человека мучить?!».

Давай дальше крутить-вертеть. Вдруг с головой проблема? Не удар ли? Может, падала? Или авария?

Нет, нет и нет...

Бывает ещё от нервов... Так и стрессов никаких не случилось. Специалисты всех уровней и мастей нюхали, щупали. Через месяц в эпикриз написали: «здорова!»

Всё хорошо, это — правда. Нигде не болит, ни ломит. Только давление выбивается из нормы: низкое, патологически низкое, с таким не живут...

Главный врач Главной больницы тербил историю болезни.



— Ребята, больная не наша. Ей к бабке надо...

Какие «бабки» в наше время?!

Оказалось, так думали только Саша да Андрей. А приглядишься внимательнее, оказывается, приколдовывает народ по сию пору, на самом деле, ворожит помалу. Кто «присушивает», кто «отвороты» чинит, кто «заговоры» нашёптывает. Если живёшь мимо всего такого, кажется, что ведовства и не существует вовсе.

Андрей всё обдумал и постановил: идём к экстрасенсам, колдунам, ведьмам, хоть к чёрту лысому, только б прежнюю Александру к жизни вернуть.

Да, болезная и не особо сопротивлялась. По большому счёту ей было наплевать. Веди, раз других идей и дел нет. Сарафанное радио подсказало, куда шагать, имеются знатоки-любители. Ну и повёл Андрей жену ко всяким магам-чародеям.

Визиты до смешного были похожи один на другой.

Образцово-показательная странность: мрачный интерьер, затхлый запах, вычурный наряд. Нагромождение несвязанных между собой предметов: хрустальные шары, свечи, страшные маски. На полках несколько старых чучел: сова, ворон, змеищ-ща и задрипанный крокодилчик. Пещера Гингема! Только метлы за дверью не хватает. Тьфу! Окультизм, одним словом. Мол, имейте в виду, не шутки шучу — с космо-сом, или ещё с чем пострашней, на короткой ноге.

Отвратного вида мадам в тюрбане, увидев Сашу на пороге, отчего-то заюлила, засуетилась, потом, будто по лбу ударенная, забурчала утробно:

— Стойте! Остановитесь! Дальше не проходим. Низкое давление? Угу! Анемии нет?.. Плохо дело. Чёрная магия! Вам, милочка, сделали «на смерть». Я лично не помогу. Нужно искать колдуна, чтобы сильнее того был, который всё это провернул. А я не камикадзе. Ни за какие деньги не вяжусь. Хм-м... Себе дороже. Прощайте!

О! Вот это правильно. Прощайте! Александра брезгливо улыбнулась и — вон, на воздух:

— Бред! Бред сивой кобылы для наивных бездельников. Самому ничего делать не надо. Пара пасов, пошептал, поплевал и ты вмиг здоровый счастливый богач. Древний способ выбивать деньги из ослов. Не верю!

Всё так. Да только девица чахнет, тухнет, тает... Пергаментная кожа, с серыми бархатными бляшками, как у старухи, короткие обмороки. Бывало, заложит уши, шум в голове, будто в приёмнике волну ловят и не поймают никак. Туман перед глазами, бешеные мошки роятся, и — ах! — откроет глаза, а она уже на полу. Лежит, распластавшись, как падала — не помнит...

Один раз дочку мыла. Затмило внезапно, выронила ребёнка. А как очнулась, смотрит, стоит малышка в ванне на четвереньках. Повезло, не расшиблась. Страшное дело...

Как долго всё это длилось, неизвестно... Может, год, может, больше. Состояние овоща без желаний, чувств и мыслей.

Андрей решил отправить Сашу в Ташкент к родителям — погреться и на фрукты.

Глава 4

С утра в тот день солнце вышло как зверь на охоту, раскалёнными лучами распугало тени. Они в панике скукожились, попрятались. А ненасытный Гелиос норovil всё спалить-сожрать. Если так дело дальше пойдёт, к обеду мозги поплывутся. Хоть ветер бы дунул, всё легче.

Александра лежала на софе под пледом, свернувшись фигой. Её морозило в ту несусветную жару. Опять не завтракала, покурила только. Мысли каруселили круг за кругом: «Я скоро умру. Совсем недолго ждать... Вот и хорошо, вот и правильно. Муж — умница, ребёнка на ноги поставит. Родителей не бросит. И ничего не жаль. Всё у меня уже было. И было хорошо. Я скоро...»

И тут грохот из прихожей, кто-то споткнулся, велик уронил и выругался раскати-сто:

— Мать-перемать!



Это явился в дом чужой человек. Его ждали. Турок лет сорока сразу повёл себя как хозяин. Подошёл к бледной Александре, решительно сдёрнул покрывало, наклонился к заморышу недопустимо близко, прямо нос к носу, и с улыбкой:

— Я колдун. Жить хочешь?

— Всё равно...

— Берусь! Моя!

Единственный раз в жизни Саша видела такие глаза. Собственно, глаз-то никаких не было. Именно: человек без глаз. Вместо них две огромные чёрные дыры. Без зрачков, белков, радужной оболочки. Просто тьма бездонная.

Одет он в белую широкую блузу, лёгкие штаны, шлёпки на босу ногу. И патлы — длинные, вьющиеся патлы. Весь в испарине от духоты. Стоит, насмехается.

— Вооружилась? Молоде-ец. Так! Значит в лифчике — молитва, похоже «Живые помощи». Нательный крест. Ну, ладно, это как водится. В кармане — кусок свечного воска. Воск-то с какой целью? Ну и булавки три штуки, куда без них! Сказать, где приколоты? О-ох!.. Смешные люди.

Действительно, за час до его прихода, матушка носилась по дому, выпучив глаза:

— Колдун, колдун идёт! Надо от него охранку поставить.

Саша, как глиняная кукла с нарисованным личиком, была безучастна.

— Зачем вообще звала, если беречься собираешься? Мало тебе всяких бабок-гадалок по подвалам да чердакам, теперь ещё и на дом вызов оформила. Тоже мне — «скорая помощь»...

— Не скажи, не скажи, Шурочка. Мне его, знаешь, какой человек посоветовал? Такой человек, такой... Такой зря не скажет.

Анвар, так звали гостя, осматриваясь, продолжал:

— Всё эти штуки для дилетантов. В церковь легко вхожу, в любую. Ни ладан, ни звон колокольный, ни рака с мощами — не помеха. А вот на кладбища меня не пускают. Ни на какие. Совсем. А ну, встань! Работать пора.

И началось.

Александра посреди комнаты. Ощущение: между полом и ногами устроен шарнир. Безглазый держит свои ладони у её головы, не касаясь. Тело, как пустой мешок, будто висит между полом — потолком, поворачивается, отклоняется. Производит круговые движения, как юла. Потом позвоночник вытягивается струной вверх, и эту негнущуюся «палку» Анвар заваливает то в одну, то в другую сторону под немыслимым углом к земле. По всем законам физики должна упасть, а не падает. Болтается перевёрнутым маятником. Невидимый шарнир держит надёжно. Это чем-то похоже на марионетку. Подвесили несчастную на прозрачную нить и раскрутили по часовой.

Тёплый голос Анвара:

— Это случилось с тобой десять лет назад. Вспомни! Женщина. Не христианка, не мусульманка. Иссиня-чёрная. Рост средний. Фигура идеальная. Страдает астмой и тахикардией. Вспомни! Ты всегда чувствуешь её присутствие. Вспомни!

Без запинки Саша выплёвывает:

— Нора! Это Нора...

— У тебя полбашки снесено... Понимаешь?!.. Ага! Не понимаешь. Вспоминай! Она при тебе что-то протыкала насквозь. Три цыганских иглы. Ты это видела. Может мякиш, тесто, воск? Говори!

— Яйцо.

— Плохо дело... Она брала у тебя кровь.

Саша отвечала бесстрастно, отрывисто, механически:

— Уши проколола. Сказала: «Дарю серьги». Носить будешь. Я удивилась. Кровь хлынула. И сразу остановилась. Мочки заиндевели. Она пузырьёк дала. Жидкость мутная. Мажь, говорит, быстро заживёт. Запах знакомый. Противный. Очень тревожное «лекарство». Мазать не стала. Побрезговала. Я бельё гладила, дома. Плюнула на утюг. Слюна зашипела... Вот чем пахло. Уверена! В склянке была слюна. Её слюна.

Анвар загудел, замычал...

Продышался. Продолжил.

— Как ей удалось так широко покрыть весь позвоночник водой заговоренной? Мыла тебя что ли?



— Нет. Просто... Очень просто. Подошла скрытно. Со спины. Я за столом сидела. Чай пила. Без слов. Молча. Подкралась и sprыснула. Как на простыню. От затылка до копчика. Сказала: теперь рядом будешь. Всегда.

— Плохо... Что съесть заставила, чего ты не хотела?

— То яйцо. Что иголками проколола. Раздавила скорлупу. Выдавила содержимое. Блюдец. Розовое такое. С золотым ободком. А скатерть — в клетку. Знаете, желток растёкся... забавно... Цифра. Чёткая. Девять.

— Не забавно. Потому как не девять, а шесть. Число оборотня.

Выпила? — турок начинал сердиться.

— Выпила. А почему... почему я никогда... никогда об этом не вспоминала? Почему?..

Глава 5

Он отпустил. Её тело, чужое незнакомое тело, студнем плюхнулось на пол. Переползло на диван. Страха не было. Недоверие улетучилось. Неловкость рассыпалась. Александре нестерпимо захотелось говорить.

— Это необыкновенная женщина! Фантастически красивая, как Венера Милосская. Даже лучше. Сильная, стройная, медовый голос. А улыбка — чудо! Глаз не оторвать! Всё время смотреть и смотреть хочется.

Саша остановилась, прикрыла глаза и перешла на шёпот. Вдруг заторопилась, будто испугалась, что опоздает. Захлёбывалась своим рассказом, давилась, заикалась. Анвар напряжённо вслушивался в каждый звук...

Элеонора Юрьевна Мергати — Нора — работала педагогом по вокалу на джазовом отделении в музыкальном училище. А Саша с детства мечтала научиться петь по-настоящему.

Выступала однажды Александра в одном сборном концерте, от «музыкалки» прислали. И так здорово спела, что публика вызвала её на бис. Аплодисменты, цветы, улыбки. Обнимать кинулись даже чужие люди. Аж голова кругом пошла. Сашуля, оглушенная успехом, с букетом наперевес спускалась из гримёрки к выходу. Тут у служебного входа останавливают дебютантку две незнакомые женщины.

Одна — богомол, сухая, долговязая, нескладная. Мужик мужиком. Даже усы седые имеются. Голос скрипучий, будто высохший, сразу понятно с папиросой засыпает и с нею же просыпается.

— Я — Ирэна Карловна Фиала. Декан музыкального факультета. Мы тут заспорили: на каком курсе обучаешься? У кого?

— Не учусь. Собираюсь только.

«Насекомое» поворачивает свою непропорционально крупную голову-пирамиду в сторону второй дамы. Та, несомненно, чёрная пантера. Гибкая, хищная, беспощадная.

— Ну, что ж, ты выиграла. С меня «Арагат». Почему ты всегда права? Прямо бесит! Да уж! Честно говоря, такой экспонат раз услышишь, запомнишь на всю жизнь. Сто раз себе говорила: не спорь с Норой. Опять попалась! — она засмеялась, как закашлялась, и неожиданно резко к Саше: — Курировать твоё поступление буду сама, — кивнув на спутницу, — а вокалом с тобой займется Элеонора Юрьевна. Она у нас самый знатный специалист.

— А-лек-сан-дра... Нет, никуда не годится! Алекс-андра... С-андра! — Нора покатала имя во рту, будто на вкус попробовала. — Я буду звать тебя Сандра. И все будут называть только Сандра.

Тут женщина нежно взяла Сашеньку за подбородок, приблизила, поглядела так, будто глазами глаза поцеловала. Потом прижалась горячими губами ко лбу и отпустила...

С этого мгновения девочка была готова сделать для Мергати, что угодно: душу вывернуть наизнанку! Преданность, обожание, поклонение...

Сразу столько событий в один день: и крики «браво», и лучший педагог, и влиятельная поддержка. Конечно, девчонка была вне себя от радости. Ринулась в учёбу, как в омут с головой. Вот потому все странности педагога воспринимала легко и с иронией. Мало ли какие загоны случаются у творцов? Только б от занятий не отлучила!



Работали по системе йогов: растяжки, правильное дыхание, умение быстро сосредоточиться. Новоиспечённая Сандра принимала классические йоговские позы, выдувала из себя гекзамером: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына».

Ну, и запела. Ещё как запела!.. Диапазон — закачаешься! Сила в голосе появилась крепче, чем у Фроси Бурлаковой. Фужеры в серванте позвякивали в такт, оконные стёкла дрожали в испуге, люстра дребезжала...

В такие минуты глаза Норы сияли, она облизывалась, как сытый кот.

Саша помолчала и продолжила:

— А странностей хватало. Погодите. Всё-таки, почему это никогда не вспоминалось? Мы не просто подружились тогда, мы сроднились. Как мать и дочь. Большая часть занятий плавно переплыла в её дом.

Слома голову мчалась Сандра на занятия, руководствуясь только тревожной вибрацией под ложечкой: скорее, скорее. Хозяйка, сидя за накрытым столом, наливая крутой кипяток в заварник. На вопрос: «Вы ждете гостей?» Нора неизменно отвечала: «Я тебя уже час зову»...

Однажды Элеонора задрала подол своего чёрного шёлкового платья и указала на необычное повреждение бедра. На тренированной ноге явственно была видна выемка в виде крутого полумесяца, довольно глубокая, но без рубца. На вопрос ответила так: «Я — меченная. Вмятина — след дьявольского копыта». Посмеялись...

— Погодите, она же... Она... Ой, мамочки! — У Саши появилось ощущение, что её память — старый заброшенный раскоп, а Анвар — опытный археолог — тщательно сантиметр за сантиметром роется в голове, отыскивая давно потерянные предметы.

— Моя наставница делала ученицам выкидыши. Сама видела, собственными глазами... Если срок был маленький, до восьми недель, Норе достаточно было поддержать ладонь у матки. И привет! А если большой, то... На рынке покупала зёрна жёлтой моркови. стакан семян заливала стаканом воды и долго-долго кипятила. Сутки не меньше, без конца помешивала, наговаривала незнакомые слова. Пили ту маслянистую тёмную жидкость мои однокашницы натошак. У девушки открывалось кровотечение. А потом... Да, да. Роды. Если плод был ещё живой, то... господи... о, господи! Она топила младенца в ванне...

Саша закрыла горящее лицо ладонями и с шёпота перешла на голос:

— Как?.. Как это может быть?! А я что? Я спокойно созерцала?!.. Боже мой, какой ужас! От меня ничего не скрывалось. Я — соучастник! Преступник!

Александрю сдавило удушьё. Видно было: ей нечем дышать. Судорожно похватав ртом воздух, сорвалась на крик:

— По-че-му?! Почему не испугалась? Не возмутилась? Просто молчала?.. А потом с лёгкостью забыла на десять лет?!.. — молодая женщина зашлась слезами. — Что со мной?!.. Как же так? Что это такое?! Я — тварь последняя!..

Анвар был беспощаден:

— Говори! Говори, не останавливаясь! Всё говори!

— Ещё... Нора ярилась на своего начальника. Директор училища всё время требовал от Юрьевны каких-то отчетов, объяснительных, выполнения большей нагрузки. Кричал, снимал премию, менял расписание занятий, намекал, чтобы искала другое место работы. Они бесили друг друга ужасно.

Однажды Мергати произнесла в проброс: «Всё! Достал, гад! Пойду на кладбище. Ему неповадно будет, остальным — наука».

Через месяц разлетелась страшная новость: умер. Здоровый, сильный мужчина скончался от прободения язвы. Не успели спасти. Это сообщение привело её в дикий восторг! Она хохотала, пела, скакала на радостях. Потом схватила меня и стала вальсировать. «Ура! Свободна!!! Получилось! Ай да Норочка! Ай да молодец!».

Постойте! Я отдала ей косу. Свою девичью косу. Ни в одной парикмахерской не брались стричь, говорили — жалко. Она у меня ниже колен была. Добрая коса. Но однокурсница из зависти уговорила остричь. Принесла с собой ножницы в училище и между парами отчекржила... К чему это я? Ах, да! Элеонора Юрьевна велела



принести ей волосы. Но для чего? Не помню... Говорила что-то про шиньон. Какой шиньон? Кому? Она забрала, а я забыла. Совсем забыла...

А вообще, это была я? Мне не приснилось? Действительно — я?!..

А потом... Потом Мергати отправила меня на Дальний Восток. Жить. Как в ссылку. Ведь у моей семьи не было ни единого знакомого в той далекой стороне. Я поехала. Вернее, сбежала. Мама с папой были против. Ой, как против! Плакали, умоляли. А я... до сих пор не понимаю: зачем?

Глава 6

Колдун замер. Слушал, впитывая каждое слово, может и не слово даже, но впитывал, это точно. Время от времени хрустел костяшками пальцев, разминал ладони, будто затекли. Не смеялся, не иронизировал. Был собран, сосредоточен. Не перебил ни разу.

— Ты устала. Перекур.

Вышли на веранду. Курили молча. Каждый думал о своём... Выпили по стакану холодной воды. Вернулись. Анвар начал обстоятельно, не спеша:

— Первое и главное. Если коса зарыта на кладбище, в могиле, и мы её не найдём, не вытащим — ты умрёшь! Ничто не поможет. Слышишь? **Ничто!**

Итак, пасьянсы некогда раскладывать, давай поищем. Расслабься хорошенько. Руки-ноги не скрещивай. Поехали. Попробуй представить погост. Любой... Только подробно.

Уж чего-чего, а фантазия у Сашки развита — будь здоров! — до неприличия. А тут пыжится, упирается, даже холодный лоб ладонью трёт. И ничего. Пусто. Никакого захоронения представить не может.

Серьёзно поникший Анвар вроде как ухом что-то словил — вибрацию или ещё чего — и вдруг встрепенулся, мощно выдохнул, вскочил, замер, будто соизмеряя возможности. Резко заходил по комнате взад-вперёд. В нём явно разгорался азарт. Пару раз хлопнул в ладоши, взъерошил слипшиеся от пота кудри. Его потряхивало. Так дрожит охотничий пёс, напав на след.

— Тэк-с, тэк-с, тэк-с! Жадная. Оч-чень мило! Жадность и уверенность! Всех перехитрила? Ха! А ты как думала?.. Безнаказанность, она ведь расхолаживает. Значит, не так безупречна, как самой видится. Значит, допустила-таки слабинку. Уф! Вот оно. Есть дырка! Иду на вы! Сразимся, лютая ты моя!

Александра совершенно ничего не понимала. Только глупое ощущение, будто она — жертва.

Анвар говорил сам с собой, и девушка почувствовала себя лишней во всей этой истории.

— Слушай, Сань, хочешь, скажу, почему ты ещё жива? Причин три. Первая: у тебя деформация грудной клетки, врождённая. Мадам промазала. Ну не попала, понимаешь, в сердечную чакру, когда восковую куклу обкалывала. Вторая: надеялась, что энергия твоя поскромнее будет, хотя точно знала: пантере зайца не пришьют...

— Почему вы её пантерой назвали?

— Потому что она в нашей иерархии и есть — чёрная пантера.

— А вы?

— Я — тарантул, но это не важно, у меня по-другому. А вот ты, радость моя, пума — горный лев. Это сильнее пантеры. В сравнении с тобой, она просто дикая кошка, мясо выбрала не по зубам. Не перебивай! Мы же про причины говорили. Третья и главная ошибка Норы — это... Вот же наглая! Косу действительно пожалела и заказала шиньон. Шиньон для себя. Выкрасила из русого в чёрный цвет, на свой крысиный хвост привинчивает. Причём ежедневно. Молодец! И уж, конечно, не полагает, что ты жива и дальше жить собираешься.

В Сашин припухший висок колотилась одна осязаемая горькая мысль: «Почему я? Я — почему?» И турок немедленно ответил:

— Всё просто. Ей был знак: ты — ученик. Целый год ведьма, ничего не скрывая, демонстрировала тебе, дур-рёхе, разного рода способности и Силу. Но ты так ни разу ни о чём и не спросила, не заинтересовалась. Старалась тётка истово. Злилась. Теряла терпение. Тебе, тупице, надо было всего один раз спросить: «Как вы это делаете? Можно ль научиться?» Всё! Всё, что требовалось!



Тщетно... Вы песенки петь хотели. Ля-ля, ля-ля! Вам, видишь, не до чужих мучений. Ты, Сашенька, э-го-истка!

Шучу! Шучу! Не сверли меня своими глазёнками жухлыми. Проще говоря, измахратившись о глыбу твою бесчувственную, решила учительница, во всех смыслах — педагог: «С паршивой овцы хоть шерсти клок!» О! Рифма: педагог — шерсти клок. Плохая рифма.

Ты ей выбора не оставила, понимаешь?

Вынесла тебе Нора, поверь, нелёгкий приговор. Переживала страшно! Такой материал... Такой материал пропал... — Анвар покачал головой, прищёлкивая языком. — И превратила тебя... ни в зверушку, ни в лягушку, а просто в «мясо». Чего лыбишься? Да, да, в «мясо». На нашем языке «мясо» — это питание, еда энергетическая, как аккумулятор. Покручинилась, погоревала и выслала отличницу Сандру куда подальше, чтоб глаза, гадость такая, не мозолила. А память стёрла. По-другому — никак. Чисто-начисто стёрла, как ластиком карандашный рисунок. Техниками она владеет — будь здоров!

Во-о-от. Такой вот будет мой диагноз. А веришь ты в это или нет — мне глубоко начхать. Вообще, ты лично — мне абсолютно безразлична. Я — воин. Охотник на ведьм. Работа у меня такая, весёлая. Даже если сейчас скажешь «нет», уже ничего нельзя изменить. Я ввязался!

Ещё раз перекурим на дорожку и начнём.

Глава 7

Они сели на диван бок о бок. Сандра ничему не противилась. И они даже перешли на «ты». Просто расслабилась, и перед её взором возникло отчётливое, будто реальное, изображение.

Ни сон, ни туман, ни мираж — пластилиновая мультипликация. Хотя нет. Это походило на ожившие восковые экспонаты от мадам Тюссо.

Фон затянут чёрным сукном. В левом углу — обнажённая фигура Норы. Красуется. Сверкает вставными зубами.

Анвар:

— Что ты видишь?

— Нора... улыбается... недобро... точнее — скалится.

— Мы сейчас видим друг друга. Ей в голову не приходит, что посмею напасть. Ещё бы! Она в отличной форме. Прогулки не получится. Рано веселишься, голуба моя. Иду! Иду на вы! Так, «мясо», смотри вниз, кошу свою видишь?

— Да, вот она... цела и невредима... даже тесьмой перевязана... той же — голубой! Лежит волною, как гюрза...

— Хорошо. Бери её в руку. Вяжи аркан. Так, правильно. С одного броска накинь Норе на шею. Не промахнись! Попытка только одна. Приготовились — ату её! Оп! Молодец! Держать! Держать, я сказал!

Сидит Александра, откинувшись на спинку дивана, руки расположила вдоль тела, только мышечное напряжение, эмоциональный накал и видения абсолютно реальные. Коса молнией обвивается вокруг горла ведьмы и — оп! — петля затянута. Холёное лицо Норы начинает раздуваться, синеть, деформироваться, как резиновая грелка под натиском компрессора. Глаза лезут из орбит, шершавый фиолетовый язык вываливается из разинутого рта, раздается хруст шейных позвонков и отчаянный хрип...

— Держать! Сейчас... внимание... Она атакует! Поберегись!

Вдруг петля ослабевает оттого, что восковое тело превращается в тушку чёрной взъерошенной кошки. Оскалившись, животное кидается, впивается в Сашину плотку, отчаянно рвёт, грызет плоть. Боль! Нестерпимая боль в районе шеи и грудины.

Голос Анвара:

— Не трусь! Терпи. Спокойно... Дыши глубоко... Я рядом, рядом... Хватай камень, он под левой рукой! Бе-ей! Бей по башке, что есть силы!

Действительно, через мгновение, яростно сжимая бульжник, Саша сбивает себя котяру. И... молотит, молотит, дробя череп, кости в месиво...

— Ну, хватит, хватит... остановись, неистовая... всё... всё... Да успокойся ж ты, наконец! Побереги силы.



Дыхание у Александры сбито, будто олимпийскую стометровку вжарила... Как это может быть? Она же сидела, не шевелясь.

— Вот молодец! Порадовала. Сработала — лучше не придумать! Перекур. Давай, организуй чайку зелёного. У нас ещё дел невпроворот. Надо тебя латать, штопать и заглушки выбивать. Слушай, если в тебе, в разрушенной, столько мощи, на что способна ты целая?!.. А? Боюсь даже представить.

Он был доволен, улыбался, шутил. Жадно пил чай без сахара. От еды отказался и ей обедать не велел. Полный желудок силы отнимает. Потом, всё потом...

В голове у неё был такой сумбур, такая растерянность... Мысли, сталкивались и откатывались друг от друга, гулко носились по чугунной голове. Представьте, стальные шарики в котле. Именно так.

— Устраивайся поудобнее.

И снова перед Александрой возник чёрный квадрат. И снова началось «кино». Её состояние вряд ли можно назвать трансом. Она же видит посуду в серванте, с улицы доносится смех, соседка жарит блины. То есть она не где-то там — в параллели, а здесь и сейчас.

— Ну, не расхолаживайся. Начнём всё сначала. Подробно представь то, что говорю, и мысленно поэтапно выполняй. Срыгни выпитое яйцо. Так. Возьми скорлупу, собери в неё всё до капли. Хорошо! Шпаклюем трещины аккуратно, тщательно. Ну, как яичко? Целёхонько?

— Нет. В нём шесть дырок. Это от тех цыганских иголок...

— Значит, дырки? Ладно. Вставь иглы, как стояли, и медленно вытаскивай по одной. Отверстия затянутся сами собой. Курицу видишь?

— Да. Рыжая хохлатка. Бодрая, сытая, аж лоснится. Красивая, пёрышко к пёрышку.

— Хм-м! Ладно. Подложи ей под брюхо *то* яйцо. Ждать будем.

В молчании проходит минута, другая... пятая...

— Проверим, высидела? Что видишь?

— Ой! Цыплёнок! Странный какой-то, больной совсем... Не идёт, а ползёт. Голова сплющена. Мокрый, грязный... В слизи он, что ли? Или это клейстер? Перья редкие, почти лысый. Вот привстал, лапки волочит, хромой. Пакость, а не цыпа!

— Да уж! Весёлого мало... Кура — Нора. Цыпленок — ты. Давай-ка ещё раз в скорлупу *мало* загони, и прокатим по солнечному кругу. Поехали! С аппетитом гони, с радостью. Кати его, милая, троекратно. И опять под наседку. Как, кстати, она себя чувствует?

— Это не та курица... Совсем другая. Тощая, старая, немощная...

— Клади яйцо под эту. Ждём... Как результат?

— Не поверишь! Пушистый желторотик. Резвый, любопытный, скачет, пританцовывает. Хорошенький какой!

И тут её резко вывернуло, еле до ванны добежала, «со всех щелей», — как мазут, чёрная рвота, понос.

А как пронесло-вынесло, сразу полегчало. Измученная Саша встала под прохладный душ. Долго стояла, с час, наверное. Когда вышла, Анвар взял её за руку, усмехнулся по-доброму:

— Вот и ладошки! Вот и ладошки... Пойдём к зеркалу.

Александра бодро подошла к трюмо и... оторопела. На неё из зеркального овала весело смотрит молодая, здоровая женщина. Неужели это она сама? Румянец во всю щёку, как в юности, глаза сияют, губы алые и ощущение такое, такое — всемогущее ощущение! Размахнись — пробьёт кулаком стену, крикни — стекло рассыплется вдребезги или... Уж если разбежится — точно взлетит!

Колдун стоял рядом. По лицу блуждала улыбка. Так бывает от хорошо исполненной работы. Он был по-настоящему доволен.

А потом они сели есть. Саша вела себя дико: жадно хватала всё подряд, набивая рот. Шумно чавкала, вгрызалась в мясо, обсасывала кости, облизывала пальцы. Оголодал человек! Анвар тоже набросился на еду, как лев.

— Из дома не выходить трое суток. Ничего ни у кого не брать и в дом чужого не вносить. Из квартиры ничего никому не давать, даже щепотку соли. Ясно? И ещё. Никогда, запомни, никогда не подставляй свою голову и спину чужим рукам. Никаких массажей ближайšie лет сто...

Глава 8

А как наелись вдоволь, понеслась Сашкина душа по кочкам. Такой «болтун» нападает, если водки тяпнуть. А тут — на трезвую голову, будто плотину прорвало.

Выяснилось, несколько лет тому назад она виделась с Норой при странных обстоятельствах.

Сашенька с Андреем неделю как поженились. В приподнятом настроении приехали в Ташкент устраиваться на работу. Конечно, они мечтали о карьере в театре музыкальной комедии. Ребятам назначили прослушивание по всем правилам. Дали время на подготовку, назначили аккомпаниатора.

Молодожёны взяли клавиры оперетт Ивара Кальмана. Полистали, подумали и решили исполнить два дуэта: Сильвы и Эдвина, Марицы и Тасилло. Конечно, с претензией на ставку солистов-героев. А чего стесняться?

Так вот. Пришли они в тот день в репетиционный зал, значит...

Началось всё с перебранки: ты, Андрюша, — так, я — этак. Нет, ты, Саня, так, а я — этак. Пока тональность выбрали. Согласовали, в каком темпе петь. Всё решали: с танцем или без. Три раза пианистка проигрыш исполнила, всё никак вступить не получалось. Не клеилось. Поменяли мизансцену. Она на табурет влезла, вроде как в беседке барышня. Андрей снизу колено преклонил. Во-от... Стоит, значит, Саша высоко, лицом к двери. Он — визави. Запели...

Вдруг спину Сандры как кипятком обожгло. Она вскрикнула и спрыгнула с «банки». Будто прижали от шеи до копчика аппликатор Кузнецова (штука такая: лечебный коврик с натканными иголками). Именно — аппликатор! — первое, что пришло девушке в голову.

Резко поворачивается и видит: из пустого дальнего угла к ним медленно приближается Нора. Вид у неё ненормальный — отёкшая, с координацией не порядок, голос сиплый, придушенный. Не поздоровалась, пальцем в Андрея ткнула, прохрипела:

— Это твой мужик или партнёр?

Санька, не раздумывая: «Партнёр».

А меченная, не глядя в их сторону:

— Зря ты сюда приехала... зря... Болею я... Как же я болею!.. Зря... Зря ты сюда приехала... — И проходит мимо парочки, мимо застывшей девы у рояля, мимо, мимо... и выходит в единственную из зала дверь.

Воцаряется тишина. Участников этой странности будто парализовало. То ли дышат, то ли нет... А уж про двигаться — и говорить нечего...

Первым очухался Андрейка:

— Это кто?

— Моя Мергати. Помнишь, я рассказывала? Мой педагог по вокалу в музучилище.

— Сань! Ты чего стоишь-то потерянная? Совесть есть?! Даже не поздоровалась!.. Это ж, выходит, твоя Нора любимая. Бежим за ней!

Хватает за руку и вприпрыжку по лестницам — к служебному выходу. Женщина не могла далеко уйти. Спрашивают вахтёра, давно ли Элеонора Юрьевна вышла? Куда пошла? Или ещё в театре, не выходила? А тётка та — цербер, мимо неё муха не проскочит, — спокойно заявляет:

— Не было сегодня Элеоноры Юрьевны. Она по пятницам распевки проводит в десять.

— Как не было?! Вы шутите? Она только что здесь была. Вы, наверное, отходили.

— Никуда я не отходила. Не было её сегодня. Не было и быть не могло. Не её это день. Точка!

Вышли в задумчивости из театра. Стали анализировать, как это Нора могла появиться на репетиции, если в дверь не входила? От стены, что ли отделилась? Почудилось? Обоим? Они же не только видели явно больную женщину, но и слышали.

— Почему ты сказала, что я не твой мужчина, а просто партнёр?

— Не знаю. Автоматически. Нет, вру. Нарочно. Почему-то испугалась, так вдруг испугалась... За тебя испугалась.





И тут кошак чёрный под ноги. Сел и в упор на них — мя-а-о! Оба вздрогнули, а Андрей тихо:

— Смотри, это ж... Нор-ра!

А потом был показ. Вдохновенное выступление. Худсовет бил в ладоши, кричал: браво! Режиссёр лез обниматься: нашел-таки двух настоящих героев. Теперь заживём! Классический репертуар в кармане. Эти двое споют всё, что угодно. И диапазон, и внешность... — и потирая руки, — ура, ура! Ура...

Но тут случилось несуразное! Директор театра ни с того ни с сего набычился, глаза кровью налились: нет, говорит, не беру! Вы, мол, чудесные ребята, у вас большое будущее, но в моём театре работать не будете! Ни за что!

Обрушился скандал-торнадо. Все — за, он один — против! Визжал, топал ногами, рычал и плакал: нет и всё!

Худсовет гудел. Режиссёр стоял на коленях, умолял, грозил убить, но директор, как рехнулся: «Не могу, хоть режьте, не могу!».

Так и уехали из города ни с чем... Да и с опереттой было покончено навсегда.

— Анвар, объясни, что это такое было? Андрюша — свидетель, он её видел, подтвердить может. И про кошку ты сам сказал... Скажи, это совпадение?

— Нет, конечно. Да ты и сама знаешь. Кстати, ребёнка ты родила только благодаря мужу. Считаю, он дочку и выносил и родил. Он у тебя — хранитель. Знаешь, бывают славные женщины-рукодельницы, кухарки отменные, матери заботливые и им попадают в мужья обязательно хлыщи ленивые и притом неумехи. Ни гвоздя вбить, ни утюг починить. Лежат дынями на диванах, газетки почитывают. А вот если мужик-сокровище, то баба при нём — ты. Ни сварить, ни заштопать. Хочешь, опишу твоего Андрея?

Значит так: старше тебя на два-три года, выше почти на голову, глаза серо-зелёные, волосы густые, тёмно-русые. Конфеты любит, как дитя. Доверчивый, не то чтоб простофиля совсем, а такой, который сам не подлый и в других гнусности не ищет. Чего ещё? Любит тебя, балбеску.

— Почему это я балбеска?

— Да шучу, шучу...

Вот так подробно и описал Анвар того, кого видеть не мог. Очень точно обсказал и внешние данные, и привычки. Всё — в яблочко!

— ...Приду проведать через три дня... Держись!

Глава 9

Домашний арест давался Александре нелегко. Энергия бурлила, рвалась наружу. Взялась за книжки любимые — никак. Разве усидишь? Дико хотелось бегать, прыгать, двигаться. Налезалась, видать, на сто лет вперед. Эх, футбол бы погонять, или огород перепахать, или задвинуть какому-нибудь бугаю в челюсть. Она жаждала простора, бури, грома-и-молнии! А тут — четыре стены и тревожная мама.

Кинулась убираться в квартире. Бедное жилище! Такого насилия оно ещё не испытывало! Чистила с остервенением, вылизывала каждый угол. Вываливала ящики-шмурдяки, что копились годами, сортировала — нужное-ненужное выбросить. Рвала в клочья старые справки-квитанции, билеты-газеты, открытки-дневники. Мусор, мусор, мусор... Убиралась вокруг и сама, вроде, чистилась изнутри.

Полы скребла, тёрла щёткой. Задрала подол, встала на пол голыми коленками и мылила-пузырила белой пеной. И так рассмешила её эта скользятина, что захотелось, как в детстве, хулиганить. Распелась во всю мощь, вертелась фигуристой, валялась на мокром линолеуме сияющая и шальная, как прежде. Потом окупнулась и дальше.

Оконным стёклам досталось по полной. Надраила так, что неясно — открыты створки или закрыты. А как всё закончила, получила чисто физическое наслаждение.

Ну и... Дальше что? Сил не меряно, а всего сутки проползли.

Терпела, терпела, да и не вытерпела... Решила маме помочь, на рынок с ней сходить, продуктов купить на неделю. И чтобы не делать кучу рейсов, думает, дотащит всё разом. Короче, напросилась в качестве гужевой силы.



Восточный город-базар, как всегда, пел, гудел, спорил и заманивал. Отовсюду струились запахи восточной снеди. Её готовили здесь же, под навесами и без: плов, пашлык, самса, лагман. Во все стороны тянулись улицы-ряды. Направо — специи, налево — орехи всех мастей, там — вяленые фрукты, здесь — корейские острые салаты. Баррикады овоще-фруктов, зелень такая, какой и на свете не бывает. Дыни возлежали на солнцепёке жёлтыми откормленными поросятами. Покупатели хлопали их по бокам, приценивались, искусно торговались... А что? Хорошая арбакеша килограммов на пятнадцать потянуть может и стоит — ого-го! Громоздились зелёные барханы арбузов. Каждую гряду украшала рубиновая сахарная пирамида-нарез. И повсюду осы, осы, осы...

Сашка шагала бодро, пробовала то там, то сям сочный товар и улыбалась. Нагулявшись, прикупила солнечного сладкого наслаждения: персики, виноград, инжир и переспелую вишню-шпанку. Шла, обвешенная тяжелыми сумками, легко, даже с известным шиком. Встала у питьевых фонтанчиков фрукты вымыть — приятно по дороге жевать, пакеты на землю опустила. Моет, о приятном думает...

И вдруг — блюм! — шлепок! Ледяная вода струями потекла сзади по стройным ногам. Что такое? Как ухитрилась облить ляжки? Оглянулась, за спиной стоит пожилая ухоженная женщина. Синее строгое платье тяжёлого шёлка. Седая аккуратная причёска. Учительница — да и только! В руке банка тёмного толстого стекла, старинная, такую только в музее встретишь.

Незнакомка заговорила медленно с каким-то призывком, будто горное эхо. Голос слышно, а губы не шевелятся:

— Простите-е-е... случайно-но... ненавижу-вижу общие стаканы-аны, только из этого флакона-кона... не допила-ла-ла... плеснула-снула... на вас-ас... я не хотела-тела... Простите-спите-спите...

И пропала...

Матушка тоже увидела её лишь на секунду, закричала, замахала руками. А Сашу накрыла слабость. Слабость и покой. Медленно вытерла подолом ватные ноги. Покупки даже оторвать от земли не смогла. Неподъёмные. Мама перехватила.

Двинулись к машине.

Звуки отдалились, запахи улетучились...

— Да что же это такое, в самом деле?! Колдуны проклятые! Чтоб вам пусто было! Шурочка, голубушка, поедем в церковь. Там помогут. В Госпитальную поедем, она намоленная.

Александра не сопротивлялась, устала вдруг... Устала...

Глава 10

Подъехали к храму. Сашу пришлось держать под локоть. Не моглось ей. Спина, руки, ноги будто свинцом налились.

Отяжелела...

На паперти, как положено, сидели нищие. Одно включенное существо невнятного цвета возилось у ящика. Поправляло тряпки-пелёнки, демонстративно гулюкало. Сандра шагнула, наклонилась над «люлькой» и тут же отшатнулась — кукла. Денег не дала. Нищенка стала похабно визжать. Наткнувшись на безразличие, прикусила язык. Рассекретили, чего уж!

Александра никогда не привечала попрошаек. Ещё в юности уверилась: все они мошенники. А вот маменька, как раз наоборот, считала, что подавать нужно. Подавать, значит — помогать, жалеть, сострадать. Подтолкнула Сашу к входу, а сама суетливо рассовала по грязным ладоням мелочь. Ну, принято так, давно и не нами...

Вошли. Прохладный сумрак словно спеленал Сашу. В церкви было пусто и гулко. Зачем они здесь?.. Захотелось прижать спину к стене. Почему так неуютно, зябко? Стояла, стояла, а потом медленно двинулась к иконе Николая Угодника. Поставила свечу. Огонёк, как обрывок шёлковой ленточки, заметался. Неожиданно для самой себя зашептала:

— Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится...

От бабушки слышала, не предполагая, что так хорошо запомнила. Бессилие и тревога не отпускали...



Сперва по спине пробежал мятный холодок, а потом резкий ледяной вихрь. Сашенька оглянулась.

Прямо на неё, на бешеной скорости, неслась женщина лет тридцати. Гренадерское телосложение, белое кримпленовое платье, голые мощные руки, неприкрытые оплывшие колени. Густая грива цвета старого сена — так выглядят волосы, загубленные пергидролью. Лаковые туфли на каблуках-копытах и морда, словно из гипса.

Саша свирепо прорычала:

— Что?!.. — Пустое пространство отозвалось многократным эхом. Отчаяние и ярость собственного голоса испугала. — Мама! Мамочка!

Мать метнулась к дочери, обняла:

— Что с тобой? Да ты дрожишь! Девочка моя, чего напугалась? Успокойся, успокойся... всё хорошо...

— Ничего нехорошо. Женщина... Женщина в белом... здесь... только что... огромная... Она хотела... она... меня...

— Да нет здесь никого! Тебе причудилось. Успокойся!

— Нет! Не показалось... не показалось! Я же не сумасшедшая... Она тут... была тут... Колени жирные... От неё **п**Отом пахло...

И тут запротестовал разум: конечно, сумасшедшая! «Я сошла с ума! А я сошла с ума! Какая досада». А иначе как? Вокруг — ни души, только дочь и мать. Тишина? Полумрак? Свечи? Да, да, да. Согласна. Кислороду не хватает? Может быть. Резкая смена температур? На улице-то жарница. А с другой стороны, тот же разум протестовал. Нет, нет и нет. Такая туша, да ещё в светлом, показалась и спряталась молниеносно? Да уж, конечно!

Глава II

— Я видела. Видела, — как заведённая талдычила Сашка.

С тем и вернулись домой. Анвар нервно топтался у порога уже больше часа.

— Твою мать! Выманила-таки. Предупреждал ведь!.. Просил, как человека: из дома ни шагу! У-у-у... Ладно... Рассказывай!

Он слушал вполуха, кривил рот, хмыкал, щёлкал фалангами пальцев, мотал головой — плохо ему было, ай, как плохо.

— Значит так: Нора атаковала нас фантомом. Что со мной стряслось, потом расскажу, сейчас главное — вода. Вспоминай, что у тебя тогда было связано с водой.

А и действительно, Саня промолчала про отстриженный клочок волос, ну, выплело из головы. Что поделаться?

Взяла как-то Нора прядь Сашиних волос, вроде как шалить вздумала. А у самой в кармане ножницы лежали. Так она прядь оттянула и **чикнула** пучок без предупреждения. Положила на тарелку, зажгла. Горький запах жжёного в нос ударил. Потом ещё что-то спалила, и ещё... Завернула аккуратно кучку пепла в вощёную бумагу. Велела сбросить в бегущую воду и проследить, чтобы свёрток скрылся с глаз долой. И выполнила Саша, как сказано. И похвалу от Норы получила.

Анвар сидел, ссутулившись, массировал виски и чуть слышно постанывал...

— Ясно. Тут нужен мозговой штурм. Сил нет... Эта прогулка твоя, как под дых... Попробуем испытанным способом: открывай двери синематографа и снова крути киноленту назад. Забирай из того арыка бумажку, разворачивай и волосы приставь на место, где отрезали. Приросли? Порядок! А теперь представь любую воду. Хоть океан, хоть лужу, хоть стакан.

Перед Сашей начали возникать контрастные картинка одна за другой.

— Вижу пруд. Агатовая вода, густая, как мазут. Стоячая.

Ого! Теперь вроде волны появились, но ненормальные, а будто граммофонные пластинки, напользают одна на другую.

Ага! Края у дисков начинают пениться. Ой, светлеют, ещё светлеют. Смотри-ка, волны всё выше, круче, белыми барашками закручиваются.

Их ты! Река. Горная, по камням скачет-бесится. Узкая, будто между скал протискивается.

Опа! Ручей. Теперь ручей. Чистый-чистый, как слеза.

М-м... Откуда-то жёлоб появился. Струйка тоненькая. Тоньше, ещё тоньше. Кап, кап...



Всё! Кончилась вода.

— Ну и славно! Приляг, отдохай и слушай. У меня тоже новости несмешные.

И только тут она заметила, что с Анваром творится что-то не то:

— Ты заболел? Вид у тебя, прямо скажем, неважнецкий.

Чего ж не рассказать? Рассказал...

Ночка ещё та, говорит, была. Он ждал и, конечно, готовился. В три часа завертелось. В закрытое окно начал биться чёрный кот. Выл, скрежетал когтями по стеклу, а потом стал изменяться. Животное расплющилось до состояния копирки и вползло в щель между рамой и подоконником. Перед ним выросла фигура в плаще с капюшоном. Закачалась и раздвоилась. Видит: он и она, без лиц. Ну, и кинулись, конечно, твари.

Остальное тебе знать пока не положено...

— Мастерница твоя Норочка фантомы ляпать. Ну-ка, посмотри на ведьму сейчас.

— Я её не вижу. Погоди, погоди... Проясняется... Вдавлено что-то в подушку. Череп с остекленевшими глазами. Наволочка мокрая. Фу! Гадость какая-то. Это... Это она!

— А пойдём к ней в гости сходим? Адрес помнишь? Насладимся победой!

Саша смутилась, помолчала, а потом сдавленно:

— Знаешь, Анвар, честно говоря, не испытываю радости... если б можно было не мстить, а просто меня вылечить, я б выбрала мирный выход. Пойми, это не жалость, нет, мне противно разрушение...

— Ну, вот и ответ на не поставленный вопрос. Ты воин, а не захватчик.

— Можно спросить ещё? В церкви была та, в белом? Тоже её рук дело?

— Да нет, то лярва глупая. Видит: раненая, дай поживлюсь! Не тут-то было. Фигня, не бери в голову. Не тебе таких пугаться. Я вот про что всё время думаю: зачем Норе надо было тебя непременно убить? Даже на меня кинулась, как на амбразуру, без шансов. Ответа вижу два: ей достаётся вся твоя мощь и пришлют, наконец, нормального ученика. А пока ты жива — ни того, ни другого, одна головная боль.

У Сандры внезапно заломило внизу живота, горячая волна подкатила к лицу и засвербела шальная мысль:

— Анвар, прости... Это совсем не в тему. Спросить хочу. Чего-то резко подумалось... Совсем нестати подумалось... Мысль глупая...

— Не мямли!

— А ты меня... это... не изнасилуешь случайно?

Колдун захохотал так заразительно, так искренне, от всей души, как говорится. Аж до слёз!

— Эх, Саня, Саня! Ты действительно такая наивная или прикидываешься? Если захочу, сама отдашься и в жизни не вспомнишь.

Она захлопала ресницами и глупо улыбнулась:

—?..

— Дурашка. Успокойся, ты не в моём вкусе. Кончай к себе прислушиваться, сексуальная энергия самая сильная в организме, мы просто черпнули из резерва. Лучше слушай внимательно. Вот, блин, перебила! Так. О чём это я?.. А! Вот что должен сказать. Сила — колоссальное искушение. Запомни, на самую сильную силу найдётся ещё большая Сила. Обязательно придёт и пересилит.

— Да, да, я понимаю.

Глава 12

Настоящую силу Александра рядом с океаном прочувствовала. Прилетела во Владивосток летом и увидела открытое море. Вода, вода, вода... Сколько потом ни приходила к пирсу — всё как в первый раз. И цвет другой, и волны разные, и даже запах меняется. И так это удивительно было, так завораживающе, что повадилась Саша после занятий на берег бегать, закат провожать. Сядет, бывало, на утёс, уткнёт глаза в горизонт и смотрит, смотрит вдаль...

А потом учёба навалилась, подрабатывала вечерами, закрутилась, словом.



Только в январе снова очутилась у моря, случайно. Студенческой гурьбой на каток на Набережную прибежали. И что? Где оно, море-то?!..

Поймите правильно, подходит ташкентская девушка к берегу и ничего понять не может. Снег видит, лёд видит, а воды нет. Вдохнула морозный воздух, а он и не солёный. Девушка даже представить себе не могла, что всё это грозное Бурлило, которое ещё два месяца назад хлестало, стонало, ревело, неожиданно может застыть. Зснуть, как умереть...

Ошеломило... Опустилась тогда на колени, слёзы в три ручья...

Именно тогда впервые в жизни осознала: на Силу Вода есть Сила Мороз...

— Сколько я должна тебе заплатить за лечение?

— Столько, сколько стоит твоя жизнь.

— А... наверное, много... у меня столько нет... или... вернее: нет цены? Моя жизнь бесценна!

Тут безглазый просто покотился со смеху:

— Для тебя — да! Ну, ещё, может, для близких. А для меня? Для меня твоя единственная жизнь не стоит ни гроша! Дай, чего не жалко...

Александра крепко задумалась...

— Скажи, Анвар, только честно, ты чёрный или белый колдун?

— Вот и главный вопрос, который тебя мучает с первого мгновенья. Я — серый. Пойми, Сила не имеет цвета. Она просто сила. Вот, к примеру, нож. Смотри.

Откуда ни возьмись в руке появился клинок. Мужчина приподнялся и поддел из вазы с фруктами самое крупное яблоко. Молча начал освобождать от кожуры. Чистый фокусник! Сидит себе, срезает розовую шкурку до тонкой прозрачности. Вьётся стружка-ленточка спиральным завитком, не прерываясь... Ловкость заворожила. Порезал на ломтики, угощает.

— Хорошее это дело — нож! Правда? Это если хлебушек нарезать.

Резко выбивает у неё из руки кусок яблока, секунда, и вот уже нож у её горла.

Анвар зловеще:

— Теперь что скажешь? Смешно?... Всё зависит от выбора.

Опустил нож.

— Я выбрал серый. Ни нашим — ни вашим. Обе крайности обязывают. А я посередине — свободен! Вот смотри, ты любишь и жалеешь людей только потому, что они люди. А все ли люди? Нищих же почему-то не жалуешь?

— Они паразиты.

— Поразительные паразиты, — улыбнулся. — Значит, признаёшь различия. Разберись, кому доверять? Тебе же обязательно надо доверять. Запомни: всегда, везде и во всём требуется выбор. Хм-м... За кого? За белых или за красных? Сань, ты мне по-настоящему симпатична, редким талантом обладаешь. Горько будет, если просвищишь Дары. Тебе придётся учиться. Но твой учитель — не я. Не успею. Времени мало... Ты со дня на день улетишь во Владивосток. Больше не увидимся.

Да! Ещё. Появится человек и возьмет в оборот. **Гуру**. Не пугайся! Так крепко возьмёт, что отвергаться не удастся. Загонит в угол и заставит. Когда случится? Не знаю, но, думаю, скоро, потому как неизбежно. И последнее...

Часто Сандра ломала голову: почему застряла в том Владивостоке? Металась без ответа. Москва, Питер, Германия, Италия — всюду приглашали. Она жаждала перемен, но реальность ставила неодолимый барьер. Сердце бунтовало: «Не хочу, не могу здесь!..» Дёргалась, рыдала... и оставалась...

Анвар заговорил об этом, как о личном. Слова вылетали пулями: метко, быстро, хладнокровно.

— Ненавидишь этот город. Летишь ради Андрея и Дуни. Ещё бы! Нелюбовь прячешь от самой себя... Зря! Ты нигде не выживешь, там особая энергетика. Мощная. Люди оттуда — кто бежит, а кто вращает против воли, точно устрица к раковине. Нора запечатала. «Обратку» не сыграть. Я оживил, но выдернуть — без сил. У тебя семья, достаток, любимое дело. Радуйся. Да, край света, и там ты — **никто**. Поверь, хорошая цена.

Истому в жар бросило:

— Зачем кожу-то живьём сдирать?..
— ...А как?.. Ты — *Узник Места!*
Обнялись крепко-крепко, до боли.
На том и расстались.

Часть вторая

СООБЩНИЦА

Глава 1

Во Владивосток Александра Истомина вернулась весёлая, здоровая, боевая.

Семья была счастлива: мамка вернулась! Дуняша соскучилась ужасно, ни на минуту не отходила, бегала «хвостиком»: мам-мам, мам-мам... Андрей, большой и тёплый, всё за руку держал, отпустить боялся, подолгу глядел в Сашины глаза, будто привыкал к ней заново.

На самом деле эта троица составляла единое целое. Андрей обожал своих девочек и боготворил. *Малая* — вся в папу: аккуратный носик, мягкие волосы, доверчивые глаза, абсолютный слух. Кроха интонировала любые музыкальные фразы играти. А вот неумёная фантазия и независимый нрав — это в маму.

Каждое утро начиналось:

*Трям-тырьям, тырьям-пам-пам!
Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!
Трям-тырьям, тырьям-пам-пам!*

Вылезет из кровати, подкрадётся к проигрывателю, заведёт пластинку погромче, и — нырь! — к родителям. Ляжет поперёк: голову — на папу, ноги — на маму. И — трям-тырьям, тырьям-пам-пам!

Наловчилась Дуняша на подоконник залезать. Любимое занятие: смотреть, как папка машину моет. Хохочет колокольчиком, стучит в стекло. Вдруг чиркает мизинцем по трещине. Молча рябиновую каплю разглядывает. А у мамы глаза вымокли и в ушах шум, будто антенну выдернули. Первая кровь...

Выбегает как-то тревожная Александра во двор... Только что щебетала шайка молодняка, визжала, громыхала и вдруг затихла. Видит: малыши в похороны играют. Детёныш Истоминых лежит смиренно на столе, листвою засыпанный, а вокруг ребягтя печальный хоровод организовала. Лица серьёзные, воют заунывно...

Как Сандра кричала! Никогда в жизни не орала громче!..

Так страшно ей сделалось... страшно и смешно...

Бабушка взяла внучку на побывку в деревню. Родители чуть не рехнулись, измучились, еле субботы дождались... Думают, истосковалась, наверное, доча, кинется со слезами: «Мамочка! Папочка!».

Ага! Не тут-то было! Проносится мимо чумазое, загорелое чудовище во главе пацанячей своры: «Ма! Па! Привет!» Белая грива по ветру хлещется.

Отчего-то обида накатила. Эгоизм! То ли у неё, то ли у них... Осталась деточка у свекрови ещё на пару дней... Садятся Андрей с Саней в машину. Она: «Слушай, это, наверное, глупо, но я её к бабушке ревную». А он: «Это что! Я её уже к будущему мужу ревную!» Засмеялись, обнявшись...

Хорошая семья, правильная.

И жили бы они долго и счастливо, однако...

Колдун Анвар смутил Сашку, всё перемалывала, пережёвывала те события. Удалось безглазому запустить в душу зверька, и тот без усталости грыз и грыз нутро: тюрьма, тюрьма... Узник, узник...

Вроде всё по-прежнему, а немоготу.

Раньше носила этот горбатый город — искорёженные дороги, гнилой туман, неприветливые сопки по краю серого моря — как должное. Чего-то не замечала,





запросто перешагивала, брезгливо отворачивалась. Теперь же всё это лезло изо всех щелей, бесило. Вот подвыпившая публика, вот бездарные коллеги, вот смиренный Андрей и даже своенравная Дунька.

Душно ей сделалось и беспроглядно.
Такое вот надуманное Горе!

Глава 2

Публика категорически не приняла новый образ Сандры. На первом же концерте разразился скандал.

Саша прорыдала всю ночь.

Раньше это была блюзовая леди: чувственная, с аппетитными формами. Густые волосы ниже лопаток, бархатный взгляд тёмно-серых глаз. Теперь на сцене стояла девочка-подросток.

Знакомые терялись при встрече, некоторые проходили мимо, не узнав. Появились и «благодетели», нарочито демонстрировали своё «фи!». Мол, закатилась звезда Сандра. И голос не тот, и обаяние осыпалось... Где королева?! Щегол какой-то невнятный. Шептались, сплетничали, хихикали за спиной...

Не выступала давно, волновалась больше положенного, да ещё похудела вполовину... Нет, это её не портило, даже наоборот: появилась лёгкость, резкость, жар. И в обычной ситуации она, наверняка, радовалась бы: помолодела лет на десять! Но...

«Другая» — вот слово, от которого становилось тошно, лишало покоя.

Это как новорожденный — всё заново. Даже Андрейка посмеивался: «Женился на Симфонии, живу со Скерцо!».

Привычки изменились. Полюбила сидеть по-турецки, спать свернувшись. От машин шарахалась, всё пешком-пешочком. На аппетит не жаловалась, даже наоборот: мела всё кряду и не толстела. Нетерпимость и вздорность завелись в характере, как два наглых кота. Чуть чего не так — сразу шипит, рычит.

Коллеги и раньше-то её побаивались. Кому приятно слышать правду? Поначалу ещё спрашивали: «Ну, как я сегодня?», а потом зареклись. Уж слишком точно и категорично судила себя и других, без учёта места, времени и заслуг. Не выносила халтуры.

А язычок у Саньки — будь здоров! Как скажет, скажет! Хоть иди топись.

Андрей эту дерзость сглаживал, как мог. Больше всего на свете не любил он ссоры. А у неё — вожака под хвост — спасайся, кто может!

Сцена Александре теперь казалась шире и глубже обычного. Прежде чуть двинет бедром — и, пожалуйста, выходила страстная волна. Теперь это «чуть» смотрелось пошлой ужимкой. Мышцы помнили усилие, но этого стало слишком много.

И поначалу её мотыляло по сцене как нетрезвую. Жесты суетливые, куцые... А всё почему? Веса мало. Она — к хореографу: надо что-то серьёзно менять и самой меняться. А человек Саша волевой, такую не возьмёшь «за рубль за двадцать». Со временем добилась-таки определённого изящества.

Скажете: ерунда? А вот и нет. Срочно надо было придумывать и новый образ, и новый стиль. Мало придумать — освоить! Полностью поменять сценические костюмы, как, впрочем, и весь «штатский» гардероб. Самое главное, репертуар пришлось пересмотреть.

Всё это отбирало уйму сил и времени. В душе появилась предательская неуверенность... Если раньше гордо «выплывала» к микрофону, теперь подолгу стояла за кулисами, настраиваясь на «прыжок».

Но не всё так плохо. Слушатели истосковались по её неповторимому драйву. И она не разочаровала. Обновлённая Сандра летала по сцене, как стрекоза. Свежие композиции удавались ярче прежних. Проявились и новые музыкальные пристрастия. В джазовый концерт смело вставила номера в стиле джаз-рока и даже парую тройку чисто роковых штук.

И всё-таки, надо признать, потеряла часть зрителей...

Да ещё Андрюшка всё не унимался, продолжал подтрунивать, по-доброму, конечно, но всё же. Женился, мол, на мадам Грицацуевой, а живу с Лолитой.



А когда ей однажды, укладывая волосы плойкой, сожгли пару локонов до основания (то ли торопились, то ли нарочно), Сандре пришлось подстричься коротко, он возьми и пошути:

— Сань, я, конечно, смирился, что сплю с подростком, но вот чтоб с ёжиком...

Горько обиделась.

Глава 3

Александра по сотому разу рассказывала Андрею про колдовское лечение, смаковала подробности. И думала, думала, думала...

Дом стал в тягость, быт опротивел. Всё чаще и чаще хотела быть одна. Подолгу кружила по городу без определённой цели: какие-то закоулки, подворотни... Зайдешь в арку в центре, а выйдешь аж в другом районе, на окраине...

Как-то Алекс обратила внимание на то, что есть в городе несколько «зовущих» её мест. Вот, к примеру, угол железнодорожного вокзала. Станет там и стоит подолгу. А люди идут мимо и её вроде не замечают. Или вот здание из красного кирпича — там народ не ходит. Ощущение вакуума. Будто в этой части нет звуков, запахов, энергии... Когда ты там, тебя как бы нет. Или Набережная — несколько лестничных маршей. Всегда толпы гуляющих. Станешь на площадке справа, ты всех видишь, а тебя — нет. Через три метра — есть, а тут — вакуум...

Вот мужик озирается, в метре от Алекса пристроился к дереву и помочился. Повертел головой: контрольная оглядка, и пошёл, как ни в чём не бывало.

Она даже эксперимент провела: разделась до пояса. Не замечают. Идут в двух шагах, болтают и ничегошеньки не видят!

А её прямо зовёт туда. Так и тянет в места «без жизни», манит. Постоит она, бывало, там с полчаса и — как заново родилась. Название этому явлению возникло само собой: *неместо!*

Хотела, было, Андрею рассказать да передумала. Решила: вдруг пригодится? И потом — пусть и у неё будут собственные тайны.

Наблюдать полюбила. Вот, допустим, Мудрость влетает в мир бабочкой.

Страх — это когда август в самом разгаре. Солнце — хозяин. Всё кучится, пушится... И в это яркое созревание врываются первые звонки увядания... Всё зелено, и вдруг... Первый, самый первый опадающий лист, потом второй, за ним третий... Будто ранние, ещё не горькие слёзы... кап... кап... Не мука, просто грусть... Именно от этой беспечной лёгкости и душит настоящий страх.

Уф! Слава богу! Не листья! Бабочка пролетела? Крупная какая! Махаон? Нет, нет... Не листья это. Рано! Действительно стайка громадных махаонов над флоксами резвится. Опростоволосилась! Это мотыльки друг другом любят.

Только трусливое сердечко уже ёкнуло, защемило...

А тут и рыжий кот вприсак попал. Охотится дурашка на бабочек. Ликбез у него — Знание караулит. Прыжок! Схватил разноцветную мудрость, пожаткал и выплюнул.

Притаится — скок! — ещё одного краснокнижного махаона прикусил. Наверное, думал, что это птички. Очередной цап-царап! — спутал, балбес, листок летящий, тополиный... Ухватил. Скривился, сморщился... Фу! Не сладко!

Глава 4

Как-то в гости к Истоминным заскочил их давний дружок Сева, учились вместе.

— Я на минутку! Деньжат займите на неделю.

— Вот рожа! Севка, совесть имей, сто лет не общались, а ты — на минутку. Так и жизнь пройдёт! Хоть слово скажи, как ты?

— Не-не! Чес-слово, шас не могу! Никак не могу, сын в машине и дело ждёт. Даю слово: в субботу, как штык, к вам на весь день. Всё распишу в подробностях. Дети



конструктором займутся. Я такую огромную коробку отхватил! Космолёт построить можно. А мы — «по рюмочке с рабочими». Саньчес, ну не обижайся. Правда, всей семьёй закатимся, зуб на мясо. За денежку — спасибо, целую, лю-лю!

Но встретиться им больше не пришлось.

Из сводки дорожных происшествий:

Вчера, около полуночи, на трассе Владивосток — Находка «тойота-креста» врезалась в стоящий КамАЗ. Пассажир погиб на месте. Смерть наступила от травм, несовместимых с жизнью.

Александр оглоушило: Сева...

Громадина действительно стояла поперек дороги, ремонтировалась. Как водитель тойоты не увидел аварийного знака, включенных габаритных сигналов? Как?! Просто непостижимо!

Ночь. Дождь, переходящий в снег. Белая легковушка мягко катила по шоссе. И скорость-то была — без фанатизма. Пассажир даже не проснулся. Так и влетели в грузовик на полном ходу. Перед шофёром мелькнул оранжевый борт за секунду до столкновения, он рефлекторно крутанул руль и подставил левый бок. Его можно понять...

Удар был такой силы, что машину смяло, будто сжали в кулак яичную скорлупу. Водитель тронулся умом. Ещё бы! Его другу и партнёру срезало голову, как гильотиной, а он жив-здоров, ни единой царапины.

Самое нелепое и чудовищное, когда молодых хоронят. Александра обзванивала друзей. Состояние было ужасным.

Рыдали все.

На кладбище стоял вой. Его заглушали порывы пронизывающего и беспощадного ветра. Чёрные, уже смёрзшиеся комья земли посыпала мелкая ледяная слюда... Дышать было трудно от горя и стужи.

Рабочие торопились. Красными стылými руками кое-как заколотили крышку, возились с верёвками, готовясь опустить в землю.

Вдруг со стороны леса послышался дикий крик: «Стойте!». Не разбирая дороги, к траурной толпе неслась растрёпанная девушка, общая любимица Ева. К груди она прижимала картонную папку. Ветер пытался её остановить: сбивал с ног, выдирали из рук бумагу, хлестал лысыми ветками по лицу, но ничего не помогло.

Она подскочила к открытой могиле: «Успела! Я успела!». Лёгкая папка скользнула в могильный прямоугольник, и... Девушка лишилась чувств, криво повалилась на кладбищенскую землю.

Стоящие рядом ужаснулись: на дно могилы упала папка, из неё рассыпались фотографии. Ребята тупо смотрели, как на их бумажные лица опустили гроб...

На поминках все пили горькую, как умалишенные.

Севка был душой компании, самый весёлый парень в институте. Пел все характерные партии. Обожал жену и сынишку. Мужиком был. Подлости не терпел, мог и в зубы дать. Не ленился помочь, если требовалось. Отличный человек был! Настоящий! Был, был, был... От этого слова раскалённый ком стоял в глотке.

А у Саши, кроме потери друга, появилась ещё одна тревога: фотографии. Их ведь тогда так и закопали. Она хорошо запомнила слова Анвара: «Не вытащим косу, ничего не поможет». А тут целая кипа... На карточках все педагоги, все студенты... Андрей, в конце концов. Надо было что-то делать. А что? Она не знала...

Шли месяцы...

С её друзьями начали происходить неприятности. Сперва по мелочи: то обворовали того, то уволили этого, то развелись «попугаи-неразлучники». Конечно, она не паниковала. Разве без фоток такие вещи не происходят? Списывала поначалу это на стечение обстоятельств. А потом всё хуже и хуже. «Случайности» валились, как камнепад в ущелье: один спился в два месяца, другой выпал из окна, того посадили, этот пропал без вести... Именно те, кто был запечатлён на злополучных снимках.

А причиной всему — Ева. А может и не Ева?.. Тогда кто? Зачем? Мысли, как опара, разбухали, лопались, смешивались и снова разбухали...

Глава 5

Тот день был прекрасен! Солнечное первое июня — День защиты детей.

Женщины гуляют в пёстрых платьях. По обочинам торгуют букетами тюльпанов. Ребятишки, заливаясь смехом, носятся с воздушными шарами. Мужчины пьют пенное. Старик крошит ржаное голубям-безобразникам. На серебристое блюдо гавани робко выползают сонные яхты. Ветер-проказник дурачит паруса. Свежий июнь!

Сандра выступала на открытой эстраде, на Набережной. Обожала такие концерты. Малыши реагировали искренне: подпевали, пританцовывали. Ах, как радостно за ними наблюдать!

После представления она с удовольствием скинула туфли и пошла вдоль берега. Домой успеется, передохну, думает. Села на лежак, вытянула ножки...

— Привет, красавица!

— Адресом ошиблись, ночные феи ещё не прилетали. Рановато... — Саша ответила мимоходом, как от мухи отмахнулась.

— Да я не про внешность. Мне на неё... Хотя, справедливости ради, вы действительно — ничего.

— А вы — хам.

— Это — да! Страшно интересно: кто латал тебя... ой, простите, вас. М-м-м... Кто латал вас так искусно? Никогда не видел подобного изыска! Хорошая работа. Самому мне не сделать лучше.

— Шли бы вы своей дорогой... А?! а... что значит «латал»?

Он снял с плеча небольшой чёрный рюкзак, откинул в сторону и уверенно сел на соседний лежак вызывающе близко. Но ни испуга, ни дискомфорта Александра не почувствовала, хотя человек явно нарушил её личную, суверенную территорию...

Сандра внимательно рассмотрела парня. Вывод, который она сделала, удивил. Перед ней сидел человек — песок.

Да-да. Она видела такой песок в пустыне Кызыл-Кум. Песок — пыль, микроскопический, будто мука просеянная. Стоит подняться ветру — и полное ощущение тумана. Трудно поверить, что это мелкие частицы кварцевого минерала, а не газ.

Глядя на парня, Саша ощущала твёрдость и зыбкость одновременно. Как детские пляжные игры: никто не знает, что ждёт постройку в следующий момент. То ли рассыплется, то ли смочет волной, то ли маленькие ладошки превратят бесформенную грудку в какую-нибудь скульптуру: в волка, например, или в русалку.

Невысокого роста незнакомец был молод, ладно сложен: худощавый, длинноногий, лёгкий и одновременно крепкий. Обаятельный, но как-то чересчур... Чистый лоб, длинный с горбинкой нос, мощный раздвоенный подбородок, резко очерченные скулы, жёсткие короткие волосы, довольно пухлые губы в холодной улыбке, пристальный взгляд.

Весь его облик, и это абсолютно точно, — гармоничный коктейль из стальной стружки, болотной мути и растёртого коралла. Песок...

Сандре на секунду показалось, что они знакомы, встречались где-то, но... сразу не вспомнила, значит, неважно.

— Будем знакомы: Макс Ермаков, — и, не дождавшись ответа, опередил: — А вы — Сандра. Сандра Истомина, местная знаменитость. Я в филармонии слушал ваш концерт. Прекрасно!

Очередной фанат? Хм-м... Вот и расслабилась, вот и насладились тишиной и лёгким бризом. Извинилась, откланялась.

Глава 6

Летом образовались гастроли в Японию. Как на другой планете побывали. Многое удивило, что-то порадовало, что-то озадачило...

Запомнилась лавка репродукций известных мастеров гравюры. Хозяин, как чёрт из табакерки выскочил, улыбается механически, кланяется — тик-так, тик-так! Маленькой ручкой: мол, вот попробуйте. Огромный выбор репродукций Хокусая. Берите, он самый модный.

Александра усмехнулась: да, говорит, можно и Хокусая, но мне по душе Хирогэ или Утамаро. Лавочник чуть не рухнул: «О, госпожа! Вы блестяще разбирае-





тешь в японской живописи!». И затиктакал в изумлении, искренне благоговей перед иностранкой.

Сандра с лёгкостью освоила палочки для еды о-хаси и сразу почувствовала себя настоящим дирижёром. А уж как удивился суши-мастер, когда она попросила добавить васаби! Мужчина воскликнул: «Таишита мон да!» — мол, ничего себе! Вот это барышня!

А в магазинах и лавчонках японки разглядывали её исподтишка, перешептываясь: «Кирейна хито дес не!» (Боже, какая красивая женщина!) Приятно.

В Токио её поразил человеческий муравейник, биомасса, людское цунами. Вроде полно народу, и вдруг — порядок! Никто ни разу не наступил на ногу. Такой учтивости она ещё не встречала. Толпа как хорошо организованное разумное существо. Может, это просто молчаливые роботы?

И в то же время — чересчур пёстрые студенты-попугайчики. Кричащие одёжки как свобода самовыражения.

А этот известный гей-квартал синдзюку ничёмэ? А каменные джунгли, вся красота которых в простоте? А безликие мансёны в пять этажей? За каждым окном прячется то простой, как калька, служащий-сарариман, то старшеклассница-проститутка, то жалкий хикикомори — затворник по-нашему...

Порой не понимаешь, как можно жить в такой сумасшедшей, такой зомбированной и по-настоящему странной стране?

А порой хочется остаться тут навсегда. Пленяет что-то неуловимо очаровательное... японское...

Глава 7

Турне пролетело легко, будто цветенье сакуры. Успех был ошеломительным! Никакой «старой» или «новой» Сандры для японской публики не существовало. Страна Восходящего Солнца полюбила её такую как есть. И Саша воспряла духом!

Андрей тоже отличился. Его баритон покориł всё женское народонаселение. И песни его — чистые, протяжные, как поле пшеничное без края... Поёт — словно душу тёплой шубкой кутает. Свет внутри возникает спокойный... И чувства нежностью изливаются... Сдержанные японцы даже «бис!» кричали после заливчатского «Чубчика». А он только улыбался.

После одного выступления зрители ждали у служебного входа русских. Народ разный — с цветами и без. Вдруг под ноги к Андрею выкатился кругленький старичок. Ушки оттопырены, бородёнка метёлкой, на голове лёгкий пушок. Вьётся кругом, то ли подпрыгивает, то ли кланяется, шелестит: кусё, мосё, босё. Глазки влажные, добрые-предобрые.

Хватает Андрюшину руку сухими ладошками, да с такой силой, какую в этом «мячике» и представить невозможно! Сжал по-мужски, пристально глаза в глаза: касё-масё. А как отпустил, так тут же и отскочил. Испарился, натурально.

Андрей разжал кулак — крупная белая бусина на шнурке. Поцарапана слегка. На вид — полупрозрачный головастик. Глаз дырочкой.

Хотел было откинуть, да тут переводчик засёк:

— Ты что, выбросить хочешь?! Никак нельзя! Это магатама, она служит потомкам богини Солнца. Это оберег от зла, счастье приносит. Ей, может, три тысячи лет! Их всегда из драгоценных камней делали. Твоя, похоже, из агата редкой белой окраски. Не шути! Самой известной магатамой является Большая магатама Ясакани, между прочим, одна из трёх регалий Императора Японии. А он: выброшу! Видишь, как дедок расчувствовался.

Андрюша с Сашей долго крутили-вертели подарок. Придумали: пусть это будет окаменевший зародыш всего сущего. Что делать с ним, так и не решили, оставив вопрос до лучших времён.

Истомины вернулись во Владивосток в конце октября. Со свежими силами нырнули в работу. Новая программа обещала быть колоссальной! Однако...

Пока они гастролировали, в филармонии произошли перемены. Прежнего дирижера «сгрызли». На его место посадили молодого, предприимчивого. И реши-

тельного, чтоб не сказать «наглого», человека. А как известно: новая метла... Начались интриги, мышьяная возня.

На Истоминых посыпались сперва мелкие неурядицы, потом крупнее и крупнее. Андрею урезали ставку и сократили количество концертов. Александре убрали сольники, мол, незачем, пусть поёт в сборных солянках, а то ишь — звезда местного разлива! Оставили пару песен, чтоб не зазнавалась. Объяснили обидно: билеты на неё, дескать, плохо продаются... Ага! Зато на любовницу главного дирижёра спрос якобы возрос.

Сандра не верила. Что ж они, дураки совсем, в собственный карман плюют?! А жизнь проста. Иной не только плюнет. Сладко чесать больные амбиции. Пусть хоть протухнет, не поделюсь!

Глава 8

В какой-то момент Сандра заметила, что буквально на каждом представлении в первом ряду сидит один и тот же парень. Глаз с неё не сводит...

Истомина задумалась: а ведь она его знает. Откуда? Через некоторое время поймала себя на мысли: я думаю о нём навязчиво. Действительно, кто он?

Этим же вечером как вспышка — вспомнила. Это тот самый тип, которого окрестила: «песок». Вот прилип!

Однажды в гримёрку к Сандре заглянула администратор Ленок, известная балаболка:

— О, Сандрик, переделалась уже? Пойдём к нам, тут один паренёк суперским кофе угощает. Ва-аще отпад! Твой любимый, японский... Пойдём, хлебнёшь горяченького, ностальжи и всё такое...

— Нет, спасибо, мне домой.

— Это... ну-у-у... Он с тобой познакомиться хочет. Такой прикольный, клёвый! Я, кажись, запала... Ну, ради меня! Глянешь опытным глазом. А то, ты ж знаешь, я, блин, опять куда-нить вляпаюсь. Сандричка, ну, правда, пойдём, классный чувак, отвечаю.

И тут из-за спины — **он**. Легко и довольно небрежно отодвигает Ленку, входит.

У незваного гостя в руке странный букет. Какие-то сушёные колочки, ветки, листья. Внезапно комнатка наполнилась приятным ароматом. Растения так не пахнут, так молоко пахнет, которое вот-вот закипеть должно. Чуть сладковатый, сытый, добрый запах.

Он подаёт Саше корявый игольчатый кустик. Та молча берёт. Главное, берёт благосклонно, как корзину роз, не удивляясь...

— Я — Макс. Ермаков. Помнишь: начало лета, берег моря. Ты спросила, что значит «**латанная**»? Я не ответил. Нарочно не ответил. Сейчас объясню... — Обернулся к застывшей в дверях Ленке: — Свободна! — и плотно захлопнул дверь.

Парень без перехода легко и непринуждённо заговорил в темпе вальса. Оказывается, первое, что **увидел** ещё на берегу, так это её травмированную голову. Ранения такого рода однозначно являются магическими. И она в недавнем прошлом стояла на грани жизни и смерти. «Лекарь» — мужчина, живёт далеко. Сама она — не фиг на палке, не рядовая, обладает недюжинной силой. И раз-два-три, раз-два-три, закружил, закружил, закружил словесами...

— Если б ты хоть каплю соображала, никто б не посмел тебя так изуродовать. Мне много чего сказать надо. Но вижу, устала после работы. Давай массаж сделаю? Взбодрисься.

Саша чуть дёрнулась и резко отказалась.

И он похвалил её отличную реакцию. Ты, говорит, молодец, а меня не бойся. Я, мол, друг. Просто пошутил, для проверки.

И тут у Александры в голове появился далёкий звук, тонкий, как хрустальный колокольчик. Динь-динь! Динь-динь!

— Рассказывай, что там у тебя? Сильно мучаешься последние... м-м-м... последний год. Выкладывай! Явно фонишь тревогой. И прекрати сопротивляться! Рассказывай, какие твои печали! Ну!

Прямо-таки бульдозером наехал. Перед ней стоял паренёк, почти мальчик, при этом практически незнакомый. Вёл себя бесцеремонно, как филляр, местами по-хамски, а она не оскорбилась, приняла...



Глава 9

Александра и не заметила, с чего это её так затрясло. Накатили возбуждение и беспомощность. Она почувствовала себя маленькой девочкой, заблудившейся в лесу. На глазах появились слёзы, и она заговорила о том, чем даже с Андреем боялась поделиться. Короче, выплеснула всю историю с фотографиями до капли.

Он ответил не сразу. Долго молчал... Казалось, застыл.

Очнулся:

— Пойдём в курилку. Значит так, теперь ты будешь курить только мои сигареты, — и протянул незнакомую пачку. — Контрабанда. Made in Japan. Тебе понравится. А я буду «курить» тебя...

Маленькая, заплёванная комнатуха пустовала. Ермаков начал с главного: фотографии надо достать! Без вариантов. Правда, придётся серьёзно подготовиться. Во-первых, необходимо призвать девушку на дознание и вычислить: кто нажал кнопку «пуск»?

Во-вторых, провести кое-какое расследование. Раз Ева не сама придумала такой финт, то замысел должен иметь цель. Нажали «пуск» не просто так. Для чего?!

В-третьих, подсчитать ущерб. Смягчить нарастающие последствия.

В-четвёртых, отловить террориста и обезвредить.

В тот вечер Сандра впервые привела Макса домой. Дунька почему-то сразу спряталась. Обычно общительный ребёнок забился под кровать и не пожелал разговаривать с новым знакомым. Потом перелезла из-под кровати на кровать и уснула без ужина.

Андрей был радужен и внимателен, накормил до отвала, выпили по бокалу вина, говорили... Ермаков вёл себя легко, искренне и очень, очень тактично. На предложение остаться ночевать отказался, мол, и так я ворвался в вашу жизнь слишком стремительно. Договорились вызвонить Еву на завтра.

Однако на звонки она не отвечала. Тогда подняли на уши друзей: пусть срочно свяжется. Тоже без результата. Ева была везде и нигде, только уцепить её не удавалось. Шло время. Макс с Сашей топтались на месте...

— Ждать больше нельзя. Если не получается по-вашему, значит позвоём Евушку по-нашему. Сегодня ночью *работаем*: ты и я.

Глава 10

Ночь была безлунная, безмолвная, затаённая...

За окном — тьма-тьмушая, а на кухне у Истоминых тепло и уютно. Уложили дочку и долго пили чай втроём: Макс, Сандра и Андрей. Разговаривали вполголоса о вещах простых и незатейливых. Голос Ермакова звучал монотонно, размеренно, спокойно, так что Андрея вконец сморило...

— Не мучься, иди, ложись к Дуняше...

Как только отец семейства засопел, Макс тут же активизировался. Сел напротив Александры и предложил сыграть в примитивную игру. Да уж! Такой *простоты* она не ожидала. Он дал ей пить.

— Вот, смотри, в этой чашке обычная вода из-под крана, попробуй.

Она отхлебнула — хм-м! — вода водой.

— Теперь посмотри мне в глаза.

Следующий глоток. И... вкус воды реально изменился, в чашке оказался настоящий чай с мятой, чуть подслащенный. Прозрачная вода и вдруг... Сандра была в замешательстве. Макс рассмеялся по-детски, шепнул заговорщицки: «Теперь отведай квасу». И она хлебнула из той же чашки бочковой квас. Потом это был остывший кофе, сваренный по-турецки, потом пиво... И, наконец, задохнулась — спирт. Чистый спирт!

С каждым глотком вкус воды менялся.

— Это самая обычная уловка. Научу в два счёта. Сигарету возьми. Сама возьми, любую. С каким ароматом хочешь? Пусть для начала шоколад будет. Затягивайся, что чувствуешь? Нравится? А сейчас шерри... А вот — ваниль.





— Здорово! Я тоже так хочу. Макс, расскажи про себя. Кто ты? Понимаешь, мне трудно поверить, что такой мальчик может... Не знаю, как понятно выразиться...

— Я маг. Смотри внимательно.

Саша онемела. Кожа на лице Ермакова стала темнеть, глаза помутнели, под ними образовались мешки, «лапки» морщин, щёки впали и обвисли, волосы поредели и потеряли блеск. Скулы покрыла седая поросль. И всё это, как говорится, в одном кадре.

Перед Истоминой сидел древний старик.

Скрипучим голосом:

— Мне далеко за сотню... Что поделаешь? Молодым жить удобнее...

Она была в шоке.

— Про мимирию слышала? У нас это называется «маскировка». Этакий камуфляж, чтоб лишних вопросов не задавали.

И она ничего не спросила... Побоялась...

Видение улетучилось. Макс у опять было не больше двадцати.

— Скоро начнётся, давай приготовимся.

Он выложил из рюкзака старинный стилет, свечи и надел на шею амулет не амулет — подвеску на кожаном шнурке. Александра вгляделась — волчий клык. Спутать невозможно. В юности у неё был такой же — точь-в-точь! Один вертолётчик подарил. Они в горах волков били, санитарный отстрел — расплодилось хищники сверх нормы, отары стали резать нещадно. Неважно, не про это сейчас... Короче, привёз он Алексашке подарок — диво-дивное — клык!

В голове мелькнуло: «Мой?!» И тут же спряталось: «Чушь! Не может быть!».

Резким броском Макс воткнул в пол узкий клинок атам — символ мужской силы. Сашу озадачила богато украшенная рукоять. Дорогая вещица! А он, не обращая ни на что внимания, привычными движениями расставил и запалил свечи в строгом порядке. Свет не выключил.

— Залезай на стул с ногами и садись, как я.

Макс ловко поджал одну ногу под себя, другую, согнув в колене, притянул к груди и обнял себя двумя руками, подбородок пристроил на плечо. Крайне неудобно, закрученная загогулина какая-то. Саша не спорила, покорно скопировала позу.

Началось «бдение». Чего ждали, Александра не знала, но когда *пришло* — сразу учуяла...

Воздух налился предгрозовой тяжестью и вроде наэлектризовался. Предметы вытянулись, цвета проявились, сделались контрастнее. Вдруг из угла в угол прошуршали тёмно-зелёные сущности, типа перекасти-поле. То ли бормотали, то ли похрюкивали...

Сандра напряглась, крепче поджала ноги...

Присмирело ненадолго. А минут через двадцать посреди комнаты образовался небольшой голубоватый вихрь. То там, то здесь стали появляться и исчезать струящиеся силуэты. Девушку накрыл дикий страх... Под ложечкой засосало, мурашки по коже, тошнота к горлу...

И тут по Сашиному бедру резко черкнуло невидимое, жёсткое *нечто*. Очень злое! Она вскрикнула и сжалась. Заколошматило бедную лихорадкой. Губы посинели, задрожали, челюсти свело, дышит через силу, со свистом, будто кто грудную клетку в гармошку сжал и давит.

Фух-х!

И всё стихло... отпустило...

Макс как сидел, так и сидел, не шелохнувшись, каменным изваянием...

Бок у Саши горел нешуточно, пришлось заголиться, посмотреть. Нога багровая. Распухла, словно приложили огненный лёд или ледяное пламя...

— Испугалась? Да, дружок, ничего не поделать. Терпи и гордись. Сегодня твоего бедра коснулось крыло Смерти... А ты, моя дорогая, жива! Не каждому дано...

Глава 11

Под утро пошёл мелкий лёгкий снежок. Потом плотнее, ещё и ещё... Добавился ветер, упала температура. К обеду разгулялся настоящий зимний шторм. Транспорт



остановился. Люди, побросав работу, кинулись прятаться по домам. Так бывает в Приморье. Бывает.

Ждали Еву. Ермаков мерно раскачивался на стуле. Не переставая, причитал: «Иди сюда... Иди сюда... Иди сюда...».

И в дверь постучали. На пороге стояла Ева, чуть живая, похожая на снеговика. Шубу и шапку невозможно было разглядеть под коркой слипшегося снега. Лицо посечено ледяной крупой. Брови и ресницы в инее. Дошла-таки! Дошла...

Макс сразу взял замёрзшую барышню в оборот. Велел подать для неё горячего молока с мёдом. Забрав кружку, захлопнул перед носом Андрея дверь в спальню.

Когда Ева с Максом вышли из комнаты, он быстро прошёл в ванную. А она? В её глазах отчётливо читались гадливость, вина и неподдельный ужас. Тремор в руках, как с похмелья, веки мокрые, мордочка огнём горит. Душил что ли? Или, вообще, насиловал? Бред какой-то! Но то, что там произошло форменное непотребство, — однозначно.

Еве было плохо. Ай, как плохо! Растерянная, подавленная, взгляд — в одну точку. Впечатление такое, что человек потерял лицо и язык к тому же прикусил.

Макс, напротив, был собран, бодр и агрессивен.

— Значит так. Проверить шпингалеты. Шторы на окнах плотно задёрнуть. Спать вам придётся втроём. Еву уложите посередине. Александра и Андрей, вы целуетесь над Евой три раза. Уснуть не удастся... Будьте начеку. Главное, чтобы эта овца вспомнила. Ведь она так и не вспомнила. Не вспомнила же?! — Он грубо, с отвращением, дёрнул её за рукав, и та съёжилась в комок, как побитая собака. — Итак, к делу. Вот что надо вспомнить: ей кто-то нанёс ранение и забрал с собой кровь. Случай произошёл у всех на виду... Пару лет тому назад. Вы тоже *это* видели. Человек незаурядный, глаза цвета китайского нефрита, длинноволосый, ненавидит всю вашу братию истово. Одним махом отомстил всей консерватории... Думайте! Нам позарез надо его вычислить! Я оставлю вас одних и буду работать дистанционно. Всё! Держитесь! — На прощанье улыбнулся страшно, как людоед...

К полуночи метель превратилась в буран. На улице разыгралось дикое светопреставление. Ветер ревел раненым драконом, ледяными зубами грыз крыши, ледяными когтями скрежетал по стёклам, ледяным хвостом-вихрем бил о землю. Периодами замирал, прикидываясь дохлым, и вновь лупил в безумии... А дальше — хуже. Грянули оглушительные громы, будто начался обстрел из дальнобойной артиллерии. Молнии метались в непроглядной тьме как платиновые кобры! Представьте: снежище, ветрище, и через эту муть вселенскую хлёсткие неоновые вспышки, будто огненное пламя из пасти чудовища.

А с домом Истоминых, вообще, чудеса творились. Казалось, этот самый ледяной дракон-великан обхватил лапами строение и ну раскачивать, как клещами большой зуб. Вот-вот вырвет с корнем и зашвырнёт в тартарары!

Ребята прижались друг к другу, зажмурились и молились, кто как умел...

Александра зашептала: «...Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа...». И вдруг ясно представила забор вокруг кровати. Воображение выставило частокол из крестов, а сверху мысленно накрыла койку куполом-луковкой...

И всё-таки — крых! — что-то продавило форточку. Фрамуга хрястнула о стену и повисла, как сломанное крыло, не разбившись...

— Андрей, скорее! Подушкой пока заткну! Скорее, умоляю! Тащи молоток, тащи гвозди, забивай окно! Забивай насмерть!

Ева всё это время лежала, не шевелясь, не реагируя на пургу. Этакая покойница: руки на груди, застывший взгляд в потолок, рот на замке.

Часы-предатели играли на стороне непогоды! Наслаждались грозовой метелью, не шелухнувшись, стояли, как вкопанные.

Казалось, прошло сто лет...

Наконец, Ева очнулась, спокойно села и будто в забытии пропела: «Дэн».

И всё стихло. Мгновенно стихло! Будто лютый дракон поджал хвост и испарился...

Глава 12

Дэн — человек незаурядный. На самом деле звали парня Денис. Ну, куда там! Прimitивный «Денис» был истреблён. Дэн — на западный манер — казался ему гораздо значительнее и ярче. Будто басовую струну щипнули — дэн-н!

Высоченный, выразительные руки, тренированный гибкий торс — прямо выпускник хореографического училища. Волосы с рыжиной собраны на макушке в пышный лисий хвост — и обязательный тёмный бант из бархата.

Художник, поэт и режиссёр в одном лице. Красавец с харизмой. Глаза цвета болотной ряски. Хорошо образованный, умница. Чувство юмора и сексуальность делали его неотразимым.

Окружил себя Дэн «братьями по разуму». Каждого тестировал сам. Приблизил дюжину, остальных — «в сад». Поставим, говорит, спектакль-притчу, да такой, какого никто никогда не видывал. Так, чтобы зрители настоящий катарсис испытали. Для воплощения амбициозной задачи необходимо всем вместе над энергетикой серьёзно поработать.

Ежедневные репетиции начинались с таинственного тренинга, сам изобрёл. Действо нарекли: «Состояние». Сядут в круг, возьмутся за руки, настроят голоса на одну звуковую волну. Плавно, без рывков, раскачиваются в строгом ритме. Потом, не прекращая гудеть, встают, и начинается вольное кружение. Повторяют, повторяют, повторяют...

От монотона реальность слегка меняется. Происходит это то ли от пресыщения кислородом, то ли, наоборот, от застоя углекислоты. Наступает у адептов головокружение, как после бокала шампанского, приятная лёгкая эйфория.

Стихи читали всей компанией в унисон, как мантры. Что за строки спросите? О! Конечно же, Дэнова сочинения. В них и тайный смысл и тайная сила. И вроде он один на всём белом Свете знает Страшную Тайну. Отмечен Высшими Силами и Посвящён.

Получился этакий закрытый клуб для избранных. Назвали детище «Студия-эксперимент». Коллектив подобрался знатный: музыканты, актёры, журналисты. Яркие, открытые и, что свойственно молодости, наивные. Опять же: подвижная психика, фантазия и любопытство.

Ребята, как замороженные, бросали важные дела и мчались в подвал. Ах, как приятно было слиться в едином творческом порыве! Девушки поголовно влюбились в лидера, некоторые до болезненности. Парни, беспрекословно подчинились, признавая превосходство Дэна.

А вот со стороны это выглядело отвратительно: удав Каа и стая бандерлогов.

Глава 13

Так вот: всё стихло. Мгновенно стихло!

Истоминых осенило: да-да-да. Ну, конечно же, это Дэн! Больше некому! Всё сходится.

Сразу посыпались из памяти яркие картинки одна за другой: новогодний вечер, музыкальная братия в кафе, все поют. Дэн аккомпанирует на гитаре, соло исполняет Ева. У неё настоящее редкое контральто. Она делает шикарную опевку, выходит на коду, финальная тоника и...

В этот момент Ева шутиливо кланяется, а Дэн вздёргивает гриф! Па-пам! Гитара врезается в лоб. Колки рассекают девушке бровь. Ах! Кровь хлынула потоком.

Ребята всполошились, откуда-то всплыл мужской носовой платок. Точно мужской — крупная голубая клетка. Ева приложила тряпицу ко лбу и понеслась в уборную. Умылась, вернулась, улыбаясь: ничего, мол, не волнуйтесь, ерунда. Только лёгкая ссадина и небольшая припухлость, ранка не кровила.

А платочек-летуночек — исчез...

Как же так? По какой причине красивый и талантливый парень возненавидел огромное количество людей? И так возненавидел, что убить готов? Ответ был на виду. Донельза примитивный ответ.

Начала сокурники прихватили Дениса на воровстве, побузили, конечно, и на первый раз простили. Дали испытательный срок. А потом Дэн отличился ещё. Соблазнил самую нежную девушку. Забеременела... Поженились вроде как.





В один из вечеров ребята застучали Дэна за зверством. Бил жену так, что роды начались раньше срока... Дитё промучилось неделю и не выжило...

Мальчишки сами хоронили ребёнка. Гробик с локоток. Вот тогда и отколошматили гада от всей души. Сева, на правах старосты, первый зарядил мерзавцу.

Потом собрание устроили и проголосовали: исключить сволочь из консы. Исключили. Перевели липового мачо в ранг изгоев. Те, кто «в теме» был, с ним больше не здоровались, руки не подавали, шарахались, как от прожжённого...

Дэну было за что мстить. Всех тогда возненавидел. Всех!

Глава 14

Через час явился Ермаков. Знаю, говорит, нашли упыря, молодцы! Дэн-Денис не так прост оказался. Всю свою дрессированную свору заставил *нечистого* на помощь призвать, ну и... злобу свою давнюю удовлетворил...

Макс про фотографии ничего не объяснил. Достал из рюкзака целлофановый пакет и вывалил Истоминым под ноги какие-то обрывки. Андрей наклонился рассмотреть поближе: то ли бумага, то ли ткань какая-то, нечто мерзкое, вонючее, в глиняной жиже... Нет, не разобрать...

Бедной Еве Ермаков вообще ничего не сказал, будто её и нет вовсе. В общем, осталась девушка как оплёванная...

Закончилось тем, что Макс буднично объявил:

— Расследование прошло успешно, теперь осталось арестовать «товарища» и наказать. Это уже без вас. Всем спасибо, все свободны!

А потом по городу прокатился слух, будто Денис-Дэн ушёл в монастырь. Не все поверили...

Ермаков отреагировал сухо:

— Монастырь-тыр-тыр. Он и *постриг* примет, как миленький.

Глава 15

...Александра с Максом лезли на крышу. Пожарная лестница больше походила на штормтрап: шаткая, ржавая, с покорёженными ступенями. Ермаков ни разу не подал руки, не посадил, не предупредил типа: «Пригнись, балка!».

И Сашка позорно выпачкалась, набила пару шишек, бесконечно спотыкаясь в чердачной захламлённой темноте, матюгалась. А как выбралась на гулкую, крытую кровельным железом поверхность, остановилась в изумлении...

Свободное пространство! Только кое-где слуховые окна, хрупкие антенны, похожие на сажены, и две разрушенные печные трубы. Крыша!

Золотой Рог вальяжно развалился во всей ночной красе, расцвеченный яркими лампами и прожекторами. Эта разносортница кораблей у пирсов, как ёлочная гирлянда, подмигивала иллюминаторами, рубками, сигнальными огнями, многократно отражаясь в водах залива, будто в тёмных зеркалах...

Макс заговорил медленно, обсасывая каждое слово:

— Я заманил тебя в это место намеренно. Пришло время поговорить откровенно. Понять и принять то, что скажу, будет непросто. Придётся постараться, всерьёз упереться. Я — человек Знания. Маг. Трижды спрашивал Мир. И трижды получал знак: ты — мой ученик!

— Я уже и сама это поняла. Анвар предупреждал, что явишься скоро. Только мне этого совсем не хочется, честное слово...

— Не кривись, сам не в восторге. Глухая перспектива: обучать магии балованную эгоистку, да ещё эстрадную певичку. Ужасно не хотел бабу, за *то* и наказали. Вы все тупые, но сильные, а значит, опасные. Это как овце дать волчьи клыки.

— Ты не жалуешь женщин?

— Спариваться — да. А так — не-ет!

Ему явно понравилась собственная шутка. Сандра, чуть смутившись:

— А как же «крювь, любовь, морковь... носки»?



— Только целесообразность. Итак, изменить ничего нельзя! Не-воз-мож-но. Единственное, что себе вымутил, — это имя. Теперь ты — Алекс. Идиотская «Сандра» с этого момента испарилась. Смирись!

Скажи, ведь ты догадываешься, почему такой талант застрял во Владивостоке? — он подался вперёд, пристально посмотрел в глаза. — Знаешь! Молодец твой Анвар. Тогда ни к чему вилать вокруг да около. Подтверждаю, ты в тюрьме, ты — пленник города. Жизнь здесь как летаргической сон.

Тебе здесь плохо и мне здесь плохо, хотя причины разные. Я тоже не могу покинуть границы этого проклятого края... Поодиночке нам не вырваться. Единственный шанс — объединиться. Только плечом к плечу можно попробовать прорвать эту блокаду. Я воспитаю из тебя мощного мага-воина. Как и когда это случится — сказать не берусь. Всё будет зависеть от твоего упорства.

Предупреждаю, будет тяжело, так тяжело, что порой просто невыносимо!

Хочешь свободы? Сразу не отвечай, подумай хорошенько. Чем большего желаешь достичь, тем от большего придётся отказаться...

Секунда... и Сашка зарыдала, как девочка:

— Макс, если б ты знал, как я здесь мёрзну! Всё время мёрзну. Самое любимое время года — отопительный сезон. Мне, кажется, что холод не просто извне, он изнутри... Иной раз так дрожу, будто кишки в инее... Да! Ты сто раз прав. Я узник места! Вытащи меня отсюда. Что угодно сделаю, только учи.

Он прищурился, хмыкнул и вытащил из рюкзака увесистую, довольно потрепанную книгу в чёрной графитовой обложке. Карлос Кастанеда «Учение дона Хуана». Читай, сказал, и думай! Прежде чем начнём всерьёз, проштудируй от корки до корки.

— И вот тебе мой первый подарок, — грубо схватил её руку и вложил коготь дикого зверя.

Хорошенькое дело! На ухоженной ладони лежало нечто, напоминающее кривой арабский кинжал джамбия, или европейский охотничий нож-скинер — только в уменьшенном виде. Штука цвета пережжённого кофе, у основания — клочок грубой чёрной шерсти.

— Медвежий. Смотри: зажимаешь в кулак, выпускаешь «брелок» между средним и безымянным пальцами, получается оружие. При хорошей сноровке эффективнее клинка бьёт. К тому же предмет Силы. Постарайся с ним подружиться... Владей!

Глава 16

Александра с жаром набросилась на книжку, но с каждой главой мрачнела. Всё больше и больше вопросов возникало и к автору и, конечно, к Ермакову...

«Какой смысл знать то, что бесполезно?» — говорил дон Хуан своему Карлитосу. «Ах, как верно!» — думалось свежее испечённой ученице.

Листая дальше, запнулась на: «Человек Знания — это тот, кто добросовестно и с верой переносит лишения и тяготы обучения. Тот, кто без спешки, но и без промедления отправился в полный опасностей путь, чтобы разгадать, насколько ему удастся, тайны знания и силы».

Возник простой вопрос: чем эта фраза особенна? Разве любое другое знание или умение не требует того же самого от всякого ученика? Тоже мне открытие! Это только для малограмотных и ленивых удивительно, а тот, кто способен освоить хоть что-то стоящее: игру на скрипке, управление самолётом или ремонт часового механизма, — должен прилагать усилие.

А вот эти «враги» смешные: страх, к примеру. Любое новое дело пугает. Побеждает любопытство. Ясность действительно ослепляет, но до первой серьёзной ошибки. Сила? Алекс и тут согласилась только наполовину: жестокость и безнаказанность опьяняют, верно, но и желание защищать слабого тоже приходит с ощущением превосходства. А старость, четвертая из вражьей стаи, и есть старость... Безразличие и усталость — нормальные явления, всё имеет свой конец.

Чистая психология плюс житейская мудрость. Где тут мистика?

Саша никак не могла вычленивть обещанную магическую составляющую.



Антураж. О, да! Галлюциногены всякие: семена-коробочки, корни-стебли, жуки-червяки — хрень несусветная! Все эти союзники-защитники: жуём и курим. И снова курим и жуём. Песни, легенды, рецепты — брр!

Неужели Макс заставит проделывать подобное? И где возьмёт всю эту гадость? Мысли путались. Может, он наркоман? Да не похоже... И как ей теперь Ермакова-то называть? Брухо, бенефактор или вообще диаблеро? Кхм... Рехнуться что ли от греха подальше? И расхоталась.

Откинула томик. Вот запопала! За что ей такое наказание?!

Книги бывают разные, как еда. Одни — нарядные пирожные. Много не прочитаешь, приторные. Есть книжки — хлеб, без которых не прожить. Хотя выжить можно на других. Книжки-овощи. Только захлопнул и ещё хочется, точно такую же. Без насыщения читиво: «гриб и огурец — в пузе не жилец».

А ещё есть как мясо. Эти с двух глав сытость дают, не скоро возьмёшься дочитывать. Перевариваешь, перевариваешь... Бывают, натурально, сухари, которые читать берут в страшную нужду. Когда совсем некуда глаза пристроить, «духовная голодуха», так сказать.

А, к примеру, хорошая поэзия — это живительная влага. Орошает душу, лечит и проявляет суть. А есть книжечки — отравы, от них заворот кишок приключается. Этот Кастанеда — яд!

Вот такое первое впечатление сложилось у Александры. С этим и пришла к Максусу.

Он, похоже, был готов к непростому разговору. Взгляд с поволокой, движения чуть замедлены, голос в низком регистре, с придыханием, тон доверительный, почти интимный:

— Милая моя глупышка, как же я тебя понимаю! Никто никогда не способен понять тебя лучше, чем я.

Он впервые прикоснулся к ней. Алекс замерла от неожиданной чувственной волны. Обнял бережно, по-отечески, точь-в-точь, как дон Хуан своего Карлитоса. «Войди ко мне в грудь», как бы говорили его глаза. И Сашу накрыло оглушительное чувство маленькой напуганной девочки в тревоге, растерянности и обречённости.

— Ну, полно, чего так дрожишь, родненький? Не бойся, ничего плохого с тобой не произойдёт. Все сомнения, все страхи твои во мне, как собственные.

И брезгливость, и недоверие, поверь, совершенно нормальные человеческие чувства. Поначалу у всех так. До той поры, пока ты просто человек. Никто по-своему желанию не стал бы заниматься магией. А те, кому охота влезть в эту шкуру, категорически не подходят. Магом стать *заставляют*. Болезненный процесс.

Тем паче, что Знание — песчинки, разбросанные по белу свету. Их такое несметное множество, как песка в пустыне Сахара. Добывать, собирать ужасно трудно. Нужны силы, время, усердие. А ещё Знание — как хрупкая, вёрткая бабочка. Мало поймать — уберечь надо.

Поверить в себя — тоже непростая задача. Меня никто не жалел, и я права не имею. Ну, успокойся... Хотя... поплачь, поплачь...

И вдруг Александре сделалось так хорошо, так спокойно, так уютно рядом с этим чуждым странным человеком. И будто знает она его тысячу лет, и будто ближе никого не встречала... И не было в этот миг человека на Земле счастливее Истоминой. Он нежно гладил по голове...

Дурманящий, пьянящий голос шептал непонятное... Тёплые слёзы сами собой катились её по щекам...

— Всё подвергай сомнению. Никому не доверяй! Мне — можно. — И залился очаровательным искренним смехом.

...Наваждение улетучилось, как не бывало... Макс резко переменился: сделался, как обычно, сухим и колким.

— В полночь мы станем кровниками.

— Что значит кровники?

— Узнаешь!

...Саша с трепетом ждала, когда домашние уgomонятся. Поправила одеяльце дочке. Ещё раз заглянула в спальню: крепко ли спит Андрей? И выскользнула в глубокую тяжёлую ночь...



Она не шла — бежала в условленное место. На неё напали азарт и отчаянная решимость. Будь что будет!

Ермаков вынул из рюкзака нож. Ножны из грубой телячьей кожи испещрены загадочными рисунками. Рукоять, выточенная кустарным способом, похоже, из рога или бивня — Алекс не особо в этом разбиралась. Только подумалось: хоть лезвие и не длинное, но до сердца вполне достанет.

— Познакомься, это мой ритуальный нож. Подрастёшь, и у тебя будет такой же, свой.

Зажёг свечу. Прокалил на пламени голубоватое лезвие. Объяснил спокойно: «Берёшь крепко в правую руку. Вот так. Резать будешь, как я, по ладони, ближе к запястью. Не глубоко, не широко — цирк! — чтоб только кровь выступила. Заживёт скоро, не бойсь!».

Ну и полоснул себе первый. Не поморщился. Протянул клинок Алекс. И она, как в тумане, тоже полоснула. Голова закружилась, и мир поплыл в дальнюю даль... Ермаков без церемоний взял её левую кисть, посмотрел, хорошо ли кровит, и рану к ране приложил...

Вот теперь они друг за друга в ответе. Братья навек.

Глава 17

Бесконечные разговоры об учении дона Хуана, о бескрайней пустыне Сонора, об ошибках и успехах ученика, увлекали Александру сильнее аплодисментов. Притом каждая встреча с Ермаковым была непредсказуема: то пещера на сопке, то костёр из спиленной вишни, то берег моря, то вдруг он заявлял себя лекарем, проводил диагностику и лечение какой-нибудь дуры, то увозил в ветхий пригородный музейчик.

Ах, как ей это нравилось, как льстило. Саша практически забросила дом и работу — скучно...

Макс поражал своей начитанностью:

— Когда я размышляю о своих возможностях, то поражаюсь своей умеренности. Между прочим, Моэм сказал. А он ещё тот сноб и баловень был. Я тоже сибарит, когда хочу, а не хочу — аскет.

Энциклопедические знания вкупе с дьявольской памятью: цифры, даты, имена, события, составы, стихи, цитаты... Фантастика!

Долго обсасывали четыре составляющих безупречности воина: ласковость, хитрость, терпеливость и безжалостность. Хуже всего у Сашки с хитростью обстояло. Врала неубедительно, интриговать не получалось. Это, как игра в шахматы, нужно уметь просчитывать действия противника, а она — вся как на ладони. Ругал.

Прилежная ученица, услышав любую фразу, даже брошенную вскользь, всё перепроверяла. К примеру, у Макса выходило, что чем больше Силы, тем больше Свободы. Саша не соглашалась: чем больше Силы, тем больше ответственности. Спорили.

Учил не смотреть на вещи в упор, а развивать боковое зрение.

Она тоже завела себе рюкзак и мечтала о стилете. Отличная вещь — легко прячется в джинсовый шов вдоль бедра. Ещё хорошо в куртку, за воротник, чтоб вдоль позвоночника. Хоп! И он уже в руках. Только не задавай себе вопрос: зачем певице оружие?

— Маскировка. Представь себя туманом подробно, тщательно, и через несколько минут обнаружишь: тела твоего действительно не существует. Только неясная тень. В таком состоянии никто и никогда не нанесёт тебе вреда. Даже я. Атаковать туман — невозможно! Кстати, пьяный — тоже размазанная мишень.

Песок всё время повторял: «Я не сержусь, поступки не важны».

Часто бродили в сумерках, Макс всё приговаривал: «Чувствуешь, это трещина между мирами? В какой-то момент перестаёшь понимать — кто ты и где. Вот сейчас. Замри! Сумерки — это чудо, если научишься пользоваться их силой».

— Андрюха твой — не конь. Он — осёл, тупое жвачное животное. Я давно б его загрыз, но кто будет тащить воз? Пусть живёт. Буду время от времени кусать его за ляжки, чтоб двигался быстрее и не забывал, кто в доме Хозяин.

— Ты тоже ему не нравишься.

— Кто его спрашивает? Его дело — терпеть!

Разговоры об Андрее его раздражали. Хоть он и смеялся всегда, но как-то натужно.

Глава 18

Бывают такие муторные дни — даже двигаться неохота. Вот так закопался бы в одеяло, затаился, как крот, и спал бы долго-долго, пока туманы-растуманы не рассеются. А проснулся б — уже тепло, солнечно. И ты бодрый, весёлый и всё могущий. Ох, уж эта ранняя весна!.. Хватай себя за шкирку, тормози, гони пинками.

Тот день был как раз такой. Макс «вызвал», и Алекс, немного покружив, вышла к спортивному залу «Олимпиец». Ждал.

— Морось не любишь? Всё в твоих руках: «разгон облаков, установление хорошей погоды». Проще пареной репы.

— В смысле?

— Сосредоточься и призови ветер. Пусть раздует хмарь.

Алекс закрыла глаза, стала пыжиться... И ничего! Ермаков рассмеялся: мол, к чему столько усилий? Ты легонько, как бы промежду прочим, посылай желание в Мир. Насиловать — бесполезно, активный натиск получает активное сопротивление. Ласковость, ласковость — не забывай.

— Пойдём-ка, потренируемся, голуба моя, — подтолкнул в спину и они вошли в спорткомплекс.

В зале было пусто и гулко.

— Чтобы Силу удержать, надо иметь неуязвимое выносливое тело. Будем твою требуху закалять. Давай быстро: упор лёжа, и на кулаки. Отожмись-ка для смеху.

Алекс покорно приняла исходное положение и попыталась согнуть руки в локтях. Нос и подбородок встретили пол с характерным стуком.

— Чемпиён!

Он ловко закинул стопы на подоконник, вытянулся в струнку и легко отжался раз двадцать, не сбив дыхания...

— Вот так! Даю неделю. Что хочешь, делай, но упражнение повтори. Получи подсказку от щедрот моих: тело не имеет веса. Оно — школьная линейка. Представь в деталях. И всё!

Оставшись одна, Саша решила попробовать. Рейка-линейка, говорите? Ну, ну... Рюхнулась пару раз, призадумалась... Чётко, во всех подробностях вспомнила, какая у неё в детстве была линейка: удобная, деревянная, лёгкая, разметка затёртая, правый край чуть закруглённый, отец лобзиком укоротил и зашкурил. Встала на кулачки — и... раз, два, три... Главное — локти не в стороны, а вдоль тела держать. Ур-ра! Получилось!

Вышла на улицу: нет тумана, рассеялся. Пасмурно, но не мерзко...

Глава 19

В следующий раз Макс был в весёлом расположении, балагурил. Встань, говорит, по стойке смирно. Она и встала, аки статуя в лучах заката, ресницами — хлоп, хлоп! А он возьми да и ткни под ложечку. Очнулась Сашка на полу, а Макс довольный рядышком сидит, улыляется.

— Что ж ты, ворона, не защищаешься?

Да, если б она хоть на секунду почувствовала, что Ермаков ударит, может, и увернулась. Кобра и та стойку принимает перед укусом, а тут без намёка — ха! Сознание из неё — вон!

— А ты как хотела? Вокруг враги, расслабляться нельзя.

— Погоди, ты ж говорил, мол, гуру, брат и прочее...

— Чем ты слушаешь? Звучало так: никому не верь! Чего развалилась, встала, я сказал, и за дело. — Пнул чувствительно. — Учись делать больно своему врагу и получай от этого удовольствие.

— На садизм намекаешь?

— Заткнись. Слушай сюда. Шоковые травмирующие удары должны быть быстрые, резкие, неожиданные. Представь, что бьёшь на вылет, как пуля. Наносишь с вращением по болевым и открытым участкам тела. Выбранная дистанция — две трети победы. Минимум дергати. Если конечность не участвует в ударе, не хрен ею мотать. Совмещай защиту и атаку. Есть удары основные и отвлекающие, не забывай





о внезапности. Резче бей. Эффективность зависит от устойчивости. Равновесие — сила. Ха!

Пробил как копьём. Осела, восстановила дыхание, поднялась.

— Привыкай, подруга, к боли. Она — твой главный союзник. Благодарю боль, любви её.

— Мазохизм?

Пробил. Рухнула, продышалась, встала...

— На самом деле, бесполезно тебя учить бодаться на кулаках, сто лет ухлопал... У самки против самца реально — всего один грамотный удар. Что в тебе есть путного? — ощупал, как лошадь на торгах. — Пальцы! Лет с пяти по клавишам тарабанишь? Вот и хорошо.

Начнём с шеи. Куда не приложишь, всё будет удачно. Фалангой мизинца можно вырубить. Уши — ахиллесова пята. Вот так под ухо — ха!

Алекс безвольно мотнула головой. Открыла глаза, встала.

— Вот зона яремной ямки. Легонько — эть!

Забыла как дышать...

— Обязательно на мне показывать?

— А как ты запомнишь? Эть!

И опять память отшибло, как у них тут воздухом пользуются...

— Смотри, складываешь кисть лодочкой и...

Увернулась!

— Молодец! Начинаешь соображать. Большим пальцем в сонную артерию, или под ключицу, или в выемку за ухом, или в основание черепа. Главное — отработать так называемую «обратку». Поджимаешь крайние фаланги, накручиваешь, проби- ваешь отвлекающий и сразу основной — оп!

.....

— Все удары снизу вверх. Сперва выбери, какой орган атакуешь: печень, селе- зёнка, лёгкое, почка, сердце. Представь подробно и — на! Молодец! По ключице врежь, как молотом. Здесь, здесь и здесь — будто термометр стряхиваешь. Хлётко. Или вот левой рукой берёшь правую — с замаха, как топором. Завалишь любого. Проверять будем? А-ха-ха! Куда, куда побежала?! Иди сюда, родная, иди, моя девоч- ка, я не всё сказал.

Область подбородка. Там болевик. Висок. Выстави на указательном пальце фа- лангу. Исполняется коротко и расслаблено. И, наконец, мой самый любимый — запястьем в «клюв», без особых усилий можно отправить любого на тот свет, мелкие косточки в ум втыкаются.

А вот это — специальный десерт! Пах! — только для мужчин. Как же это опасно! Прелесть, сушая прелесть. Запомни, если вот так ввернёшь, разрывы внутренних органов. Враг сначала чувствует приятное тепло... и... хана злодею!

Удар как кувалдой. Удар как шашкой. Удар как бичом. Удар, удар, удар...

...Все тренировки превратились в один гигантский комок боли...

Глава 20

Ранняя, совсем ещё голая, весна накрапывала холодным дождём. Пришла озяб- шая Сашка с утренней репетиции и поставила греть борщ — время обедать.

Смотрит в окно: на соседнем дубе яркое зелёное пятнышко. Цвет неестествен- ный, флуоресцентный будто. Вгляделась — движется по ветке огонёк этот. Что такое?

Волнистый попугайчик! Видать, вылетел, дурачок, в форточку. Замёрзнет, ей- богу! Вокруг дуба начали собираться ребятишки, вышел сосед. Оценил обстановку. Выловить его надо, говорит. Сходил за верёвкой. Привязали паренька, из вертлявых. Пока тот лез, птичка испугалась и перепорхнула на самый верх старого тополя. Те- перь уж точно не достать. Погибнет.

Саша набросила куртку и вышла во двор. Ребятишки действовали изобретатель- но, вынесли семечек, насыпали их в клетку, гулюкали, насвистывали, всячески угова- ривали глупый «лимончик» спуститься пониже. Тщетно.

И тут Истомина протянула в сторону беглеца раскрытую ладошку и мысленно начала уговаривать попугайчика: мол, не бойся, братец, иди ко мне, не обижу. И так



легко ей было, так светло, что птичка — скок, скок, фыр-р! — и перелетела к Саше на руку.

Вертит головой, а сама с Истоминой чёрные глазки-бусины не сводит. Прищепила палец клювиком не больно, вроде как познакомились.

— Как зовут тебя, малыш?

И птичка отчётливо проскрипела: «Гоша хороший».

Мальчишки замерли...

Глава 21

Истоминой хотелось похвастаться дружбой с уникальным человеком. Это было естественно и даже благородно. Первыми счастливыми оказались Поповы.

Они только вернулись из Германии. Их переполняли впечатления: не терпелось поделиться счастьем. Они от порога вцепились в гостей и, перебивая друг друга, взахлёб загараторили о чудесах путешествия. Рассыпали по дивану кипу фотографий, включили кассету с видеofilmом. Ах, где гуляли! Ох, что видели! Ух, что ели! Эх, с кем познакомились!

Саша с Максом были те «свободные уши», куда хозяева кинулись складывать свою радость.

Настала очередь Ермакова удивить хозяев. Макс, похлопав Попова по плечу, заговорщицки изрёк:

— Ты, брат, служил в спецвойсках. Отморозил кое-что... Или удар? Не-ет, точно холод. С женой проблемы.

Попов покраснел, как рак. Сидит — дурак дураком, слова в глотке застряли... А Макс спокойно курит, небрежно стряхивает пепел, щурит левый глаз, наблюдает за реакцией. Помолчал пару минут — хлесть! — и выбил дамочку из колеи, чтоб не скучала. Дескать, всё сама, всё сама? Заметалась женщина, как ужаленная.

А он: вы, говорит, зря паритесь, могу помочь — плёвое дело. Увёл мужа в зал, бормотал неясно, пасы исполнял, велел в туалет прогуляться. Вот и всё. Страх отступит, и всё получится, отвечаю.

Гостей пригласили к столу, но как-то виновато. Щедро угощали заморскими колбасками и настоящим немецким пивом. Разговор не вязался. Вечер получился странноватый...

С утра к Алекс приехал растерянный Попов. Он долго мялся у порога, не решаясь объявить настоящую причину визита... Наконец, пробубнил: в их доме, мол, обнаружилась пропажа. Исчезла видеокамера. Не успел договорить...

Реакция Саши была молниеносной, как вспышка. Её перекорёжило от возмущения.

— По какому праву ты приехал к нам?! То есть, когда помощь моя нужна была: Лялю в гимназию устроить, денег занять, с гаишниками договориться, я — лепший друг! А тут, смотри ты, воровка оказывается! Стащила говёную камеру?!.. Может, ещё что пропало? Может, колбасок немецких недосчитались?!..

Прокричавшись, сплюнула брезгливо:

— Пошёл вон! Знать вас не желаю!

Алекс, полыхая от злости, ринулась к Ермакову.

— Представляешь?! Поповы... У них... Рехнулись... Бла-бла-бла...

А тот спокойно, не моргнув глазом: «Да, — говорит, — камера у меня. И что?».

Алекс так и села... в голове всё перемешалась, она даже не сразу поняла, что именно говорит Макс:

— Смотри сюда! Этим Поповым выпал фарт. Так? А за что, спрашивается? М-м-м... Может, за жлобство? Или за крысиную хитрость? Ах да, за изощрённое коварство, точно! Много ты знаешь наших людей, с шиком гуляющих по Европе? «Откуда деньги, Зин?» Мне наплевать на конкретных Поповых, здесь важен принцип.

Теперь вопрос к тебе, дремучая баба. Надо ли заплатить Миру за ништяки? Где компенсация? Ты веришь, что мы попали в этот дом случайно? Нет? Тогда отвечай, зачем? Молчишь? Объясню.

Я, Макс Ермаков, послан этим людишкам, как Рука Гармонии. Им отвесили радости без меры — дык надо ж делиться. Моя миссия — помочь счастливым. Они



обязаны заплатить Космосу, Мирозданию — назови, как хочешь, — небольшой потерей. Это справедливо. Иначе семью накажут больно. Спокон веку от прибыли десятину отдавали. И заметь: не роптали. В конце концов, у них и не машину угнали, и дом не сгорел, и ребёнок из окна не выпал. Пусть радуются!

И потом пойми, наконец, предметы и деньги — просто предметы и деньги. У них нет хозяина. Они свободны! Они принадлежат тому, кому хотят. Сегодня — одному, завтра — другому. Если их надолго запирают в шкафы, банки, сейфы, они умирают.

Заявляю с полной ответственностью: нет никакого «твое-мое». Это как море, как небо, как лес — обычная безликакая стихия. **Ничья!** Видеокамера вчера выбрала меня. Вот и всё!

— То есть ты хочешь сказать, что можешь брать, что хочешь? У кого хочешь? И это справедливо?

— Ты достала меня! — и Макс дал ей чувствительный подзатыльник. — Вынужден ругаться и, пожалуй, накажу. Ты всё время идёшь старым путём. Индугируешь. Мыслишь штампами и клише, как примитивный человек. Но ты уже давно не человек. Ты воин! А мы используем только эффективные средства. Наша цель слишком высока, чтоб тратиться на вонючую мораль.

Песок говорил вдохновенно, ярко, убедительно, и Саша послушно кивала, принимая ладно скроенную теорию воровства... Выходило и логично и вроде честно.

По дороге домой мысли у Алекс спотыкались и путались, вспомнился старый анекдот:

Жили-были Иван и Мойша. Как-то приходит Иван к Мойше, говорит:

— Мойша, дай рубль в долг. Я тебе потом два отдам.

— Не могу. Ты его пропьёшь и отдать не захочешь.

— А я топор оставлю в залог.

— Ладно, согласен, — дал Ивану рубль, забрал топор и говорит: — Слушай, тебе ведь трудно будет сразу два рубля вернуть? Может, один сразу отдашь, а второй потом?

Иван подумал: а и вправду, тяжело будет. И отдал.

Идёт домой, а сам думает: «Рубля нет. Топора нет. Рубль должен. И всё правильно!...»

И хотя Алекс искренне доверяла Макс, вся эта история попахивала...

Глава 22

Саша стирала. Широко, размашисто полоскала в ванне бельё и безрадостно думала: «Вот опять целую неделю — свободна! Ни одного концерта. Они нарочно выбрасывают мои номера из всех программ... Ничего поделать не могу. Хотя в переход иди... Музыканты бесятся — заработки упали. Саксофонист уволился. А без сакса какой джаз?! Что я за лидер — ребят прокормить не могу... Они правы: сдулась Сандра, Алекс, хоть как назови. Никчёмная, бездарная дура! Твоё дело: пелёнки мылить, кастрюлями греметь, а вечерами — уткнись в телек и молчи...»

Андрюха бросил петь. Совсем. Говорит, душа не поёт! У него-то?! Там и нутра, и музыкальности побольше моего будет. У него вся родня поющая. Свекровь, к примеру, вторым голосом так выводит — профи обзавидуются. Смеётся: мне ноты не нужны, просто я петь умею!

Андрей в последнее время раздражительный стал. Новая работа такая позорная, что и рассказывать не хочет. Устаёт... Если не падает замертво, то ходит серый мимо, как будто я — мебель...».

И чем больше она терзала себя этими мыслями, тем больше распалась, тем гаже ей становилось на душе. Комок подкатил к горлу, и сделалось ужасно жалко самой себя... Так жалко...

Вдруг чувствует, будто зовёт кто... Будто в ухо шепчет: «Иди сюда!».

Отшвырнула мокрую простыню и, не переодеваясь, выскочила на улицу, голоснула машину. На вопрос водителя: «Вам куда?» ответила: «Пока вперёд!».



ствовала зов и просила шофёра то ехать прямо, то свернуть. Сама не понимая, *куда* её несёт. Призыв становился всё громче и явственнее. Наконец, доехали до сквера: «Стоп! Приехали».

Вышла, вертит головой по сторонам, шарит глазами по аллеям и скамейкам. А и вот он — Макс. Сидит, курит:

— Долго, очень долго плетёшься! Но то, что нашла меня с первого раза, — молодец! Садись рядом. Расслабься и слушай. Научись слушать Мир — считай, школу закончила. Понимаешь, Мир — наш самый верный друг. Всё время дарит знаки-подсказки: предупреждает, направляет.

И Алекс накрыла необыкновенную радость: она не одна. У неё есть Учитель, друг, защитник. Горестные мысли рассеялись, и она ощутила свою значимость.

Ермаков проворно поднялся, прогулялся вдоль клумбы. Наклонился, поднял с земли осколок кирпича и головёшку. Дворники, похоже, жгли опавшие листья и ветки. Попробовал — отлично рисует на асфальте.

— Смотри: вот это — я!

Несколько уверенных штрихов палкой, и на тротуаре появился силуэт волка с оскаленной пастью. Надо же, хорошо рисует.

— Я — волк-одиночка. А вот это — ты.

Теперь Макс явно старался. Осколок кирпича оставлял на сером цементе яркие терракотовые линии. Алекс сперва показалось, что он рисует боевой лук. Нет! Чуть подправил. Ба! Дуга — дикая кошка в прыжке. Изящный полёт между двумя скалами.

— Ты — кугуар.

— Кугуар? Анвар говорил: пума.

— Не вижу противоречия. Это она и есть. Имён у тебя множество. В Мексике зовут американский лев, в США, наоборот, мексиканский. Как только не говорят! Горный лев, пантера, североамериканская рысь, олений или красный тигр, барс, эль тигре. Индейцы придумали длинно, в жизни не выговоришь. Ты, на их языке звучишь, как «кошка цвета сухой травы» или «крупная кошка цвета песчаника».

Есть у хищника и такое имя — кугуар. Лично мне по душе кугуар. Прислушайся: агрессивное благородство. Ты многолика.

Ареал широчайший, где тебя только не носит. Не поверишь — от юга Канады до Огненной Земли. Везде себя чувствуешь отлично: и в тропических лесах, и в сухих пустынях, и на болотах, и высоко в горах. Везде ты своя, везде ты дома... Мы с тобой уже встречались... в том обличии...

— Ну и какая я *там*?

Глупее вопроса она придумать не могла. Макс наваял ещё один рисунок:

— Глаза у тебя золотые, но лучше в них не смотреть... Мех густой, короткий и грубый. Оттенки шерсти меняются от освещения. Днём — песочно-коричневые, почти рыжие. Вот такие. А в сумерках — серые, почти как этот асфальт, только тон чуточку теплее. На груди, горле и брюхе у твоего зверя — белёсые подпалины.

Потёр ладонью цемент, и в нужных местах изображение посветлело.

— А больше всего мне нравятся тёмные полосы над верхней губой и задорные отметины на бровях. Будто всё время улыбаешься.

Прорисовал головёшкой чёрные линии, и львиная морда будто ожила.

— Уши-локаторы мечены тоже тёмным. И ещё... длинный хвост. Балансируешь им, как канатоходец веером. Ты — красивая самка и на редкость терпеливая.

Теперь он рисовал профиль с раскрытой пастью:

— Всё хорошо, моя дорогая, пока ты зевнуть не вздумаешь. Не люблю! Язык и вся пасть будто гранатовым вином залиты, а клыки... Вот этот, — он показал волчий амулет, — в два раза короче.

И он резкими движениями обозначил такие «зубки», что трудно поверить, как такие сабли помещаются на такой маленькой челюсти.

— Правда, и там ты горланишь. Никому покоя не даёшь... Нет такого существа, чтоб вопил страшнее кугуара. Кровь стынет от твоего демонического крика. В хоре хищников ты солистка. Знаатоки вокала считают, что у тебя и *там* лирическое сопрано.

Песок поднялся с корточек, отряхнул руки и брючину, потянулся, хрустнув суставами, развернулся и ушёл...



Глава 23

На очередной встрече, куда Ермаков вызвал Алекс, а вернее — сорвал с репетиции, разговор зашёл о сновидении.

— На этом этапе научу, как сном управлять.

— Слушай, я читала, конечно, что такое бывает, но, прости, не верю. Это ж область бессознательного...

— Добро. Поглядим.

В тот день она заснула быстро, легко. И вот что наснилось...

«Идём, идём со мной, — говорят его глаза. — Не бойся! Смелее, смелее...» Это Макс.

И тут возникает лихое завихрение. И Алекс уже не Алекс, а мерцающая голубая точка, попавшая в центрифугу...

Тело есть, но невесомое, будто нет вовсе, будто светящийся розовый призрак. Рядом возникает Ермаков. Улыбается, протягивает руку. Ладонь крепкая, горячая, пульсирует...

Несколько робких шагов и — ах!.. Будто отдернули занавес: перед ними другая реальность. Босыми ногами пощупала почву — приятно. Двинулись вперёд.

Поверхность бархатная, будто идут они не по земле, а по гигантскому персику. Всюду одуванчики цветут, да не простые, а пушистые шарики, цвета свежей лососяны. И каждый шаг сбивает хрупкие зонтики в полёт, образуя этакую туманность вокруг ног. Островки мха цвета верблюжьей шерсти. Попадают и мелкие камушки, будто желток накрошенный... Небо низкое, лиловое, облачка по нему — чистые лимончики в сахаре... Редкие кусты почти прозрачные, леденцовые, стоят себе, листьями позвякивают...

И весь этот нереальный мир залит тёплым розовато-золотым светом.

И музыка... Музыка... нежная, чуть уловимая, словно издалека... То ли ручей, то ли свирель...

Двигутся они молча. Слова — ни к чему. Они и так прекрасно понимают друг друга. Горизонт словно кораллом процарапан.

Вдруг тёплый «слепой» дождик. Она подставляет лицо радостным каплям. Дышится легко. Неожиданно Макс подпрыгивает на немыслимую высоту и зависает над землёй. Делает несколько кульбитов и мягко опускается. Давай, мол, и ты теперь. — Не умею, мол... — А он: брось! Это совсем просто — оттолкнись и лети! — Алекс пробует. Вышло коряво. Он не отстаёт: давай, мол, *отпусти* себя! Поверь, ты можешь!

И она верит! И подпрыгивает к облакам, словно под ногами не твердь, а батут акробатический. Началось веселье! И вместе и порознь взмывают в воздух. И сальто, и с переворотом, и прогнувшись, и пируэты, и кувырки. Такой ловкости и гибкости она в себе не знает! Лёгкость телесная-бестелесная смешит. Ермаков то страхует, то подталкивает вверх, то «подныривает», хват за ногу, тянет к земле, то коршуном налетает на белу лебедь.

Утром Алекс помчалась к Макс. Её распирало — скорее рассказать, какой диковинный сон ей привиделся.

Он сидел в парке, курил, выпуская кольцами дым. Алекс вздохнул: «Мне такое приснилось! Такое! Персиковый мир!». Он презрительно цвиркнул сквозь зубы, ухмыльнулся:

— Понравилось, говоришь?! Ну-ну... Ну-ну... Только вчера ты утверждала, что подобное невозможно.

Глава 24

Знаете, что такое июньская морось? Когда тепло и душно, как в предбаннике. Когда плотный туман опускается ближе и ближе к земле, не сливаясь в крупные капли. Это вам не весёлый дождь, нет, это грустный водянистый воздух сыплет на незрелую листву мелкую тоску.



Зонт — бесполезная штука в такую пору. Мокро везде: сверху, снизу, по сторонам. И такая муторная пора, что, кажется, нет больше солнца. Нигде нет. И главное, не будет никогда...

Вот как раз с утра и зарядил такой день. Бесцветное небо давило и давило своей безжизненностью. Лишало сил. Хотелось плакать, жалеть себя, жалеть весь этот серый мокрый свет, потому что на душе тоже скопилась вселенская влага, и тянуло поговорить сердечно.

Не тут-то было... Нагрязнул мокрый Ермаков. И мгновенно сбил лирическое настроение. Он явно торопился, с ходу сообщил, что на минуту:

— В субботу едем в Уссурийск, там часа три побудем и в Хабаровск дунем. В понедельник вернёмся.

— Можно спросить: зачем?

— Спросить-то можно. Только кто ж тебе ответит?

Он встал в позу и картинно продекламировал:

*На Уссурийских улицах весна,
Но заключённая в огранке парка,
Бессмертием к земле пригвождена
Бохайская загадка — черепаха.
То сон, иль явь, из тьмы: огонь горит,
Веков громады гложет языками.
Бохайский царь, как истукан сидит
И косит в мою сторону глазами.*

— Угадала? Ага, понятно. Образование музыкальное. С нотами лучше, чем с буквами. Черепахи — вот цель нашего путешествия! — хлопнул Алекс по плечу и ускакал по своим тёмным делам.

В электричке Макс начал рассказывать сочно, с огоньком про каменное изваяние черепахи. Ей, старушке, веков восемь-десять. Весит эта каменная рептилия тонн шесть, а то и больше. В стародавние времена она служила, по слухам, надгробием на могиле знатного жителя Бохайского царства. Царство-государство это как раз и размещалось на территории нынешнего Уссурийска.

Главное дело, черепах тех было вроде как две всего. И обеих нашли. А ещё версия, что три. Одна разрушилась доглы. Это типа как раз та самая троица, на которой стояли слоны и Землю держали. Ну, полная ересь! У него лично другая мысль: четыре их было. Четыре! По количеству сторон света.

Мифов целую кучу про эти изваяния напридумывали. Родились будто эти черепашата от страстной любви небесного дракона и земной черепашей царевны-красавицы. Нормальные такие детки получились.

Ещё, говорят, когда древние мастера вытачивали земноводных, то вставили в специальные отверстия сердца непорочных дев. Места эти запрятали, не отыскать. И тот, кто сумеет определить, где «трепещет», ладонью почувствует тепло замурованного горячего сердца. Тут желание пора загадывать, обязательно благоприятное. Исполняется со свистом.

— А я не так слышала. Говорят, будто если найти это сердце и поговорить искренне, попросить чистой душой, оно станет охранять настоящую любовь.

— Бред! Одни бабьи глупости на уме... Устаю я от тебя.

— Почему сразу глупости? Мои знакомые ездили, просили, сбывается... вроде... Сказали: там постоянно народ топчется...

Макс хмыкнул. Его другое волновало. С этой каменюкой столько тайн связано — дух захватывает! Это будет их первое совместное магическое дело. Мол, просканируем, что там, к чему? План составим на месте.

А как выдохся, вытащил видавшую виды брошюру и стал зачитывать:

«Монголы разрушили погребальные комплексы, расположенные около стана чжурчжэней и Фурдани. Они сбросили наверх и стелы, укрепленные на спинах черепах. Посбивали на них надписи, которые рассказывали о погребённых. Монголы ушли, и на несколько столетий «хозяйками» бывшего Двуградия остались две каменные черепахи».



— Представь, ими ещё Пржевальский любовался и Арсеньев! Эта фигня вырублена из цельного камня. Главное, раскопали учёные какие-то «хроники», пытались переводить, и что ты думаешь? Там всё перепутано, зашифровано. Слушай: *«Предварительный анализ выявил сложный характер этого текста, для него характерны нередко отрывочность, невразумительность, нарушение порядка слов в предложении; некоторая сумбурность повествования; искажение имен собственных, терминов, географических и этнических названий. Но самым главным недостатком летописи является присутствие в ней многих непереуведенных китайских текстов, «замаскированных» под имена собственные, термины, географические и этнические названия».*

С чего бы это, а? Что скрываем, господа хорошие? А трактат этот, на минуточку, история Золотой империи. Так, вот ещё статейка: *«Стояла осень 1867 г. По дороге, что соединяла военный пост Камень-Рыболов и село Никольское, почтовые лошади, не торопясь, тащили телегу с экспедиционным снаряжением, а за ней устало брели офицер и его спутники — остальные участники экспедиции».*

Блям, блям, блям... неважно... Где ж это было? А-а, вот: *«По дороге к дальнему укреплению, в полуверсте от нашего селения, на небольшом бугорке лежит высеченное из красноватого гранита грубое изображение черепахи, имеющее семь футов в длину, шесть в ширину и три в толщину. Рядом с нею валяется каменная плита, которая, как видно по углублению в спине черепахи, была вставлена сверху».*

Глава 25

Два часа кряду трещал Макс взахлёб, без умолку. Вот, наконец, они добрались до места. Морось не унималась...

Алекс поразило увиденное. Трудно назвать *это* — черепахой в обычном смысле этого слова. Мокрая каменная рептилия, будто в испарине, стояла одиноко посреди сквера грустная-прегрустная. Голова — явно отряда ластоногих: либо тюлень, либо сивуч. Лапы однозначно принадлежат хищнику, скорее тигру, хотя волчьи тоже подойдут.

Спину чудища, как панцирем, придавила плита-бабочка, ну или расплющенное седло. Вся верхняя часть изукрашена орнаментом из вытянутых шестигранников. Это всё, что угодно, только не панцирь!

В придачу аккуратно по центру вырезано отверстие. Да какое! Размер прямоугольника удивил не меньше: две стандартные книги в ширину, книжка в длину, книжка в глубину. Сама измерила Кастанедой.

Подумалось: сюда что-то вставляли на время, чтобы можно было вынуть и помянуть. Иначе зачем такая точность и косое рифление изнутри. А вот стелу, о которой писалось в статье, такое углубление вряд ли выдержит. Хотя...

Вся глыба, при этом, обработана до гладкой приятности. Не то чтобы отшлифована, нет, тщательно сглажена. Камень серый, с розоватым оттенком. Похоже, черепаха вырублена из цельного куска гранита.

Сердце Алекс колотилось. Почему она никогда не видела это чудо? Ведь это ж чудо! Столько в этом камне мощи, грубой красоты, тайной мудрости...

— Будем брать!

— В смысле?..

И тут Ермаков, не смущаясь, заявил, что есть у него, де, покупатель, потомок китайского императора. Миллиардер! Сильно ему эти земноводные понадобились. Врёт, что для коллекции. Чувствую, говорит, дело совсем в другом.

Задача у них с Алекс непостояна: надо скрытно, без шума и пыли, вывезти обеих громадин в Поднебесную. Хотя, если это действительно «портал», в чём он практически уверен, то гуру Макс готов прибрать «добро» себе, для личного пользования. Мол, не решил ещё.

У Саньки ум за разум завалился: «Мы приехали воровать каменную черепаху?!.. Такое кощунство и идиотство в страшном сне не приснится... И как он этим камушком пользоваться мечтает? В карман спрячет?!»

А сэнсэй, как ни в чём не бывало, продолжал:



— С подъёмным краном я договарюсь, а знакомый дальнобойщик с фурой давно наготове. Сгоняем в Хабаров, прощупаем почву и приступим.

Поехали в Хабаровск.

Тамошняя черепаха серьёзно отличалась от уссурийской. Эта перед той — старушка. Угрюмая, грубо отёсанная каменная глыба выглядела агрессивно. Голова, простите, напоминала мужское достоинство. Ноги слоновьи, из спины торчит «зуб».

Пока Алекс разглядывала булыган, Макс изучал округу: подъездные пути, сигнализацию, камеры наблюдения, охранников, освещение. Остался недоволен: много препятствий. С первой полегче будет.

Потом, перебивая друг друга, начали предполагать-выдумывать:

— Посуди, какое это надгробие? Тут явная маскировка. Портал временной, говорю тебе. А стела — заглушка, пробка, как в бутылке. Чтоб народ туда-сюда не шлялся.

— Или инструкция по применению «портала». Типа, как в эту «форточку» выходить, куда можно лазать, куда нельзя, как благополучно вернуться.

— А вдруг это вообще просто большая жжурчженьская копилка? «Пилите, Шура, они золотые». И дракон на рисунке наверху — грозный страж? И тот, кто стырил плиту, загнулся в страшных коликах!

— А если это «отрывной» блокнот? Может, на этой плиточке чего для памяти набивали или приказы государевы карябали? Типа: «Слушайте, слушайте, слушайте! И не говорите, что не слышали. Сегодня в полдень на главной площади произойдёт отделение головы мятежного князя Эськуя».

— Может, черепаха — транспорт? На манер ступы. Жаль, метла каменная затерялась.

— Это «кобыла». Оживает в полнолуние. Садись на спину к этой уродине, удила натягиваешь, и — но! — поехали!

— А навершие — это такая спинка для удобства, чтоб у седока сколиоз не развился. Подбирается по росту...

— Стела — сменный стикер.

— Салфетница!

— Почтовый ящик!

— Да нет! Это просто окаменевшая сосиска в тесте.

— Дракон пипиську потерял!

Во Владивосток возвращались плацкартой. Она вертелась с боку на бок, думки зудели. Песок свесился с верхней полки:

— Кончай так громко думать, спать мешаешь!

Безлунной ночью подогнали кран и ЗИЛ, древние, как сама черепаха.

ЗИЛок задком пристроили, чтоб легче камушек в кузов закинуть. Все трое: Ермаков, водила и Алекс — пытались найти на камне ложбинку, уступ, загогулину или ещё какое удобное место, чтобы подвести стропы под брюхо рептилии. Пробовали и на «качели» с двух сторон закрепить, и на «удавку» — петля в петлю. С горем пополам приладили и на гак подвесили.

— Вира помалу!

То-олько двинули «барышню», капроновые стропы натянулись до предела и как жажнуло! Стropы резко подкинуло вверх и в стороны фонтаном. Лопнули окаянные. Мощнейшая отдача хлестнула. Слава богу, никто рядом не стоял, убило б к чертям!

Сонные вороны с деревьев — фыр!.. Обделались, небось, со страху. Лебёдохный трос повис мертвяком. Вся машина угрожающе накренилась. Две опорных «лапы» крана поднялись... Ещё чуток и — амба! Вся стальная махина завалилась бы. Шофёр грязно выругался.

Древнее каменное изваяние ухнуло на место.

Черепаха не далась...

Глава 26

Единственное, о чём они спорили до хрипоты, — это музыка. Тут они были непримиримы.

— Смотри, ты исполняешь джаз, в основном, блюз. «Пусть соком вешним взойдут мои слё-озы». Депрессивная музыка. Сакс гундосит, пупок щекочет. Похоть. К чему? Мещанство всё это. А телодвижения твои?! Бэ!

Макс начал похабно извиваться.

— Костюм в дешёвых блёстках, фальшивые камушки. Самой не противно? Голосом рюлады выводишь никчёмные. Блюз — большое сердце, а вот мой рок — рваное. Оцени разницу. Темы, ритмы, надрыв!

— Рок? Они ж на трёх нотах топчутся, в частушках — и то четыре. Чего там петь? Там разговаривают.

— Боишься с людьми говорить?

— А ты слышал шестую симфонию Чайковского или сонаты Бетховена? Веками люди слушают!.. Ты можешь объяснить, как в живом человеке из мяса и костей возникает такая музыка?! Он же не ветер, не море... Как такую гармонию услышать? Она возникает внутри совершенно обычного существа... или необычного?.. Ну, не две же головы у него и не восемь рук. Сколько не гляди на портрет: человек как человек. А взял и записал на бумажке многоголосие мира!

— Ага, играют нафталиновые товарищи с кислыми минами, грязными волосами: зю-зю-зю. Ну, не знаю! Все эти скрипочки и вело-членисты — противно.

— Это оттого, что ты не приучен. Чтобы чувствовать, надо много слушать. Хотеть понять. Знаешь, америкосы пытаются молитвенную музыку переложить на рок, чтобы вроде как приблизить ко времени. Не срабатывает. Человек и так — мозаика из фрагментов. Мне, кажется, что музыка создана свыше, чтобы собирать дух, приводить к целостности. А рок? Да, возбуждает. Да, толкает на бунт. Но дух не строит. Есть мелодия, она собирает внутрь! А ритм и крик — расчлняет, разрывает. Это не музыка, это злобный вой, как плёткой по сердцу.

— О чём ты говоришь?! Действие, только действие, а не созерцание. И какому быдлу ты дух собрать хочешь? С твоим темпераментом — только рок! Можешь повести за собой кого угодно, куда угодно! А это, дорогуша, власть! Сила. Ты видела, чтоб джазисты стадионы собирали? Чтоб народу крышу рвало? А рок-концерты могут.

— А зачем? Куда вести-то? В пустоту?

— Как же мне надоело препираться. Впечатление, что ты просто хочешь меня злить! Всё. Я сказал.

Макс заставил Алекс радикально сменить имидж. Купил ей чёрные джинсы «в облипку», кожан до талии и высокие ботинки, похожие на армейские берцы.

Из зеркала на неё смотрел длинноногий парень с пронзительным стальным взглядом.

Ну, рок так рок! Почему бы не попробовать?

Глава 27

— Ты понимаешь термин: Место Силы? Таких — множество. Хочу про Пидан поговорить. Слышала о такой горе в Приморье?

Она закивала. И чуть было не проболталась... Вовремя прикусила язык про своё *неместо*.

Макс начал говорить вязко, проникновенно, с придыханием, будто преодолевая боль и стыд... Это скорее походило на стон. Губы путались: то застывали в детской полуулыбке, то напрягались жёсткой перевёрнутой скобкой. Щёки то бледнели, то вспыхивали. Вцепился в подлокотник, костяшки пальцев побелели... Застонал жалобно...

— М-н-н... В ту ночь была нелётная погода. Забился в своей пещере... Она у меня особенная: нормальный человек не проберётся... невозможно... Отвесный обрыв справа, ко входу ведёт узкая расселина... Сам вход... м-м-н... не важно... Короче, завернулся в крыло, как в кокон... с головой... Знаешь, с вечера Знаки были... Я сразу понял: вот-вот случится... тошно было... так тошно...





То, что Алекс услышала дальше, просто ошеломило. Поверить в это — нереально. И не верить — сложно... Он же, не обращая внимания на её реакцию, продолжал:

— Дело было в конце шестидесятых. Одного охотника принесли раненного из тайги. Лицо и руки у мужика — сплошные рваные раны. Один глаз вообще вытек. И в тайгу он с того дня больше не ходил. Он из дому-то не выходил. Про тот случай даже в «Комсомолке» писали, можешь проверить.

Короче, охотился этот смельчак у горы Пидан. Ходил долго, устал, как собака. В сумерках решил поискать место для ночлега. Ну и искал придурок. Проходил мимо скалы, увидел мою пещеру. Как он её в потёмках разглядел, не знаю... Входа-то нет, щель, а не вход. Нет, полез! Главное, мужик-то здоровый, и как его угораздило протиснуться?

Понимаешь, дальше пещера расширяется, ну, типа зала... Вот и лёг бы сразу, и спал бы себе. Так нет...

Этот неугомонный собрал сушняк и развел костёр. Какую-то дохлятину жарить собрался... Я, конечно, притаился. Мне, сама понимаешь, реклама ни к чему.

Пока он шарился, дай, думаю, выскользну потихоньку, а он возьми да и споткнись. В падении боковым зрением усёк моё шевеление.

А дальше охотник инстинктивно бросился к ружью. Стоим напротив друг друга, а он мне два ствола в грудь тычет. Нормально? Ничего не оставалось, как напугать его до смерти. Ну, я и закричал пронзительно. Он выронил ружьё, и тут я навалил ему от души.

Обделался герой с ног до головы... А не хрен лезть, куда не просят! Согласна? Потом рассказывал корреспонденту, будто я налетел на него с бухты-баракты. Кстати, крылья описал довольно точно. Они действительно в размахе под два метра, как продолжение рук. И то, что лицо без волос, разглядел-таки! А еще мне понравилось, как он сказал:

«Я не уверен, что эта тварь хотела напасть на меня, возможно, её ослепил костёр, и она старалась выбраться из пещеры. Просто я стал преградой для "летающего человека". Монстр стал рвать меня когтями. Я упал, и существо вылетело. Всю ночь, несмотря на страдания, я просидел спиной к костру. Ночью слышал вопли и хлопанье крыльев у входа — выстрелил в расщелину. Днём, теряя сознание, пополз домой. Меня нашли на тропе охотники...»

Нет, ну, согласись, приличный человек не стал выдумывать всякую белиберду... Это единственный раз, когда я так лоханулся. Обычно, как вижу, что кто-то пытается завернуть не туда, — предпринимаю звуковую атаку.

Я часто использую этот приём: самый эффективный и не затратный. Начинаю с монотонного завывания, перехожу в «женские» вопли и заканчиваю жалобным подвыванием.

А знаешь, такие крики, особенно если их издаёт непонятное существо, наводят такой ужас, что у людей волосы на загривке шевелятся... Ай! Кто это? Ай, что это кричит с самой высокой вершины перевала? Оё-ёй! Звук приближается! Прикинь, даже собаки, родившиеся в тайге, те, что не боятся никакого зверя, прячутся за человека и дрожат всем телом, как шавки помойные.

Сашка сидела с ошалевшим видом и чувствовала себя полной дурой.

Глава 28

Макс листал местную газету.

— Истомина, ну-ка, послушай вот это: *«Потомственная колдунья. Все виды магических услуг. Чёрная и белая магия. Обучение. Снятие негатива. Привлечение денег. Привороты и отвороты, развал и воссоединение семьи. Профилактика алкоголизма и наркомании. Продажа квартир, машин. Разрыв некротической связи с мёртвыми детьми. Экзорцизм. Наведение порчи»*. Прикинь, какой размах! Расплодились суки, оборзели вконец! И ты мне говоришь о какой-то морали?! Глянь на ценник. Раньше я этих тварей месяцами вычислял, караулил, а теперь им вольную дали. Ничего не бояться. Собирайся, пойдём, проведем ведьму. Надо ей по башке дать.

Салон располагался в подвале жилого дома. Само строение было обшарпано, местами сквозные трещины по фасаду. Измученное здание. А вот салон, как парчо-



вая заплатка на лохмотьях, смотрелся нарочито дорого и нелепо. «Чёрная и белая магия» — кричала вывеска.

— Вот тебе и первый экзамен: заходишь и разбираешься.

— Как это?

— Сделай им страшно! Так страшно, чтоб усрались.

Алекс замялась: как-то не по себе... Не страх, не стыд, скорее омерзение.

— Не хочу!..

— Б..ь! Они портят людям жизнь. Тебе повезло с Анваром, а другие сгинули ни за что ни про что. Заходи, или сделаю так больно, что не обрадуешься.

— Нет. Они сами сделали выбор и сами вынесли себе Приговор. Гармония, боженька, космос — назови, как хочешь, — не терпит разрушения.

— Твою мать! Рука Провидения — наша работа. Мы — воины, а не богадельня. Как ты мне осточертела!

И врезал под рёбра с такой яростью, будто это Истомина народ калечит. Завёлся всерьёз. Пнул дверь, ввалился в помещение. Сашка, восстановив дыхание, за ним.

На банкетках вдоль стены сидели бабёнки разных мастей: климактерические и недозревшие, высохшие и толстухи, расфуфыренные и облезлые — очередь.

Макс мгновенно оценил обстановку и ринулся в кабинет. Грохнулся на стул перед ведуньей. Та в тёмном балахоне расплылась по креслу. Одутловатое лицо, глаза навывкате, как при базедовой болезни, смотрят в одну точку. Покуривала, похоже, гражданка травку и никак не ожидала такой наглости.

— Я же русским языком сказала: пе-ре-рыв. Какого...

Договорить не дал, резко выбросил левую руку вперёд. Ладонь копьём у горла. Та рефлекторно: хрюк!..

— Сачка за испуг! Ща устрою тебе, гнида, перерыв. Вечный!

И как даст ей по лбу щелбан с оттяжечкой — аж зазвенело!

— Колдуем, значит, помалу?! Какие штуковины завела — просто загля-день!

Хватает хрустальный шар и об стену. Свечку горящую перевернул, на стол воск вылился. Чётки, таро, фотки — всё полетело на пол. Ошарашенная ведьма выдавила:

— Вы к-кто?!

— Ты знаешь.

Женщина затравлено:

— Чего хочешь?

— Не, ну ты форменная дура! Сама как думаешь?

Тут мерзавка улыбнулась хитро, зачем, мол, стулья-то ломать, и выложила на стол всю наколдованную выручку.

Стрём.

Отвалили...

— И это исполнение наказания? Ты — не воин, ты — рэкет.

— Я — волк, санитар леса. А-ха-ха!

Глава 29

Телеграмма, которую она получила в тот день, не просто вышибла из колеи, а накрыла Истому с головой. «Срочно вылетай, отец очень плох, инфаркт». Решение созрело мгновенно.

Через сутки она уже входила в поселковый медпункт. Длинный коридор. Вдоль обшарпанных стен гуляет петух рыжей масти с медно-зелёным хвостом, искоса следит за грязно-серыми квочками. Пол земляной, буграми. И это — больница?!..

Навстречу — мама. Маленькая от горя. Говорит громко, быстро, бессвязно. Щёки солёные от слёз. Саша вошла в палату и остолбенела. Её сильный, всегда жизнерадостный отец беспомощно лежал на кровати у окна. Улыбнулся одними глазами, мол, прости, подвёл... Губы синие, руки синие, дышит тяжело.

Саша кинулась в ординаторскую. На вопрос: чем лечат? — получила, как кувалдой по лбу, ответ: валидолом! Недолго думая, понеслась в город. Вот оно — областное инфарктное отделение. Заведующий — молоденький, белёсый, голосок хрупкий, почти девичий:



— Передвигать больного категорически запрещено! Тронешь — умрёт. И не тронешь — умрёт. От побочных явлений погибнет. Медленно и мучительно. Застой жидкости в почках и лёгких. Правда... если... ну, вдруг довезёшь сюда — есть шанс, один из ста... Только вряд ли кто отважится. Дураков мало. Это ж носилки нужны, реанимобиль. Но главное: личная ответственность.

Александра решительно:

— Если довезу, возьмёте? Я отблагодарю.

Доктор покачал головой: мол, глупая девочка...

— Ты сперва довези...

И она поскакала на станцию скорой помощи. Там, как лодочки у пирса, стояли припаркованы белые машины с красной полосой. Возле каждой — группка врачей в белых халатах.

— Люди добрые! Кто заработать хочет? — крикнула Сашка. Все заинтересованно обернулись к голосящей. — Мне надо инфарктника из деревни в город перевезти. Плачу... сколько скажете! — В ответ только молчание. — Да я расписку напишу, что никогда вас не видела. На мне вся ответственность. В худшем случае перенесём... отца... в легковушку.

Врачи переглянулись: сумасшедшая! Одна пожилая докторша негромко запричитала: разве так можно, погибнет человек в дороге, кому в тюрьму охота?! И отвернулась.

Сашку колотило от беспомощности... И тут подходит крупный мужчина лет сорока.

— Сколько даёшь?

— А сколько надо?

— Тысячу.

— Даю три. Только поедешь так, как скажу.

— Договорились! Мне всё равно, что возить. Хоть гробы, хоть холодильники... Семью кормить надо. Только, если что, перенесёшь тело в свою машину, как обещала. Сейчас надо прикупить капельниц и лекарства.

Парочка двинулась к военному джипу. Старая докторша вслед: повезло тебе, девочка, он — лучший реаниматолог!

В автомобиле стояло медицинское оборудование. Хозяин ловко убрал сиденья, образовалось место для носилок. По пути разговорились. Выяснилось, что мужик он — бедовый, служил в Таджикистане. Участвовал в боевых операциях на этой машине — мини-госпитале. По окончании командировки не смог расстаться с «боевой подружкой» и выкупил машину. Она теперь и на гражданке выручает.

Через час прибыли на место.

— Мне туда нельзя. Запалюсь. Неси больного сюда, к машине.

Санька пошла в палату:

— Ну, папочка, собирайся, сейчас я тебя в настоящую больницу повезу.

Измученная мать, задрожав всем телом, вцепилась в дочь и запричитала: куда, зачем, нельзя... Сашка схватила маму за плечи, встряхнула хорошенько: так надо! Укутай его потеплее.

Сама прошла к лечащему врачу.

— Как это забираешь?! Из Владивостока прилетела? И что? Наглая портовая девка! Стоит тут, умничают! Пиши отказную. Пиши: что всё знаешь, что берёшь на себя всю тяжесть последствий.

В палату Александра вернулась собранная, решительная, под ложечкой пульсировало. В дверях топтались два здоровых санитаря:

— Ребят, помогите переложить отца на носилки.

— Ты шибко борзая, сама и перекладывай!

Не подозревала Сашенька, что человек может быть таким тяжёлым, просто неподъёмным. И вдруг внутри у неё что-то переключилось, будто тумблер повернули. Такая силища поднялась...

Отец смотрел на неё лучистыми глазами и без остановки шептал:

— Как же так? Как же так... Шурочка, девочка моя... Ужасно! Ты меня...



— Ну ты, батёк, даёшь! Его девчата на руках носят, а он смущается! Гордиться надо! Ничего, ничего, я тебя в такое место сейчас определю, закачаешься! Там медсестрички длинноногие, с ума сойти, красотки. Ты у меня вмиг выздоровеешь!

Она балагурила и несла свою ношу, не давая ни отцу, ни матери опомниться. А тут и реаниматолог на помощь подскочил. Ловко и нежно разместили носилки в машине. Сашка примостилась рядом с отцом. Ей пришлось всю дорогу стоять на коленях, смешить укутанного папку.

В какой-то момент Истомина ясно почувствовала, как в районе солнечного сплетения у неё возникает приятный жар, словно включили прожектор оранжевого свечения, и он, как мощный лазер, раздвигает все препятствия на шоссе: сглаживает ямы и колдобины, устраняет пробки, руководит светофорами — только зелёный.

За четверть часа автомобиль ни разу не притормозил, не подпрыгнул на кочке — проехали как по маслу. Водитель сам обалдел! Ведь он не гнал. Держал ровно шестьдесят. За такое время невозможно одолеть такое расстояние. Нереально! Остался в недоумении...

А Саша, не снижая градуса, оформила все документы. На окрик санитарки: где бахилы, куда прёшь в обуви! — скинула ботинки и в носках встала у реанимации памятником. Заведующий отделением самолично руководил всеми манипуляциями. Подключили аппарат для вентиляции лёгких, начали капать нужные гормоны и прочее...

Через три дня отца перевели в палату.

Через неделю он встал...

По возвращению Алекс рассказала Максу и про горячий луч из солнечного сплетения, и про невероятный прилив сил: подняла и несла мужчину, и про везение на всех поворотах.

Ермаков был доволен: ученица — что надо, не опозорила честь мундира.

Глава 30

Нельзя не признать: у Макса есть удивительный дар. Он легко, без напряжения преодолевает неловкость первого знакомства. Может слушать всякого собеседника долго, внимательно, не перебивая, и с самым живейшим интересом. На его лице сияет искреннее восхищение каждым твоим словом. Пара минут, и человек чувствует, что знаком с этим парнем всю жизнь.

Поразительно, но он всегда в точности помнит, о чём шёл разговор в прошлый раз. Это льстит самым уверенным в себе людям. Кажется, он интересуется тобой всерьёз — и нет оригинальнее тебя человека на свете.

Притом говорит здраво на любую тему. В компании не проходит и четверти часа — Макс уже в ударе! Веселье закипает практически мгновенно, сыплются затеи, бьют ключом выдумки... И везде он желанный, услужливый гость! А спроси совета, всё бросит и с жаром займётся только твоей проблемой. Многие пользовались. Он не возражал.

Поразительный контраст! Рядом с Истоминой он бросал притворяться.

— Роскошный коттедж! Роскошный. Пять лет, говоришь, строили! Чудо! Ну, ведите, показывайте.

Хозяева сразу показали гостям, с кем те имеют дело. Графья, графья — не меньше. Будто не возили из Китая ширпотреб, а получили дворянское наследство. Вот зимний сад, вот бассейн, вот стена-аквариум...

Жена в шёлковом одеянии снисходительно махала ручкой то в одну, то в другую сторону. Добром хвалилась лениво и с достоинством. Это, дескать, ерунда, вы сюда проходите, располагайтесь у камина, сейчас грог подадут. Пока мясо жарится, светская беседа для аппетита.

Тут Ермаков развил бурную деятельность: сыпал комплиментами, выказывал отличные знания по архитектуре и дизайну. Рассуждал, как заправский специалист, о технологиях в строительстве. Потом схватился распалить в камине огонь. Ловко и изящно орудовал кочергой.

— Ах, какой у вас тонкий вкус! Какое цветовое решение! Оригинально — то, неожиданно — это, удивительно — пятое, десятое...



Истинный ценитель прекрасного! А собеседник?! Умаслил хозяев до розовых слюней. Те расслабились и очаровались новым знакомым. Через четверть часа мужик уже хлопал Макса по плечу, как родного, без спеси, без апломба. Прогулял гостя в винный погреб, потом в святая святых — оружейную комнату. Я, де, охотник, там у меня крутой закуток, посидим, поговорим по-мужски.

Жена проводила мужчин влажным взглядом. Ей явно хотелось самой показать обаятельному юноше свои укромные места...

Алекс чувствовала некоторую досаду: ей не перепало ни капли хозяйского внимания. Только Макс, Макс, Макс.

И тут на каминной полке, рядом с антикварным подсвечником, что-то блеснуло. На самом видном месте валялась небрежно брошенная печатка с крупным бриллиантом. Саша похолодела: пропадёт колечко, улетучится! Как пить дать испарится, стоит Ермакову на него глаз положить. Чего делать?!

Потянула руку и... в крепко сжатом кулаке запульсировал алмаз, пытаясь прожечь в ладони дыру. Или ей так казалось от волнения...

Разговор с хозяйкой поначалу ещё спотыкался, потом и вовсе расклеился. Зависали длинные паузы, шутки выпрыгивали не к месту и не в попад... Истомина даже растерялась: сидеть молча не принято.

Ермаков всё не возвращался и не возвращался.

Перстень продолжал толкаться в кулаке. Промычав что-то невнятное о новинках косметологии, Алекс с напускным любопытством принялась рассматривать «библиотеку». Глянecь и гламур лезли из каждого журнала, били по глазам, истязали и насмехались...

Мужчины появились, как фонтан в пустыне, — шумно, желанно, спасительно!

— Пора валить, — шепнул Макс.

Бежать! С превеликой радостью! Алекс уже порядком тошнило от этой обстановки и собеседницы.

А хозяйка, провожая, так переживала, так переживала, что рано уходят гости дорогие, и так жарко прижималась к юноше, только не выпрыгивала из тужелек. И взяла с них слово, что придут ещё раз.

На крыльце Алекс запнулась, резко развернулась и — назад, в каминный зал. Раскрыла ладонь — драгоценность прямо выпрыгнула. Макс пробежала:

— Зажигалку оставила. Она у меня именная.

А когда отошли подальше, Ермаков обсмеял ученицу:

— Врушка! Камушек спасла. Ну, и дура ты! Ох, и дур-ра!.. А у меня — смотри чё.

В руке Ермаков держал пистолет.

— Вот подумал: зачем охотнику газовый? Я ему боевой оставил. Мне тэтэшник не надо, ну его на хрен — одна головная боль! Газовый — чётко! На-ка поддержи, чуеть? Сила. Вот это вещь — так вещь!

Глава 31

В том же коттедже они очутились через неделю.

Хозяйка повела себя как сучка в течке. Милая мордашка обезобразилась резиновой гримасой похоти. Ничего вокруг не видит, не слышит. Дыхание прерывается, речь бессвязная, поглаживает свои эрозоны, облизывает без того влажные губы...

Макс — в пробор:

— Алекс, сделай мне пенную ванну.

Покорно пошла искать. Помещение для водных процедур оказалось просто грандиозным. Света столько, аж слепит, будто ксеноновыми фарами обвешено. Что тут делают?купаются?! Такая яркость в операционной нужна, а здесь чего разглядывать? Софа игрушкой кажется на фоне зеркальной стены. И стол имеется, и бар, и джакузи — гигантская перламутровая чаша. Да здесь жить можно!

Макс заходит, небрежно раздевается. Алекс тупо смотрит на бледный торс. Нет, это не тело даже, а пенопласт какой-то... Плечи слишком широкие, голова слишком крупная. В одежде это как-то не бросалось в глаза, а вот голый Ермаков — очень «не очень». И двигается странно, будто железный дровосек, вместо суставов — шарниры... Легко сиганул в воду, покрутил что-то, забулькало, забурлило...



Алекс задержалась у порога. Тут в дверях возникает хозяйка, проходит мимо Истоминой, на ходу стаскивает платье, сдирает лифчик, плавки, с улыбкой лезет к мыльному Максусу.

Истомина попятилась.

— Куда?! Я разрешал? Пора тебе обуздать животные инстинкты. Учись управлять ими по своему разумению. Это просто, как с алкоголем. Пью и не пьянею. Или не пью и пьянею.

Макс действовал умело. Женщина стонала и хрипела от удовольствия.

Алекс горела!..

Разом её накрыли три волны: дикое возбуждение, гнев и отвращение. В ту минуту она ненавидела себя...

Ермаков, как ни в чём не бывало, вытерся полотенцем, оделся и прошёл в кухню, волоча за собой Истому.

— Попей горячего, впечатлительная моя... Может, хочешь, чтоб я и с тобой так? То-то же...

Сашка молчала в оцепенении, будто нутро ей набили сухим льдом.

И тут разомлевший Ермаков выдвинул теорию половой распущенности. Оказывается, у него это — вовсе не член, а стержень для подзарядки энергией. Женщины — розетки, а у него, дескать, вилка. Подключаюсь, говорит, к сети и заряжаюсь. Пища, не более того.

Вообще, люди делятся на несколько групп: есть разовые батарейки, как та, что в ванне валяется. Есть генераторы, мощный народ, вот только покушать их — ай, как не просто! Жмоты. Есть такие, как твой Андрюля, — проводники. Этим всё по фигу. Свободно берут, свободно отдают. Чтoб понятнее: мужик твой — провод, кабель.

А я, говорит, к примеру, честный вампир. Ем всё подряд и всегда голодный. Тебе хорошо, ты — солнечная батарея.

Глава 32

Зазвонил телефон, Алекс сняла трубку. Незнакомый голос:

— Александра Истомина? Я хирург Панин. Этот номер мне передал Ермаков, знаете такого? Он сейчас в реанимации. Огнестрел. Нужна кровь. Просил сообщить только вам.

В больницу она понеслась сломя голову!

В приёмном покое было гулко и суетно. Люди входили, выходили, кашляли, ныли, шелестели, покрикивали... Саша заметалась: где? Пожилая врачиха с пустыми, будто нарисованными, глазами неспешно полистала журнал, мол, нет такого в реанимации, может — хирургия? А-а, вот, в первой хирургии. Второй этаж, пятая палата.

Душно в этой больнице, как в тюрьме. Пятая. Приоткрыла дверь. Он сидел на кровати по-турецки и травил байки. Жив-здоров, только правая кисть перевязана.

— Макс!

— О, Алекс! Оперативно, молодец. Пищу раненому принесла?

— Мне позвонили... реанимация... кровь нужна...

Он подмигнул «сокамерниками» и разоржался: дескать, я ж говорил!

— Да, это я звонил. Шутка. Дуй за пропитанием, здесь одну перловку дают. Э-э... Хрустящую курочку купи, пожирнее. Чего встала? Давай, дуй... Пулей, я сказал! И сигарет возьми.

Они сидели на банкетке в коридоре, он шелестел целлофаном, рвал несчастную курицу на части. Жир капал на спортивные штаны. Казалось, он не жуёт, а заглатывает громадными кусками. Шумно дробит зубами кости, перемалывает хрящи, и всё это тоже — глык. В этом странном поедании было что-то жуткое и отвратительное... Алекс отвернулась, её подташнивало.

Покончив с птицей, Ермаков срыгнул пару раз, обтёр замасленный рот рукавом.

— Теперь погулять бы. Алекс, тащи из палаты кроссовки.

Вокруг сырые больные, мышьяная беготня медперсонала, озабоченные посетители с пакетами продуктов. В этой мельтешне и суматохе он встаёт посреди коридора и громко:



— Ну? Чего непонятного? Обувай меня.

Сказал нарочито громко, так что народ вокруг замер, все обернулись...

Алекс запнулась на мгновение, потом, как слепоглухонемая, опустилась на колени и начала борьбу со шнурками. Люди разглядывали парочку в недоумении: иллюстрация памятника «мы с Трезором на границе». Некоторые узнали певицу, захихикали, зашептались.

— Шикарно отсюда смотришься. Так бы и стоял всю жизнь. Так бы и любовался. Твоё место.

Вышли на воздух. Погода стояла дурная, негуляльная. С неба плевала какая-то сальная крупка, земля покрылась слизью, как тухлая рыбина. Пошли по аллее.

— Надеюсь, ума хватит обиду не загаить? С тебя станется, шуток не понимаешь. Хоть бы пожалела царя-батюшку! Ха-ха-ха! Болит ведь. За тебя, между прочим, наказали. Не справляюсь с твоим своеволием, с твоей гордыней непомерной. Какой из тебя воин? А-а... только время зря трачу.

Сколько раз повторять: твой главный враг — глупое сердце. Пойми, любить ребёнка и никчёмного мужа — не просто роскошь непростительная. Это смертельная опасность. Привязанность — дыра... В неё любой ткнуть может. А ты — дуршлаг! Ласковость, хитрость, терпеливость и безжалостность — вот четыре кита, на которых стоит маг. Ты же — как кокос, твёрдая снаружи, мягкая внутри.

Он без передышки вещал и вещал прописные «волшебные» истины. Саша застывала: ну, завёл пластинку... Внезапно Алекс перебила его словесную струю простым вопросом:

— Что у тебя с рукой? Откуда травма?

— Тьфу ты! Я ей про Ивана, она про болвана... Говорить о главном — бессмысленно, всё равно не слышишь. Примитивное бабское любопытство опять победило. Хорошо, рассказываю.

Иду через парк. Ночь. М-м... н... не знаю... никаких ощущений, никаких знаков, никакой тревоги... Резко перед носом — три тени. Ждали. Явно засланные. Маскировка у них — пять баллов. Ты в курсе, врагов у мага — завались! Среагировал я автоматически: точно, мощно. Двоих сразу рубанул, третий отскочил, смотрю — вооружён. Сокращаю дистанцию, хватаю ту руку, что с пистолетом. Неудачно. Успел, гад, спустить курок. Пуля раздробила кисть. Сам виноват. Вот видишь, и на старуху бывает проруха.

— Ты ж говорил: маг не ходит там, где беда.

— Всё, вали, устал от тебя... Да! Чуть не забыл, достань обезболивающих. Лучше калипсол.

— Ты что, Макс, это невозможно! Точно знаю — такое лекарство используют, как общий наркоз. Он запрещён к продаже. Мне его никто не даст.

— Не моё дело. Сказал — достань! Купи, укради... Чтоб завтра был. Пошла!

И Алекс пошла... Перед глазами стояла чёткая картинка: она на коленях посреди толпы вяжет бантики на его высоких белых кроссовках. А Макс сверлит ей взглядом темя, ухмыляется, прямо жирует. Остановилась. Продышалась. Ну, чего, чего ты взбеленилась? Подумаешь, прогнулась. Ничего такого не произошло. Ну, помогла человеку, рука-то действительно повреждена. Сам бы не справился. И всё ровно было погано на душе... В его действия читалась явная показуха, игра на публику.

Где грань между почитанием и унижением?

Шагает Саша к остановке, на сердце — беспокойно, какое-то дурное предчувствие. Сунула руку в карман, а там пачка сигарет — те, что Макс просил. Вот, чёрт, забыла отдать. Пришлось вернуться...

Опять этот противный коридор. Перед палатой Ермакова стоят трое: сам, пожилой мужчина и уставшая женщина.

Алекс видит, как мужик со всего маху даёт Ермакову горячую оплеуху.

— Мать твою, перемать! В армию, значит, не взяли, головушка — бо-бо?! А тут, смотри ж ты, новобранец, игрушку себе нашёл! У тебя точно с головой проблемы. На хрен ты вообще его разбирать начал? Да ещё на кухне, при матери, перепугал её



до смерти! Руки чешутся? Почесал, умник?! Какая ж ты сволочь неблагодарная! Я русским языком сказал: выбрось пистолет. Вроде договорились по-человечески. Жаль, меня дома не было, я б тебе башку на месте оторвал!

Макс стоял перед отцом как шелудивый пёс. Глазками — туда-сюда, туда-сюда, ссутулился, в два раза меньше ростом сделался. Бекает, мекает...

В разговор вступила мать:

— Погоди, успеешь поругать... Максик, сынЯок, ну что там у тебя? Кости целы?

— Мам, четыре шва наложили, пороховой ожог... Болит ужасно!

Отец буркнул: «Жопе легче!».

Саша вжалась в стену. Ноги ватные, голова кругом...

— Ты ещё пожалей сыночка. У, мудило! Знаешь, чего наш красавец удумал? Газовый — в боевой переделать. Не знаю, чё он там ковырял, по итогу в руках жакнуло! Если б ты, debil, хоть чуть соображал, знал бы — боевым патроном всё равно не выстрелишь. От таких уродов, как ты, защита на нём предусмотрена. В кого стрелять задумал, сына? В папу? Ты хоть знаешь, что за хранение огнестрельного оружия — статья 222 УК РФ, реальный срок. Ещё неизвестно, чем дело кончится. Может, посадят твоего «кулибина». Вдобавок наш смельчак ножички обожает, таскает с собой повсюду. Это ты на ментов ещё не нарывался. Обещут разок, надают по соплям, подлечат бестолковку...

Родители, продолжая причитать, усадили «ребёнка» кормить. Саша ахнула! Курица. Целая жаренная цыпа. Неужели съест? И «мальчик» слупил её за милую душу. Всю! Глазом не моргнул.

Александра, не дождавшись конца встречи родителей с сыночком, подалась прочь. Идёт, шатается, еле ногами ворочает, будто вскрыли грудную клетку и расплавленного олова залили по самую глотку. Как это может быть? Он же говорил, что круглый сирота, что воспитывался в интернате, что отцом называл тренера по айкидо, что именно тот человек заставил учиться магии.

Чем честнее и глубже она заглядывала в свою душу, тем абсурднее выглядела ситуация. Ну ведь дура! Дура набитая! Может, я сошла с ума?

Признайся, ты ведёшь себя, как примитивная эгоистка, одержимая банальной и притом глупой идеей. Свобода и Сила? А что это?

Свобода от чего? Вопрос ребром. Не юли, Сашенька! Похолодело под ложечкой. Выходит, от естественного течения жизни. От дома, от дочери, от публики...

А Сила эта мифическая? Она-то тебе зачем? Мир будешь благодарить? Нападать? Защищать? Ответ получился ещё хуже: для потехи, амбиции чесать. Чтобы, значит, вертеть всех вокруг собственного эго.

Ей было — невероятно больно! Стыдно, страшно, противно...

Заигралась ты, Сашуля, заигралась... Дальше-то что?

Глава 33

А дальше был Петербург.

Повод для такого путешествия был малоубедительный, но Андрюша не противился, отпустил. И Макс с Сашей, конечно же, остановились у её однокурсников. Ребята устроились в северной столице отлично. Руслан — в Мариинском, Даша — в Большом зале капеллы. Квартиру купили на Суворовском. Молодцы!

Ребята были рады гостям, столько не виделись. Разве что пылинки не сдували. Болтали ночи напролёт: всё вспоминали, как в общежитии жили, последним куском делились, как концерты давали в военной части, на авианосце, на подлодке, как Андрюшу клещ цапнул. Севку помянули...

В один из вечеров собрали всех знакомых, которые из Владика в Питер перебрались. Так сказать: гуляй, дальневосточники!

К концу застолья Руслан обнаружил пропажу. Из пиджака испарилась серьёзная сумма денег, очередной кредитный платёж. Такой вот конфуз. Хозяин, не будь дураком, сразу заявил:

— Хотите — обижайтесь, хотите — нет. Сейчас вызываю ментовку. Отсюда никто не выходил.



Макс так явно заюлил, загоношился, начал кусать ногти... Мол, к чему менты? Да от них одни неприятности. А мы тут нетрезвые. Может, сам где выронил. Может, забыл, куда положил. Да если что, мы сами всем обыск устроим. Да мы... да я...

Алекс не сомневалась, вор — Ермаков. Его поганых рук дело. Перед ребятами было так стыдно, просто невыносимо. Подошла к гуру нос к носу и зло прошипела:

— Отдай, не позорься. Этот человек — не овца. Выполнит обещание. Прикинь, что нам грозит? Дай сюда деньги, сама подброшу незаметно.

И подкинула...

— Какой ты волк? Ты шакал!

Не ответил...

Глава 34

Мрачный Питер неприятливо поплёвывал колючим дождём. Двое, Истомина и Ермаков, шли бодрым шагом. Куда? Он, как всегда, знал. Она, как всегда, нет. Завернули в кафе.

— Опять расплачиваться не будем?

— Суета... Повторяю ещё раз для тупых: деньги, как дождь, ничьи.

Стал заказывать сытное, небрежно тербя меню. Вдруг резко откинулся на спинку стула и ощерился, глядя ей за спину. Александра оглянулась.

Переминаясь с ноги на ногу, улыбаясь во все тридцать два зуба, стоял высокий мужчина в кашемировом пальто.

— Здравствуй, Александра! Здравствуй, Сашенька! Не узнала? Это ж я, Алексей!

Саша оторопела, сморщила лоб, пытаясь... Он смутился на секунду и пошел в атаку:

— Ну ты даёшь! Вспоминай: Владивосток, институт, художники, мастерская, портрет с бегущими по ветру конями...

— Ой! Алёша, это ты. Точно Лёха! Прости... Здесь полумрак, у тебя борода, очки. Повзрослел... Не сразу сообразила. Ты здесь? Каким ветром?

Макс выдвинул стул, приглашая. Художник картинно:

— Живу. Квартира. Мастерская над Невой. Пишу потихоньку. Ты как?

— Знакомься, это мой... мой друг.

Взглянула на Учителя, тот уже напряжился — так азартная гончая вибрирует всем телом, чуя дичь. Алёшка протянул руку, и тотчас гибкая ладонь угодила в «тиски».

Любил Ермаков выбить человека из равновесия, эффектно, особо не затрачиваясь. Алексей скривился, растерялся, пытаясь вырваться. Выглядело глупо, нелепо.

— Вы мне чуть руку не сломали!

— Чуть — не считается. Хотел бы сломать, сломал бы. А что, левой не рисуете?

— Я вообще не рисую, я пишу, — психанул.

— Пишет писатель. Вы, я так понимаю, рисовальщик? Пейзажи увлекают или батальные сцены уважаете? Может, вы — маринист? Нет-нет, не актуально! Скорее всего, портрет или натюрморт. Сейчас многие обожают картины про лютики в банках из-под компота. Опять ошибся? Неужели мифологические сюжеты живописуете?... Ху-художник!

Алексей поперхнулся.

«Сейчас сцепятся», — тоскливо подумала Саша... и вмешалась. Чтобы разрядить обстановку, бодро защебетала, заливаясь сказками: тут же выдумала про бизнес, про грандиозные планы, перспективы. Монолог затянулся... Мужчины бесцеремонно разглядывали друг друга с некоторым вызовом.

Наконец, Алексей встал, нарочито отвернулся от Ермакова и, взяв Александру за руку, сказал проникновенно:

— Сашуль, приходи ко мне в мастерскую. В гости. Посмотришь, как живу, как работаю. Помнишь моего чёрного кота? Ну, того, что сухари воровал, вымачивал в воде и потом хрумкал. Ты ещё ругалась, что животину мучаю. Так он, Бес-балбес, представляешь, жив-здоров. Не поверишь, килограмм костей превратился в лохмотога свина. Жирный, ленивый. Мыши подрамник сгрызли, а ему хоть бы хны. Раньше, помнишь, с голодухи даже тараканов жрал.



Вот увидел тебя сейчас и понял: скучал... Все эти годы по тебе скучал... Наболтаемся от души, кофейка попьём. Я тут наловчился. Очень вкусный варю. Приходи! Вот визитка с адресом. Буду ждать. Очень ждать. — Потом повернувшись к Ермакову: — А вот друг твой — говнюк. Будь поосторожнее. — И спокойно направился к выходу.

Довольный Макс захохотал:

— Бывший любовник?

— Ну-у... предложение делал...

— Небось пойти хочешь?

И Алекс посмотрела на него в упор, ужалив взглядом.

Ермаков резко вскочил, схватил её под мышки, выволок на улицу.

— У-у, похотливое животное! Придется заплатить. Копейкой.

Крошечный кругляк взвился в воздух и булькнул в глубокую лужу на перекрёстке.

— Изловчишься, выловишь копейку — пойдешь на перепих, нет — извини...

И она, не раздумывая, кинулась за медяком, маневрируя среди машин. Полезла в грязь, закатав рукава куртки по самые локти.

Плотный поток машин двигался на приличной скорости. Бибиканье, визг тормозов, мутные брызги из-под колёс нещадно. А Саша, будто не замечая опасности, ползала, шарила в рытвине, пыталась отыскать монету.

Макс курил, наблюдая с презрением.

Наконец, денежка на ладони, с голых рук стекает жижа.

— Хм-м... Ладно, иди... Даю пять часов. Мозоли не натри.

Свернул за угол и исчез.

Глава 35

Александра плелась по Суворовскому. Давило виски, мерзко потряхивало. Пять часов свободы. Спасибо Алексею, настоящий повод остаться одной и крепко подумать. Надо было что-то решать, так продолжаться не может.

От бесконечных унижений, не проходящего чувства вины, от тревоги за близких, от усталости и безысходности Сашке хотелось выть. Она страшилась смотреть правде в глаза. Она почти вынесла себе приговор. Почти... Да, это был реальный страх. Потому что на честный вопрос: «чем всё это закончится?» ответ был простой и ясный...

Похолодало. Дождь превратился в колкую крупу, будто посыпала толчёная слюда — то ли снег, то ли... Саня обвязала голову шарфом. Она шла и шла, будто в оцепении, глядя себе под ноги. Мысли путались и трусливо прятались в закоулках сознания. Ничего мудрого в голову не приходило...

Окончательно озябнув, она остановилась и огляделась. В ста шагах прямо перед ней возвышалась церковь. Ещё немного и Саша уткнулась бы носом в приоткрытые двери.

Погреться разве?

В храме было почти безлюдно. Справа копошилась горбатая инокиня. Слева в глубине мелькнула белая ряса священника. В углу перед образами, согнувшись в три погибели, стояла на коленях бабуся. Поодаль, утробно причитая, молился плечистый мужик. По центру со свечой в руке вытянулась и застыла девушка. И больше никого.

Саша прислушалась. «Накажи!» — сипела старуха. «Дай!» — басил дядька. «Прости!» — лепетала девица.

Александре сделалось неуютно... Чувствовалось несоответствие храма как дома Господа, в который люди должны бы принести свою благодарность, а на самом деле кланчат для себя вполне земные блага.

Первая икона удивила: золотой оклад, струящиеся одежды, пряди волос, будто влажные, венец терновый, иссохший. Хорошо написано, живо. А самого лика — нет. Серый овал. Чистый холст. Отошла.

На высоких колоннах изображения апостолов во весь рост. Вот Петр, вот Павел, вот, вот... А ликов нет. Будто виньетка-шаблон без фото. Перешла к амвону, та же история. Подумала: надо у кого-нибудь спросить — что это за ерунда такая?..



У подсвечников заметила старенькую монахиню. Маленькая, юркая, похожая на мышку, вылезшую из угольного сарая, собирает огарки и восковые накапы.

— Простите, ради бога, матушка, спросить хочу. Что это у вас с образами? Реставрация? Ремонт? Зачем тогда прихожан пускают? Как-то неудобно молиться на пустое место.

Инокиня доверчиво и наивно улыбнулась, глаза детские, удивлённые, синие-синие:

— Как быть — ликом нету? Да вона же благодатию сияють. Ты али скаженная, али блаженная. Погоди-тка, ликом не усмотрела? Это тебе к отцу Аркадию итить надобно. Нехорошо с тобой чавой-то... И бледная притом. А вона, гляди, батюшка рабёночка хрестит. Обожди чуток и обратися. Ступай, ступай, не бойси. Он у нас добрай.

Побродила по храму ещё и ещё. Вглядывалась и так и этак. Нет. Всё по-прежнему. Купила свечу, подошла к иконе. Стоит оцепенело минуту, другую, десятую, будто время остановилось...

И вдруг видит: лик Божьей Матери вроде проступать начал, но как-то неясно, будто вуалью прикрыт. И Саша, не давая себе отчёта, зашептала:

— Богородица, миленькая, прошу тебя, сделай так, чтобы Макс... Ермаков Макс... или... как его там по-настоящему... не знаю... в общем, чтобы этот человек опомнился. Он сильный, умный, талантливый. Но всё прахом. Дар свой направляет на... Разрушитель, каких мало. Он мог бы столько хорошего, доброго сделать. Дай ему просветление, дай ему дело... или, может, чувство дай, сильное чувство, чтобы... чтобы стал Жить! Умоляю, услышь меня. Помоги, Пресвятая, ты же всё можешь... Попроси Сына... Пусть Он его изменит, пусть...

Тут как раз батюшка освободился и к амвону направился. Александра кинулась к нему:

— Святой отец! Выслушайте меня. Я из Владивостока. Творится со мной неладное. Объясните, что со мной, вразумите, Христа ради.

— Говори, дочь моя. Слушаю.

— Попробую объяснить. Значит так: я замужем, дочь — пять лет. Всё у нас хорошо было. Жили дружно и весело, а потом появился человек... или не человек... взял меня в оборот... Ну и покатилося... Понимаете, я не спортсменка. Никогда мощной не была, обычная, словом, женщина. А сейчас на кулаках двадцать раз отжимаюсь. Силы какие-то шальные... В характере свирепость, чёрствость появились.

Нет, всё не то говорю... Спокойно жить не могу. Несёт меня куда-то, как щепку в бурю, то в горы, то к морю... Никто не дорог мне... Главное, мужчина этот мне, как это правильно сказать... не мужчина... То есть, бегу не к нему, а просто бегу... от себя...

Иногда такое делаю, сама себя боюсь... Чувствую, совершу что-то страшное, непоправимое. И потом, как сказать, не знаю... ненависть в сердце растёт... жгучая... пылает... Человека этого убить хочу... Нет, не так. Его убью!.. или себя...

Священник отпрянул, подхватил рясу и, ловко перепрыгнув через ограждение, побежал к боковой двери амвона. Задержался на мгновение и, перекрестившись, прокричал:

— Молись, молись! Бог милостив.

Саша было рванулась за ним да осеклась... Такой поворот. Ничего себе, по-мог... Тогда ей в голову ударила ужасная мысль: «А вдруг я в ведьму превратилась?!.. Ах ты, батюшки, мамочки родные...»

Вышла из церкви, постояла, подумала: «Так! Колдушки должны бояться ладана и колокольного звона. Будем проверять! Кадило поп с собой унёс, с ладаном, видать, не получит, а вот колокола обязательно испытать надо».

Вернулась назад. Присела на корточки и стала ждать вечерни. Завзвонили протяжно, с оттяжкой в большой колокол, потом переливами в маленькие, дальше, как песня, — мелодия многоголосная, без тревоги, без жажды, грустно и ясно. Саша встала прямо под купол, напряглась: вот сейчас должно шарахнуть нечестивицу. Раскинула руки, лицо к своду...

И ничего... Задышала полной грудью, заулыбалась. Ну, слава Богу! Не подтвердилось!



Она повернулась к выходу, и вдруг над самими воротами ей предстало огромное, во всю стену, полотно: Георгий Победоносец протыкает змея-злодея святым копьём. Лицо его, исполненное отгагой и благородством, сияет. Саше почудилось, что Георгий чуть повернул голову в её сторону и подмигнул. Она таращилась, не веря своим глазам. И тут отчетливо услышала, будто он вслух проговорил: «Не придуривайся! Ты знаешь, что делать. Иди и делай!».

И такой простой, знакомый и понятный, как мальчишка из соседнего двора...

Глава 36

И снова — Владивосток.

Лунным, безветренным вечером Алекс с Максом шли к дому Истоминых. Не то, чтобы он провожал женщину, совсем нет, просто в очередной раз пытался ей долбить:

— Видишь ли, мы в связке — неприятная правда. Когда маг входит в мою пору, он обязан завести ученика. Я без тебя бессилён. Видишь, как всё переплетено? Я без тебя — ноль, ты без меня — ноль. Только вдвоём мы — Сила. В паре можем делать всё, что хотим. Давай уже как-то терпеть друг друга.

Саша практически не слушала. Её мысли бродили вокруг личности Учителя. Как это у него всё так ловко выходит? И без последствий. Другого бы сто раз посадили или убили к чертям собачьим. А Ермакову — всё как с гуся вода.

Алекс проскользнула в подъезд. Дома обнаружилась только спящая Дунька. Где Андрей? Не может быть, чтобы оставил ребёнка одного надолго. Значит, где-то рядом, она чувствовала — рядом.

Выглянула в окно.

Перед подъездом, в свете фонаря, маячил Макс, он терзал зажигалку. На губах висела сигарета. Слабый огонёк тут же угасал, никак не прикурить — газа недостаточно.

И тут донёсся слабый свист. Ермаков обернулся и зашагал на звук.

Саша прищурилась, пригляделась. На скамейке виднелся силуэт Андрея. Это точно он: плечистый, с прямой спиной, светлые волосы. Почему на улице? Почему не окликнул? Ждал не её?

В руке у мужа вспыхнуло узкое высокое пламя, осветив измученное лицо. Ермаков наклонился, прикурнул, сел.

Похоже, супруг решил беседовать с Максом без свидетелей, по-мужски. Саша пошире приоткрыла окно и затаила дыхание, пытаясь поймать хоть слово. Нет, далеко. Не разобрать! Только общие звуки и обрывки фраз.

Вот в басовом ключе — Андрюша: «...подышать...» А это гораздо выше — Макс: «...бя тревожусь...ольше некому...» Хрупкая фигура гуру откинулась вальяжно и сыплет, сыплет словесами, а крупная Андреева — подалась вперёд, уронив плечи к коленям. Секунда, и голос Макса отчётливо: «...Дуняша...»

Истомин резко разворачивается к нему, вскинув голову. Ермаков отодвигается. Вот отделился от скамейки, присел на корточки, хитрец, что-то поднял с земли. Значит, меняет тему? Уселся назад.

Тишина.

У Сашки похолодело под ложечкой. Господи, только бы Андрей не ввязался в драку. Этот провокатор может так поддеть, так пырнуть словом, не сдержишься. А поединка не получится, как пить дать, только избивение... Макс натренирован — будь здоров!

Казалось, всё бы отдала, чтобы услышать...

Теперь откинулся Андрей, положил ногу на ногу. Макс заёрзал. Ого! Соскочил, руками машет, дирижёр хренов. Дёрнулся и встал Андрей. Спина ровная, напряжённая: «...Пока ты не появился, я завидовал сам себе...» Памятник. Скала. Мамочки родные!

Ермаков залился искренним детским смехом: «...родной... мне кровь свернула... трачу... в узде... спасти... жаль... жаль... посуды... выбери...»

Опять сели, закурили оба... Уф!

Тишина.



Макс вроде засмеялся, но теперь иначе... на гиену похоже... А Андрей ритмично: бу-бу-бу!.. Тьфу ты, бубнилка. Что-что? «...отпусти...»?

Скорее бы всё это закончилось! Никаких же сил нет...

И опять: легато — стаккато, легато — стаккато. Убила б обоих! Лучше б подрались. Ну, вот о чём они там спорят?!

Напряжение то нарастает, то падает.

И вдруг у неё страшно схватило голову. Такая боль, аж уши заложило, слёзы выступили, и тошнота к горлу подкатила...

Видит, как в тумане: поднялись оба. Вроде прощаются, наконец. Не понятно, то ли договорились и пожали руки, то ли не договорились и не пожали. Оба варианта ничего хорошего не сулят.

Ермаков вприпрыжку пошёл прочь, Истомин устало — домой.

Алекс нырнула в постель и притворилась спящей.

Всю ночь ворочалась, вздыхала: «Для одного я — цель. Для другого — средство. Полу-певица... Полу-жена... Полу-мать... Полу-маг... Где ж я целая?!»

Александра Истомина той ночью поняла главное: она — бомба с замедленным механизмом, всё зависит от того, какую кнопку нажать. А кнопок три. И все привлекательны донельзя. Можно погубить Мир. Можно осчастливить. Можно оставить таким, как есть.

Если она ничего сама не решает, то в чьих руках кнопки? Вот — вопрос вопросов!

Глава 37

Нет, то, что все вокруг считали эту странную парочку любовниками, — даже не сомневайтесь. Коллеги, друзья, мало-мальски знакомые, вовсе незнакомые, родственники — все считали святым долгом посудачить: «Ах, как Андрюшу жаль! Бесстыжая! Даже не скрывает!».

И ни один не обратил внимания на маленькую деталь. Их никто и никогда не видел рука об руку. Только параллельно. Да, они везде рядом. И всегда — порознь.

Ермаков потешался над этой темой:

— А знаешь, назначу-ка я тебя любимой...

— Гейшей или рикшей?

— Тьфу на тебя! Мне нужен смотритель гарема. Точно! Лучше не придумать!.. Ты любую непослушную за меня загрызёшь. А-ха-ха!

У Саши участились резкие переменные настроения. Она прямо дурела от гнева, обиды и нестерпимого желания разорвать гада в клочья. А потом это резко сменялось тоской и глубокой жалостью...

И снова, как тогда, в Ташкенте, она думала о своей бесполезности, никчёмности. Правда, теперь желала себе смерти, чтобы спрятаться от себя самой. Ей не хотелось быть ни ласковой с теми, кого презирает от души, ни хитрой с теми, кто слабее и глупее, ни терпеливой, когда хотелось колотить посуду и материться, как сапожник.

Ей хотелось быть такой, какой её родила мама, и никакой больше!

Часть третья

БИТВА

Глава 1

Под утро Истоминой приснилось не совсем обычное...

Она — пума, горный лев. Выстрел из арбалета, и под лопаткой — стальной штырь. Под левой лопаткой, выше сердца. Оттого её движения мучительные, вялые. И боль. Нестерпимая, раскаленная боль, которая парализует волю.

Лежит неловко, дышит тяжело. Вокруг поляна ровная, пыльная, без единого куста, окружена ломаными глыбами гранита, может — базальта, с вкраплениями слюды. Вон они блики — то там, то здесь...



Ночь душная, звёздная. Луна, как под наркотическим дурманом, отвратительно бесформенная.

В просветах между осколками камней — две мерцающих точки цвета раскаленной лавы. Нет-нет, не точки, скорее лучи, как лазерные прицелы двух снайперов-близнецов. Неотступно сверлят пространство — следят за кугуаром. Никогда они не сияли такой радостной наглостью. Вот он, фарт! Вот, наконец-то, долгожданный случай!

Чем сильнее её тело наливается бессилием, тем ближе и ближе эти искры ненависти. Она точно знает: это огромный старый волк. Волк-одиночка. Волк-людоед. Единственный брат — кровник. Единственный враг — кровник.

Ближе, ближе... Потянула носом: знакомо! Смесь запаха горячей крови и злобонного глена. Навострилась: отчётливо слышно прерывистое нетерпеливое дыхание. И во всём этом приближении — *страх*! Страх его бесит. Страх его гонит. Единственный шанс у волка. Единственный шанс у пумы. Он идёт убивать, без вариантов. Она это чувствует всем существом, без страха, только бессилие.

Может, покориться?..

Не сейчас. Собралась, сосредоточилась на звенящей боли. С остервенением извернулась и, вопреки всем мыслимым и не мыслимым законам, совершила финт. Стиснула зубы у основания стрелы-стилета. Урчит, держит, а потом — резкий рывок, и сталь отлетает в сторону.

Боль тут же делается приятно тупой, даже ласковой. Ещё мгновение, и бурлящий прилив энергии накрывает пуму от носа до кончика хвоста. Она вскакивает и встаёт наизготовку. Рык восторга оглушает округу!

Вот теперь иди, иди сюда.

И тут громадный волчара будто сдувается, превращаясь в койота. Упустил! Опять упустил удачу. Взвыл, захрипел, брызжа слюной от бессилия, заметался, поднимая пыль. Клацает челюстями, хватается себя за бока. Серая шерсть полетела клоками, брызнула звериная кровь. Отчаяние затмило разум. Победы не будет. Наступили слабость и смирение. Шакал, подвывая, пополз прочь...

Александра соскочила с кровати. А спала ли? Под лопаткой мерзко ломило... Бывают такие сны — не сны. Ощущенческие, что ли... Цвет, запах, фактура, открытые эмоции, физическое напряжение.

Чем тогда различается «наяву» и «во сне»?

Глава 2

Однажды Алекс проснулась от сухости в глотке. Это першение заставило встать и налить тёплой воды. Маленькими глоточками проталкивала колючую воду. Закашлялась. То ли поперхнулась, то ли...

Всё сильнее и сильнее её душил гортанный гавкающий кашель. Из глаз потекли слёзы. Что такое? Будто вдохнула какой-нибудь химический порошок или выхлоп с битумного завода. Чудовищный спазм мышц гортани нарастал.

И тут резкая боль под кадыком. Связки сухо щёлкнули. Хотела было крикнуть: помогите! Рот разевает — мёртвая тишина. Голос исчез. Ни звука, шуршание одно...

Всё рухнуло перед глазами — это конец. Конец всему!

Растолкала Андрея. Машет руками, семафорит: мол, больно, мол, голос пропал...

Андрей заглянул в рот — не ангина. Вроде всё нормально. Схватил коньяк, лимон, мёд. Смешал, подогрел и заставил крохотными глотками выпить. Без эффекта. Полоскания — тоже мимо.

Утром попробовала говорить: глотка будто саднит, а из звуков только сиплый шелест получается. О вечернем концерте можно было забыть.

Три дня: молчание, ингаляции, дыхательная гимнастика, компрессы... Разговорный голос вернулся, но такой сиплый, как у докера в порту.

Кинулась к врачам. Лор, здоровый мужик, циник и грубиян, осмотрел как ветеринар лошадь, написал: «Воспаления нет, здорова».

— Говорить можете. Что ещё от меня надо? Следующий!



Фониатр, добрая старушка с полиартритными пальцами, прокалила на пламени зеркальце, марлевой салфеткой неприятно оттянула язык. «И-и-и!» прозвучало как «хы-ы-ы!». Ни трещин, ни узлов, ни покраснения.

Поправив очки, седая докторша вздохнула и беспомощно развела руками. Несмыкание голосовых связок.

Глава 3

На Истомину внезапно накатила такая агрессия, такое отчаяние, что не приведи господи! Ей вдруг опротивело быть женщиной, матерью, женой. Всю жизнь ко всем пристраиваться. Второй сорт. Штемпель — вот он на лбу — баба. Это не для неё. Быть парнем на порядок проще: захотел — взял, расхотел — бросил.

Её бил озноб от ярости! Бесконечное ожидание, вечное смирение, мелкое сито мыслей и действий. «Не хочу! — кричало нутро. — Всё брошу! Всех брошу! Ничего никому не должна!».

Заскочила в ванную, схватила станок и сбрила волосы наголо...

Из зеркала на неё смотрело дикое существо: тёмные глаза и гладкий блестящий череп. По впалым щекам ползли сухие слёзы: натурально концентрированный солевой раствор. Внутри пылал такой огонь, что, казалось, выпарилась вся жидкость из организма.

Сегодня только нечисть — главный герой. Сильный, стильный, манкий — положительный, одним словом. Почему? Дык подлости своей не скрывает, честен в помыслах. Хочет жрать и жрёт!

Глава 4

Истерика, которую она себе позволила, погасла так же внезапно, как и вспыхнула. Внутри сформировалась мощная волна. Ей нужен Ермаков. Сейчас или никогда. И она поехала на Набережную. Там зашвырнула в море томик Кастанеды и медвежий коготь. Выбрала лавку так, чтобы и безлюдно, и открытое пространство. Плюс ко всему и *неместо* рядом, если что...

Села, настроилась: иди сюда!

Не прошло и получаса, на дорожке показался запыхавшийся Макс.

— Ого! Лысая башка, дай пирожка! Похоже, мозги растеряла окончательно. Готовый кандидат в психушку. Чего звала? Жду только херню. Ну, говори.

Сосредоточенная Алекс молчала, стиснув зубы. Дышала ровно, глядя в одну точку, будто готовилась к прыжку. Ермаков тоже молчал, нервно грыз ногти и молчал.

Море, похоже, тоже замерло в тревожном ожидании: деликатно вздыхали волны, а до горизонта сделалось гладко, будто не вода это, а мрамор, чуть сероватый, чуть розоватый с редкими тёмными пятнами.

Всё вокруг Сашке в помощь. Издревле мрамор ценили за красоту и магию. Замечено: камень отрезвляет, дарует любовь и верность. Он посредник между человеком и добрым духом. Если верить в духов...

А тут целое мраморное море.

Наконец, не меняя позы, заговорила Истомина монотонно, не распаяясь:

— Терпению моему пришёл конец! Я приняла решение. С этой минуты ты не учитель мне. Причин три. Записывай! Первое: не чист на руку. Воруешь, как хронический клептоман. Надо, не надо. Где плохо лежит, подрезаешь, как сорока бусы. Второе: не чист на язык. Господи, ты же всё время врешь. Сочиняешь так самозабвенно, так нагло, порой складывается впечатление, что у тебя словесная диарея.

И, наконец, третье: не чист на... Спариваешься кроликом оголтелым, где попало, с кем попало. Пространное объяснение про мифический раскалённый «стержень» — не работает. Ты — комок грязи!

Ермаков перебил:

— Человек велик в своем могуществе. Границы могущества — это страх и невежество. Нет тайных знаний, неподвластных нашей воле. Есть только лень, смиренная покорность и позорное уныние. Человек сам решает, стать ли ему прекрасным великаном, сказочным богатырем, рыцарем, сложившим героический эпос из своей



единственной жизни, или остаться рабским червяком в плену у серых обстоятельств. Знание — это вечность. Невежество — это добровольная смерть.

— Ещё раз убеждаюсь, память у тебя — выше всяких похвал. Очередная цитата? Юзик Килевич. Ты гений манипуляций! Жаль, что сейчас тебе это не поможет. Дослушаешь, как миленький.

*Ты ведь трусливо; мелкое воровство —
Всё, что ты можешь... Вежливый извращенец,
Ластись, щерясь, — брось: у меня священность
Самых живых на свете...
А ты — мертво.*

— Чистенькой хочешь остаться? Не выйдет. Ты вся в говне.

— Это правда. Ничего, отстираюсь. Любой выпачкаться может, главное — как отмоешься. Зато у тебя полный порядок. Ни любви не знаешь, ни жалости, ни радости, ни страдания — супер! Одна *похоть* на пьедестале. Ты — паразит, можешь жить только в чужом теле, за счет другого. Ни силы, ни энергии своей не имеешь. Как только человек открывается, тут же заползаешь в душу и гадишь. Ты мне больше *никто*. Свободен. Свободна! Я всё сказала.

Макс как соскочит! Как заорёт благим матом:

— Страх потеряла?! Ах ты, тупая самка! Из какого дерьма я тебя вытащил, вспомни! Кто ты была, ничтожество?!

Сашка тут же подпрыгнула, повернулась к нему вполборота. В эту секунду полетел кулак в лицо. Была готова, увернулась. Хорошая ученица. Ушла от прямого удара и врзала в ответ. Попала.

— Да как ты смеешь, паскуда! Убью!

Вдарил под коленную чашечку сбоку с доворотом, чтоб и боль нестерпимая и равновесие потеряла. И сразу — захват шеи, но Сашка успела руки подставить, захват получился неплотный. Осталась одна возможность — не раздумывая, вцепиться зубами в предплечье. Не упустила шанса: во рту сделалось солоно.

Макс предпринял попытку стряхнуть — куда там! Тогда он резко опустил руку и сбил её ударом в затылок. Зажал рваную рану. Кровушка — кап, кап...

— Я тебя... Я тебе... — остановился, оскалился мёртвой улыбкой, — я тебе дочь изуродую. До конца дней своих будешь смотреть на калеку и казнить.

— А вот это ты зря сказал! Не оставил выбора. Либо ты, либо я. Земля двоих не вынесет. Тронешь ребёнка — выгрызу тебе сердце.

— Это правда. Меня убить можешь только ты. И скорее всего так и будет... Это война!

— Я много чего потеряла. Страх — не самое ценное! Мне жаль тебя, Ермаков, или... кто ты там на самом деле. Ты не способен получать ни удовольствия, ни радости от жизни. А знаешь, почему? Потому что тебя реально не существует. И воевать с тобой — не буду. Сражаться — это признать, что существуешь, что значим. Это как у Горького, помнишь, Луку спросили: Бог есть? «Верить — есть, не верить — нету. Во что веришь, то и есть». Так вот: я в тебя больше не верю, значит, никакого Макса Ермакова не существует.

Повернулась и пошла прочь, точно знала: за спиной никого нет, только горка мокрого песка...

Глава 5

Теперь нужно было объяснить с Андреем. А это гораздо тяжелее... Он всё время молчал. Не упрекал, не спорил, не требовал. Другим становился... Перестал петь. Вообще. Не шутит, не улыбается. Между бровями горестная складка залегла.

А Сашка? Что Сашка... Одна большая Вина. Только изменить ничего не в силах. Может, путь этот ей положено до самого края пройти?..

Куда ни кинь — везде клин. Это она забросила семью, она измывалась над любящим человеком, она увиливала от ответственности за дочь. А то, что голос потеряла? Кто виноват?!..



Эх!

С чего начинать разговор? Мысли путались. А, будь что будет!

Муж был на кухне. Готовил обед. Дуня рисовала рядом. Увидев мамку, взвизгнула и кинулась в объятия. Андрей сперва осёкся, а потом просто погладил её голую голову и тяжело вздохнул.

Истомина отпустила ребёнка и, собравшись с духом, силло начала:

— Андрей, выслушай меня, пожалуйста. Думаешь, сошла с ума? Имеешь полное право. Да, именно так я и вела себя последние годы... А ты всё терпел и терпел... Не понимаю, почему. Надо было вышвырнуть меня, как самую паршивую дрянь.

— Я люблю тебя.

— Волосы отрастут, ерунда. Знаешь, Андрюша, что страшнее всего? Это то, что я действительно потеряла разум и не отдавала себе отчёта. А как только безумие отступило — оно ж как шоры, видишь ограниченно, — то обнаружила... Как сказать?... Нет, я не оправдываюсь. Мне надо вслух это проговорить. И вот... как очнулась, так ужаснулась! За это время ухитрилась всё разрушить: себя и мир вокруг.

Андрюшенька, я, правда, не могу рассказать тебе всё, что понаделала. Поверь — это такие колоссальные ошибки, такие непростительные грехи, что вернуться к себе прежней просто так не получится. Видишь ли, пошла на поводу у гордыни и заблудилась...

Данность на сегодняшний день блестящая! Твоя милая девочка — наводчица, сводня, лживая тварь. Не сомневайся, так оно и есть. А посему, чтобы всё исправить, а я действительно хочу это исправить, мне надо для начала искупить вину. Заплатить. И только потом буду пытаться очиститься от всей этой погани. Понимаешь, душу очистить. Вернуть себя себе. Я так выпачкалась, что даже ребёнка ко мне близко не подпускай, как к заразе, как к чуме!

И главное, чтобы вернуться в семью и на сцену, необходимо... Не сердись... я ухожу... Как правильно сказать? Не от вас ухожу, а к вам. Точно знаю, что должна сделать. Мне нужно на Пидан. Это моя личная последняя битва за себя.

Обнял:

— Всё обойдётся. Верю. Ты сильная. Возьми магатаму, пусть частичкой буду рядом. Я умею ждать. Саш, люблю тебя...

Глава 6

Она металась у обочины... Голосовать — не голосовать? Ну, остановится машина и что? Надо ж водителю объяснить, куда ехать, а она смутно представляет, в какой стороне гора. Глупое положение... Стоп! Глупых положений не бывает, бывает глупое отношение к проблеме. Значит, она должна успокоиться, расслабиться и ясно представить цель: хочу на Пидан. Точка.

И тут видит: по трассе несётся полста третий. Облезлый ГАЗ бряцал, тренькал, дребезжал. Алекс повернулась, провожая взглядом грузовик. Мотор плюнул гарью, волоча за собой пылюку... Отъехав метров пятьдесят, бортовая резко тормознула и, пятясь, поравнялась с Алекс. Дверца крякнула.

— Куда?

Истомина ошалела:

— Я хотела... — Вспомнила: нельзя просить Мир, нужно приказывать. — Мне надо на Пидан. Срочно!

— Садись!

Саша запрыгнула на потёртое в буграх сиденье. За баранкой сидела женщина из породы «мужичка». Крепкие плечи, закопчённые руки, волосы пегой щёткой, обветренные губы суровой нитью. Кожа на лице грубая, пористая. Маска — не лицо. Синий комбинезон, рубаха нараспах — пуговицы, похоже, поотлетали давным-давно. Грубые ботинки. Несмотря на грозный вид, Сашке она понравилась. Спокойная, надёжная, простая, как силикатный кирпич.

Через лобовуху Истомина смотрела только на дорогу. Серый язык разбитого шоссе, казалось, обрывался на вершине очередной сопки и вываливался в следующую долину. Горбатый ландшафт чуть укачал Саньку. Мысли повыскакивали на



колдобинах, собственная дрожь вошла в резонанс с грохотом и тряской, наступило какое-то отупение...

Женщина достала пачку «Беломора», закурила, протянула Истоминой: угощайся. Та, тоже чиркнув спичкой, глубоко затянулась.

— Может, выговориться надо? Валяй, не стесняйся. Я — Марта. Простая шофера.

Новая знакомая басила со сжатыми зубами. Губы шевелятся, а зубы сцепились, будто магнитом. Слова сухие, безжизненные, как опавший лист.

— Хм-м! Почему вы взяли меня везти в такую даль?!

— Не знаю. Настроение бывает. Сажусь, и по газам. На душе легче. Зачем на Пидан приспичило, не спрашиваю. Туда случайно не ходят. Значит, надо тебе. А мне что, мне лишь бы — вперёд. Люблю, знаешь, волю. Чтоб простор кругом.

А ты раньше бывала там? Нет? Ну, хоть читала про это место? Слухи-то про Пидан разные гуляют... Магическая гора. Опасная. Чего только не брешут! И будто человек там летучий в расселинах прячется. Дух белой женщины охраняет хороших людей. А верховный жрец, говорят, говнюков не пускает, с горы сталкивает. Китайцы верят, что под горой спрятано озеро живой воды. Охраняют его, будто бы, стражи — спящие големы. Страшные — ужас! Только воду ту волшебную никак не найдёшь, тайные лабиринты любого заблудят. А на вершине вроде кристалл какой-то стоял инопланетянский... Куда делся, неизвестно. И лягушки там каменные ночью оживают...

Помолчали. Марта опять заговорила:

— Хочешь анекдот? Лезет чукча на дерево. Русский ему: «Зачем лезешь?». Тот: дескать, измерить хочу. Русский удивился, говорит: дык спили и замерь! А чукча: «Не-ет! Тогда в длину будет, а я хочу в высоту».

Марта:

— Вижу, ты одна, без проводника, идти задумала. Спальник вижу, а чего ещё у тебя там в рюкзаке?

Александра раскрыла мешок:

— Куртук, нож, спички, верёвка, фонарик, фляжка с коньяком, хм-м... носки.

Муж подложил...

— Нормально. Хлеба возьми. — Протянула буханку.

— А ты вообще — кто?

— Я-то? Никто. Божий человек.

— Буддистка?

— Не, ну... Может, и буддистка, конечно... или... христьянка какая. О! Православная, наверно. А может и нет... Или ещё как... Верю, да и верю себе. Какая разница?! Боженка-то один...

Глава 7

Марта заправски крутанула баранку, и они съехали с трассы вправо. Дорога лежала через деревню Лукьяновку. На Сашин вопрос: «Почему на улице нет ни души?» — женщина ответила: «Некогда им шляться, работу справляют».

Дальше машина запетляла по лесной дороге. Начался настоящий аттракцион — рытвины, колдобины, ямы, ухабы. Сашку кидало из стороны в сторону. Шваркнулась пару раз головой.

— Э! Ты крепче держись! Видал, какой хайвей! Тут не только всё вспомнишь и забудешь, тут все грехи с тебя осыплются — штаны вымажешь! — и загоготала низко, гортанно: — Бу-га-га! В эти «джунгли» только УРАЛы да ЗИЛки добираются — отличная техника. По-оберегись! У-ух!

«Проскакали» мимо двух безлюдных пасек. Бортники уже закончили сладкий сезон, увезли своих тружениц-пчёл на зимовку. Часть дороги шла по руслу высохшей речки, дно которой было выложено гладкими, почти белыми камнями.

Всё-таки хорошо, что новая знакомая сделала Сашке добряк: подвезла прямо до тропы, где начинается восхождение, иначе пришлось бы Истоминой пилить от деревни до места. А там не меньше трёх часов хорошего хода.

— Слазь, приехали! Вперёд и с песней.



Попрощались по-мужски: пожали друг другу руки. Грузовик развернулся, фыркнул и умчался.

Саша топталась на месте. Вокруг лес пестрит, как флагами на митинге. Кроны красные, жёлтые, оранжевые, зелёные, и только она вся в чёрном, как обгорелая спичка. И вообще, в последнее время только чёрные шмотки носит: от носков до кепки.

Вот стоит Сашка, думает: эх, взлететь бы на вершину горы какой-нибудь вороной. Чёрта с два! Сперва, конечно, поскочет пару часиков блохой, а потом придётся ползти по этому каменному динозавру...

Ну, гора и гора... Чего, Истомина гор не видела? Всю юность лазила с родителями и друзьями. Родной Чимган, весёлые Карпаты, крымский Ай-Петри. А тут стоит, трепещет. С чего? Всё это мифы да легенды. Эх, морочат людям головы.

Ну чего встала, как вкопанная? Лезь уже!

Вот речка — в низине широкая, мелкая, смиренная. И абсолютный штиль, ни дуновения. И тишь. Новым годом пахнет. И тёплая трава. И живая листва — ах, ты ж! — зашелестела вдруг, зашевелилась, завертелась воронкой, без ветра. Там и тут образовались крошечные смерчи, и подхватили они сухие травинки, мелкий мусор, прутики, щепки, и покрутили всё это добро на одном месте. И посвистело что-то совсем рядом и угомонилось без следа... Начинается!

И пошла Александра дальше по распадку, незаметно для себя всё выше и выше. И ни с того, ни с сего «Марш энтузиастов» забарабанил у неё внутри:

*Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!*

И зацокали в голове какие-то нелепые речёвки, типа: «Кто шагает дружно в ряд? Боевой отряд девчат. Сильные, умелые, дуры переспелые».

И речушка менялась, чем выше — тем уже. С грохотом ломала она упругие струи об острые камни. Кидалась водопадами между пёстрых валунов в небольшие лужи-заводы, а нахулиганившись бежала дальше, к деревне, прочь от горы и от Саши. Так шумно стало вокруг, и даже свои мысли Сашка перестала слышать. Топать с каждым шагом становилось всё тяжелее и тяжелее...

А тропа изгибалась, горбатилась, сжималась с боков. И косматые кочки, и папоротники, и багровые корни цеплялись за берцы. Спотыкали, путали, не давали проходить. И старый дуб шлагбаумом преградил путь, срок ему пришёл: издох и грохнулся, теперь валяется и кормит дряхлой плотью новую жизнь — не обойти, не перепрыгнуть. Пришлось перелезть.

Внезапно Истомина остановилась, чтоб получше разглядеть чумовое дерево: как такое может быть?! Оно оседлало корнями булыжник, будто орёл вцепился когтями в гигантское яйцо. Чудо.

И компания ёлочек потянула Сашке лапки, мол, привет. А надменный тис отвернулся, будто знает, что реликтовый, оттого и фасонит. Ствол тонкий полированный, а меж иголок — ягоды, похожие на калину. Не висят, а будто приклеены к веткам.

И внутри у Истоминой всё убыстрилось, а движения замедлились. В лёгких разгорелось. Сознание чуть смешалось, она оглянулась — и вскрикнула. Что такое? Предметы будто озлобились и поменялись местами. Дуб ощерился обломанными ветвями, как боевой гаран. И, главное, он теперь справа лежит, а был слева. И валун, вон тот ржавый, на другой стороне оказался.

Санька аж присела от страха. Вот-вот, именно этот страх и придётся побороть. Кончай дрожать, соберись, оглянись ещё раз. Оглянись!

Тьфу ты, померещилось...

А дальше пошли заросли багульника сплошняком. Он-то почему сейчас расцвёл? Конец сентября на дворе! Ну, вот же терракотовые листочки, сиреневые уставшие цветы — ни с чем не спутаешь. А земли не видно: дебри. Жалко ломать, а пройти негде. И запах насыщенный, медовый, хоть жуй... Ноги до земли не достают, идёшь по жёстким веткам, как по пружинистому каркасу. Упасть бы, да и остаться на ароматном багута навсегда...



А река с каждым метром меняется: пороги, пороги. Вода бурлит, брызжет, моет ступени к невидимому Храму. Зачерпнула пригоршней — ключевая, ледяная, хлебнула — ух! — хороша! Пьёшь, и пить охота. И воздух пьяный — голова кругом.

И опять застучало сердце колоколом, гулко, с оттяжкой, и видение появилось: неясный силуэт. Вон мелькнул. И вдруг, будто резкость навели, видит знакомую фигуру. Разум поплыл: перед ней — она сама. Только вся в белом: та же кепка, та же толстовка, те же ботинки, штаны и даже рюкзак белый-белый...

И накрыл ужас, и подкатила к горлу сладкая тошнота. И легла Сашка на землю ничком, и прислушалась к тревогам. Ведь нет ничего страшнее, когда ты сам себе враг.

Сунула руку в карман, нащупала магатаму. Чувствует: запульсировал камушек тёплой волной, будто Андрей за руку взял. Страх попятился и отполз, это придало Саньке уверенности и сил.

Полежала, подышала, подумала и придумала: иллюзия эта — её личный фантом. А идёт рядом, чтоб уберечь, чтоб поддержать, чтоб направить. «Встань и посмотри *этой* в глаза!» И поднялась, и спину выпрямила, и не защищаясь посмотрела в ту сторону, где... И нет никого... И отпустило.

Зашагала вперёд по ущелью до хребта, а дальше — резкий поворот. Перешла Истомина на левую сторону, полезла по отвесному склону. И каждое движение — усилие, и каждый шаг — преодоление.

Вокруг берёзонки приземистые, кустистые, как олени рога, перламутровые. Ни разу в жизни таких не видела. И куда не глянь, всё серость, серость сиротская, только бадан красными пятнами.

А пряткая речушка нырнула вглубь, под самую гору, и грохот её сразу загих будто замер... Тишина воцарилась такая, что слышно, как сердце бухает.

На поверхность остались пятнистые валуны в человеческий рост, покрытые мхами и лишайниками. Она остановилась перед нагромождением. И вдруг отчётливо в этой аккуратной сложенной куче гранита проявились две каменные башки. Отрубленные!словно великаны сложили на этом месте буйные головы. Один — сын Востока. Нос крючком, на глазах повязка, на лице смирение, как перед ликом смерти. И знал он своего палача. И трепетал...

Другой, явно славянин, погиб на излёте, не успел, бедняга, понять, что это конец — начало всех начал. Так и замер с улыбкой.

Спят громадины вечным сном — причуда Божья!

Села рядом передохнуть и корку отломил. Жуёт, про эти странные камни думает: вот горе этой или хоть валунам тем есть дело до меня или кого ещё? Плевать они хотели на твою силу или бессилие. Они знают, что такое «бесконечность»...

Стопы гудят, мочи нет! Всего три часа шла, а горят, как ошпаренные. Колени трясутся от напряжения...

А дальше двигаться вообще невозможно: камни один над другим, гигантскими ступенями, будто нарочно, для трудности, сложены. И подумалось ей: вот так тащишь за руку малыша по лестнице, торопишь, подгоняешь, а ему просто тяжело и страшно перед громадиной, точь-в-точь, как ей сейчас. И нужно терпеливо подождать. Обязательно подрастёт ребёнок тот, и поскачет легко, через три ступеньки. Время нужно... Большое делается маленьким, а маленькое, незначительное вроде, — очень большим и ценным...

А дальше и карабкаться невозможно, надо прыгать.

Саша делает скачок и срывается в трещину меж валунами. Нога соскользнула. Только и успела, что в верхний валун вцепиться. «Счистила» кожу с ладоней. Висит: до дна не достать, глубокая расселина. Солнце бьёт в лицо! Воздуха не хватает... Где воздух-то? А ногу, будто кто держит, не отпускает. Неужели так, раскорячившись, и помру?! И смешно сделалось, и подтянулась на руках, и выбралась...

Доползла до маленькой, кроткой рощи и брякнулась на спину. И не жарко тут, и ветерок... Дыши, дыши скорей!

А дальше ковёр из живых мхов перекатами по камням, перекатами... Лишайники сине-голубые, серо-зелёные. Седые! Дальше белёсые проплешины — курумы — настоящие захватчики давят, давят островки зелени, наползают, душат несчастных...

И видит на треснувшей скале — куст. Висит прямо над пропастью без страха и упрёка, на самом краю. Живучий парень!



Солнце предзакатное глядит на землю через лёгкую пелену. Удивительное, совсем без абриса, пушистое, как недельный цыплёнок.

И вдруг на неё помрачение накатило, отчаянно захотелось взобраться на скалу, на тот чёртов язык, и сигануть вниз головой на острые камни. Чтоб вдребезги, чтоб в крошево... Реально увидела: вот оно, моё «я» разбитое, как банка вишнёвого варенья. И захохотала утробно. Какая молодец, девочка: кувырк, и нет проблем! Заурядный куст и тот вцепился, жить хочет. А ты?..

И отступила от края...

И так тошно сделалось, так противно. Карабкалась, надрывалась, чтоб... И опустилась на колени. И перед мокрым взором, родные картины вспышками. Дунька на руках у Андрея, прижалась к папке, глаза, как у лемура. Руки мамыны в муке. Андрюша в метель под окном роддома. Стоит, за дерево держится, чтоб не снесло, а на нём куртка на рыбьем меху, шапка набекрень.

И слёзы Сашины покатались ещё крупнее...

А вот и она — вершина Пидана перед глазами. Вроде совсем близко, а на самом деле до неё шлёпать и шлёпать. Не меньше двух часов хода. А впереди груды острых камней, осыпи. Мало приятного. Знай смотри под ноги, не оступись.

И вспомнились Карпаты. Был там инструктор-проводник Иванко — живописный гуцул. Песни горланил:

*Иванко, ты, Иванко,
Сорочка вышиванка,
Высокий та стрункый,
Высокий та стрункый,
Ще й на бороди ямка.*

Девоч лапал unbedingt, вино хлебал из бочонка, как воду. И столько в нём жизни было, страсти, юмора, что обожали его все и повсеместно.

Так вот, собрались однажды туристы Говерлу покорять, Сашок тоже подхватила. А как прошли полпути, народ стал упрямитесь, устали люди, мол, дальше не пойдём. Тогда Иванко отломал ветку, обработал ножичком и этой пикой погнался товарищей наверх: гуц! гуц! И смешно и грешно! Острая палка в спину, по попе, по ногам — гуц! гуц! Ну прямо отара овец на перегоне. Так и дошли до верха «покорители».

Вот и сейчас у Сашки зазвенело в ушах: гуц! гуц! гуц! И новый прилив сил, и настроение, и лёгкость в теле: гуц! гуц! гуц!

И похолодало резко, достала куртку. Облака опустились так низко, что, казалось, вот-вот придавят Саньку к земле. И пополз туман, такой плотный, что мир вокруг стал больше походить на море. Зябко в тумане. Состояние — как пьяненькая...

Наконец, вершина — не вершина. Нет её! Повсюду нагромождение здоровенных мегалитов. Между камнями — полянки, густо усыпанные старой хвоей, а кругом деревья-гномы.

Стемнело. Санька развела костерок. Говорят, если в одиночестве, в полном молчании разжигать, если из всех звуков только ясные мысли, то возникает «немой» огонь, даже дрова в нём не трещат. И такое пламя будто обладает священной силой: очищает и восстанавливает ток жизни.

Залезла Саша в спальник, подложила под голову рюкзак и уснула...

Глава 8

Вечная Гора подарила Сашке причудливый сон.

Каньон, куда хватает взгляда, походил на что-то знакомое, очень знакомое... Она призадумалась. Точно!

Будто до самого горизонта настелили шершавую сезаль — ковёр из волокон агавы, а на неё насыпали гигантские кучи тростникового песка: там грубая багасса, здесь мутный lump, снизу жёлтый бастр... Румяные склоны холмов отливают где яркой охрой, где нежным сомоном, от бежевого до густо-коричневого.



То там, то здесь будто наломаны куски арахисовой и подсолнечной халвы. Кое-где виднеются полоски, припорошенные белой пудрой, а вдалеке наплывы слюды — пережжённый московад. Этакое арабское царство Суккар, оттенённое синевой лазоревых небес. И ни души!

На самой высокой вершине стою я — кугуар. Пойманный фазан только раздражил аппетит. Голодно. Уши уловили шуршание внизу, у пыльных кустов. Облизнулась... Мне туда.

И двинулась мягко, на цыпочках, легко и проворно, как умеет только она.

Огромный, ржавого цвета валун на фоне чистого неба.

Над самым пиком десятиметровой глыбы, сперва возникают уши, потом широкий лоб и внимательные глаза. Вот она — морда. Углем обозначены черты: чуткий нос, круглый глаз, смеющийся рот. Дальше появляется мощная грудь и, наконец, массивные когтистые лапы. Вся фигура отливает червонным золотом. Облизнулась! Ловкая, подвижная, грациозно гибкая.

Встала в полный рост, таится незачем: кабан звёзд не считает, всё пятакон в землю. В зарослях возятся пекари, жирок нагуливают. Беспечно хрумкают в своё удовольствие. Сколько их? Пять? Семь?

Пекари — те же свиньи, только помельче. Вкусные! Башка здоровая, клином, шеи нет, глазки — бисер. Как он вообще ими хоть что-то видит? Щетина густая, особенно на затылке, прямо грива. Ножки стройные, хоть и короткие. По характеру нервный, чуть психанёт — зубами лязгает-щёлкает, пугает. А кого пугает? Лягушек!

Что сказать: атака сверху — мой коронный манёвр. Проворный бросок и укус в загривок.

Одна мысль о нежном ливере, и у пумы начинает урчать в брюхе. От предчувствия горячей сладкой крови закружилась в голове.

Минута, ещё минута... Главное — точно всё продумать, каждое движение, а то догоняй потом, беги, как девочка... Нечего тянуть! Сжалась пружиной, чтоб как арбалетный выстрел... И тут...

Пума ясно осознала: что-то раздражает. Не даёт сосредоточиться, отвлекает от охоты. Тонкое чутьё подсказало — запах! Её раздражает тревожный запах. Выпрямилась, повела ушами туда-сюда: вроде тихо... Ничего лишнего.

Острое зрение засекло дымок вдалеке. Постояла ещё... Лёгкий дым резко уплотнился и начал темнеть. Пожар?! Пожар!

Пума пронзительно свистнула. Развернулась в сторону логова. Где детеныш? И, почти не касаясь земли, только чуть отталкиваясь подушечками «пальцев», на полной скорости полетела в сторону огня.

Остановилась, вертит голову туда-сюда: только что здесь играл, хвостик ловил. Нет ребёнка. Неужели... А дым всё ближе, плотнее... И тут её взорвало: рыкнула так, что у самой уши заложило, будто громом громынуло на всю округу.

А и вот он, пятнистая дурашка... Вишь, с мамой в прятки решил позабавиться. Выпучил синие глазёнки: чего, мол, ругаешься? Не сейчас, милый, не сейчас. Лизнула родную мордочку широко, нежно — не сержусь...

Тут её накрыл настоящий ледяной страх.

Этот живой комок шерсти — мой! Хвать за лопатку, как за шкуру! Растопырился синеглазик, лапками дёргает, когти выпустил, защищаться пытается. Пусти, мамка, больно же! Захныкал. Пищи! Пищи сколько хочешь, только терпи, терпи, милый.

Взвилась одним прыжком на вершину утёса. Глянула вниз, а там... по долине... а там... повсюду... Предательница-трава трещит, морщится, полыхает, укрывается чёрным дымом... Ветер гонит и гонит огонь вперёд... Веером, веером лижет — шах... пых... ах... шах... пых...

Со всех сторон предсмертный визг, вопль! Последний крик тех, кого догнал огонь... Спасенья нет! Пламя повсюду... Да! Алые языки вот-вот обнимут смертью... Да!

...Всем существом чую нестерпимый жар... Где воздух? Куда подевался воздух? Всё внутри печёт, грудь распирает... нечем дышать, нечем... Жар! Выгнула спину. Жар-р. Жар-р-р... Мечется с валуна на валун, мечется, мечется...

Горная река — бешенная, яростная, течение суровое. Если сунешься — снесёт... а там пороги... водопады... утёсы... Расшибусь!

Оглянулась... Нет пути назад — только вперёд.

В воду — значит в воду... О, господи, спаси!

Стала посреди бушующего потока. Студёная вода пробрала до костей. Оглянулась: где дом? Пепелище. Нет дома, и никогда не будет... Там — не будет.

Ледяные струи сбивают, пума упёрлась всеми четырьмя лапами. Убить её сейчас можно, сдвинуть — нельзя.

Всё будет хорошо! Надо просто *перейти на другой берег...*

Глава 9

Александра проснулась легко. Вылезла из мешка и села по-турецки. Тишина. Спит ещё серо-синий мир. Туманно. Деревья, камни и всё вокруг неясное, будто размыли карандашный рисунок. Посижу, думаю, дождусь рассвета, узнаю точно, в какой стороне восток. Поёжилась: зябко, влажновато...

А тем временем слева появилась полоса, вроде кто тонкую кисть макнул в воду и слегка помазал. Может, там светило прячется? Да нет! Вот же справа лиловая перистая клякса растекается вдоль горизонта...

Привстала. Не заблудилось ли солнце? Небо блёклое — выцветший ситчик. А белозубый месяц ехидно ухмыляется: мол, ну-ну, солнышко-вёдрышко, жилься, жилься, продирайся сквозь тучи, а я тут сбоку-припёку полнобуюсь.

Смотрит Александра, не отрываясь, в небеса, как бы не пропустить главного. Видит: марево от земли кверху поднимается, медленно, плавно, словно чудо-кит всплывает из океана. Это соседняя гора постепенно проясняется... А как похоже!

Дальше видит Саша: в самой высокой выси облако показалось. Явилось оно неизвестно откуда и повисло вертикально. Прикинулось не чем-нибудь, а огромным эгретом, какой бывает в брачном наряде у самцов белой цапли. Прилетело и застыло. Ещё мгновение... Вспыхнуло, окрасилось розовым пухом фламинго. Какой ангел эту роскошь обронил?

Саня залюбовалась и пропустила момент, когда слева светлая невзрачная полоса изменилась. Из небольшого бледно-кораллового комочка начал распухать шарлаховый пузырь. Он рос и рос, рос и рос, не останавливаясь. Мощно раздвигал туман, давил холод, теснил зазевавшийся сумрак и главное — гнал и гнал все Сашкины страхи.

И, наконец, выкатилось Его Величество Солнце с гигантским румяным нимбом над золотым ликом!

Мелькнула мысль: оно каждый божий день продирается сквозь тьму, не шадит и не наказывает. Просто работа.

Внутри у неё потяжелело и раздвинулось, нестерпимо захотелось петь. Петь так, как не пела в жизни. Она разомкнула губы, вдохнула свежести до звона в ушах. Попробовала давно уснувшие, почти мёртвые связки. Нёбо — куполом. Гортань опустила и...

Попил чистый звук! Незнакомый, совсем не тот, с которым дружила прежде. Сердце в страхе остановилось — пауза — и застучало уверенно.

Голос робкий, как выдох, потом крепче и ярче, и тут пронзительно: «А-а-а!» — крик новорожденного полетел, перекатываясь от камня к камню, отталкиваясь от земли... Ещё и ещё...

Нахлынувшая гармония завертела, поглотила её, что-то лопнуло внутри, разорвало пути. Александра грянула открыто и свободно. Облака расступились, и голос взвился ввысь, к мирозданию, в бесконечность!

Она сияла. Вместе с ней поёт мир!

P.S.

Свет — абсолютная Сила.

Свет — единственная Правда.

Юлия ПИВОВАРОВА

ОТ ВАСИ К НАДЕ

* * *

По телевизору позёр
Всё шутит, но ухмылки скисли.
В твоих глазах исчезли мысли,
Пропали в зеркалах озёр.

И, кажется, тебя уж нет,
Один фантом спешит к театру,
Готовый внутренне к теракту,
Он отправляется в буфет...

Там слышен звук виолончели,
И наливает там коньяк,
Слегка стопарик наклоня,
Весна с улыбкой Боттичелли.

Пыль превращается в пыльцу
И в прибыль — бывшие убытки,
Ведь так идёт печаль улыбки
Её несложному лицу.

Ты потихонечку звереешь,
Встречая взор её прямой,
Тебе не хочется домой
И в зал, где зритель ищет зрелищ...

Ты переходишь на вискарь
И остаёшься жить в буфете.
.....

Шумит оркестр, точно ветер,
И улыбается весна.

* * *

Ещё одно чувство себя изживает.
Под почерком пульса
Пергамент желтеет.
Какой же ты чёрствый, водитель трамвая,
В салоне так пусто.
Никто не жалеет.

Заплаканы дамы
С размазанной тушью...
Вспотевшие хамы,
Сплошное удушье.

Но съеден со вкусом
Счастливый билетик.
Как булочка с маком.
Куда мы приедем?

ЦВЕТМЕТ

Как птички начинают петь,
Взрывает утро их рулада...
Железо, алюминий, медь
Бегут на спирт менять ребята.

Они несутся в частный дом,
Где их приёмщик поджидает.
Довольные своим трудом,
Ждут исполнения желаний.



Приёмщик — медные глаза
И алюминиевые пальцы,
Железным голосом сказал
Ребятам, что они попались.
Что он чужого не берёт.

И что такое «спирт» не слышал,
Что всем пора уйти под лёд...
И на планете стало тише.

Совсем умолкло пенье птиц,
Затихли крики по кварталам,
Лишь только цвет ребячьих лиц
Ещё сверкал цветным металлом.

У ног лежал напрасный труд
Из проводков, обломков, спилов,
А спирт стекал в подземный грунт
Из глаз двух роботов-дебилов.

* * *

Спросили вы: «Откуда госпожа?»
Я — королева Белая горячка
С подземного пустого этажа.
Звучали безымянные мелодии,
То тихие, то громче и страшней.
И огоньки мелькали над ладонями
По стёклам проносившихся теней.

* * *

Вы мне способны нанести урон?
Не может быть! И я скажу вам больше:
Мне торт испёк кондитерский урод,
И починил каблук плохой сапожник.
Невропатолог думал, что он бог,
И потому легко играл по нервам,
Заслуженный и льстивый педагог
Всю ночь учил меня дурным манерам.
В поломанном, обугленном лесу
Мне рассказали о любви к природе,
И думали, что я перенесу
Есенина в испанском переводе.
Но ничего, конечно, не могли,
Ведь были не родня и не начальство.
В мышинный цвет мне красили мозги
И заставляли улыбаться часто.
И в лютую февральскую жару,
И в знойные июльские морозы
Мне никогда не были по нутру
Синоптиков дурацкие угрозы.
И лишь одно мне может навредить —
Ужастики похмельных снов коротких,
Где кошка с головою Нефертити
Подносит близко к горлу алый ротик.

* * *

Меня одно желание замучило,
Только оно особо секретное:
Я бы хотела иметь чучело
Своего участкового инспектора.
Я понимаю, ничего не получится,
Да и расчотается очень скоро.
И потом, из людей не делают чучела,
Тем более из участковых.
Вот другое дело собаки,
Это сколько угодно, не надо прятать.
И все-таки как бы было забавно
И очень-очень приятно.

* * *

Уже пошли подснежники в лесах,
Пушистые, полезли из проталин,
Растаяли снежинки в волосах
И Первомай отметил пролетарий.
Уже сложили мусор во дворах
В специально отведенные пакеты.
Уже сгорели шапки на ворах
И разорались пьяные поэты.
Уже разделись девочки почти
До самых откровеннейших конструкций.
И чурка без особенных причин
Нажрался и валяется, как русский.
И сквозь газон пробился малахит
От легких рук сотрудниц зелентреста,
Но вся зима внутри меня сидит,
Как будто в мире нету лучше места.

* * *

Тишина в вечерней школе,
Парты в крошках, пепси-коле.
На кушеточке пурпурной
Там тепло ночной дежурной.
Голос в радио кого-то,
Кто читает «Идиота».
Попивая свой кисель,
Сторожит мадмуазель.
За горами, за домами
Старый гриб скрипит пимами.
Это дедушка-скрипач.
Вот что, девушка, не плачь!
Ты б ему открыла что ли?
Пусть войдет, отгает в школе.
Говорит вахтерша дерзко:
— Хочешь, дедушка, погреться?
И ответив: «Вовсе нет», —
В помещенье входит дед.
Кожа — грубая кора,
Седина белей, чем вата.

За спиной его игра.
 В этом госте все неправда.
 В этом госте все иначе.
 В этом классе с ним темно.
 Бровь одна другой космаче,
 Зубы — золото одно.
 И зачем на тихий пост
 Я впустила эти зубья?
 Ведь за ним преступный хвост
 Или грязное безумье.
 Голос волка, взгляд совы
 — Не хотите чаю вы?
 — Неохота чаю, дочка.
 Может, можно кипяточка,
 Два прозрачные глоточка, дочка?
 Он не выпил кипяток,
 Вылил в комнатный цветок.
 Он откашлялся в кулак
 И сказал визгливо так:
 — Нет, не стану больше делать
 Я вечерних этих школ,
 Пусть следит за ними демон,
 Я не стану. Дед ушел.
 Полночь в городе настала.
 Села девушка устало.
 Смотрит месяц — по-neneчки.
 Головой качает нечке.
 Раздаются смеха всплески.
 Нету больше Чаушески.
 Звезды вздернуты на рее.
 Хитрый дед у батареи,
 Не прощая ни аза,
 Греет крупные глаза.

* * *

Будет озеро синим овалом
 Неподвижно лежать между рощ.
 Подражая чужим карнавалам,
 В жутких масках мы выбежим в ночь.
 Будут песни с плохими стихами,
 Будет жариться белый олень,
 И, воняя крутыми духами,
 Против света усядется тень.
 Пустят руки по кругу фужеры,
 Озарится зарницами даль,
 Чья-то женщина с комплексом жертвы
 Упадет на картонный алтарь.
 Будет пьяно рыдать облдрама,
 Будет блинчик луны испечен,
 Будет халда расспрашивать хама
 Чёрт-те что и не ясно о чем.
 И твоя чуть живая невеста
 Наконец до тебя дорастет
 И забытым романом «Фиеста»
 Синеглазый накормит костер.

И в кабине воздушного шара
 Вся компания ринется вверх,
 Оставляя на долло клошара
 Недопитый вина фейерверк.

ПИСЬМО ОТ ВАСИ К НАДЕ

Я, к любимой обращенный,
 На бумаге на лощеной
 Начертал тебя пером...
 Так лети, письмо, орлом.
 Прилетишь — в окно впорхни,
 Двери в спальню распахни
 Клювом, лапой и крылом
 И прикинись... не орлом.
 В светлом сумраке рассветном
 Обернись опять конвертом.
 Вот письмо мое в конверте.
 Вот, ошибки мне проверьте:
 «Здравствуй, Надя, я живой!
 Я в системе биржевой
 Тут работаю как вол!
 Крашу стены, крашу пол,
 Режу плитки, клею кафель,
 Пью нектар сердечных капель.
 Год назад под выходной
 О тебе, моей родной,
 Размечтался я ужасно
 И тебя увидел ясно
 Я на улице в толпе.
 Ну, и ринулся к тебе.
 Ты в руках держала зонт.
 Ты была, как горизонт:
 Далеко, легко шагала.
 Я бежал, ты убежала,
 Я кричал, ты не слышала,
 Гордо зонтиком махала.
 Вот и образ твой исчез...
 Оглянулся — дикий лес!
 Вот такие лапы елей!
 В травах желтые каменья
 Светят, словно янтари.
 Птицы, с виду снегири,
 Виснут в воздухе густом.
 Розы вянут под кустом.
 Куст оббит плющом блестящим.
 Занят пением свистящим
 Кто-то вроде соловья...
 Не смутился, Надя, я,
 А, покуривая «Рейс»,
 Углубился в этот лес.
 Тут, конечно, мне досталось!
 Ужас, голод и усталость!
 Десять суток шел, но бог
 На развилку трех дорог
 Все ж помог мне набрести.





Надя, сына покрести!
 Значит, выбор — три дороги,
 Три дороги, ноют ноги,
 Лес да небо — панорама!
 Я пойду, пожалуй, прямо.
 Вышел в поле, там стога.
 Воздух — пенка молока!
 А в стогах тех спят бесстыдно
 Люди голые — все видно.
 Много их среди травы.
 Не добудишься — мертвы!
 Где тут запад, где восток?
 Посредине поля стог...
 Это дьявольские шутки —
 Обходил тот стог я сутки!
 А за стогом, Надя, слон!
 Вот откуда в поле он?!
 Обернулся стог в курган,
 На слоне возник цыган,
 Мой ровесник, хлыщ, воруго,
 Кудри белые, как вьюга,
 Слон серебряный под ним.
 Надя, голосом твоим
 Мне сказал цыган капризно:
 Жизнь — праздник, а не тризна,
 Жизнь — радость, жизнь — вечна,
 Если ты живой, конечно.
 Ты ходил, ты видел дикость
 Леса, неба и травы...
 Пушкин, Дарвин, Чарльз Диккенс...
 Ты их видел, все мертвы.
 Вон ручей, лицо умой,
 Жизнь узнал, иди домой.
 Год прошел, у власти Ельцин.
 Где я был, суди сама,
 Может, мучили прищельцы,
 Может, я сходил с ума.
 Столько мусора и сора!
 В голове моей сарай!
 Я к тебе приеду скоро!
 Только ты не умирай!

ЛЮБОВЬ ЗЛА

1.

Тебя уже не извинишь
 Которой рюмочкой звенишь
 Одна сидит твоя бабёнка
 Кормя красивого ребёнка
 Гребённой волосье сдержав
 Меж двух враждующих держав
 А ты играй моя «Кремона»
 И ты бренчи моя «Музима»
 Не жди любимого мадонна
 Он непорядочный мужчина

Одна змеиная натура
 Ну да шикарная фактура
 Зато бычком прожженный галстук
 Не жди его он проигрался
 Но скучает губная гармошка
 В доме где отгорела лучина
 Где комарик где муха и мошка
 Где не курит любимый мужчина
 Он не курит не курит не курит
 Он не ходит куря по паркету
 И кукушка часов не кукует
 И просвета в окошечке нету
 Только кошечки хвостик сибирский
 Серебрится у ней под кроватью
 И включают огни декабристы
 По всему поднебесному платью

2.

Хуже ты содома и гоморры
 Хуже также огненной геенны
 Что ты собираешь мухоморы
 Ищешь сволочь галлюциногены?
 В женщину бутылками кидаться
 Могут только звери только звери
 Или дети те что из детсада
 Но не ты не ты по крайней мере
 Вон сидит на мертвом гладиолусе
 Лета кислוגубая любовница
 И моя молчит как будто и не в голосе
 Золотая бабочка лимонница
 Интересно чем она питается
 У нее на крыльях пыль китайская
 Не кидайся! Все равно кидается.
 Не кидайся! Больше не кидается.

3.

У девицы шуточки проклятья
 Смех на перламутровых губах
 Она уходит от мероприятия
 И громко дверью хлопает бабах
 Идет. Куда пошла? А что, работать!
 Работать где? Работать, вот и все!
 Живет-то где? На улице Кропоткина,
 Тебя туда автобус довезет.
 А номер? Номер чей? Да у автобуса.
 Автобуса? Автобус номер три.
 Вообще она знакомая оболтуса,
 Вон тот, бежит за нею, посмотри.
 Живет он вроде где-то на Строительной,
 А по национальности чечен.
 А он какой? Вообще-то подозрительный.
 Не ясно только ей такой зачем?
 Криво падает на плечи грива
 Так девица держится как львица
 А за нею движется игриво
 Юноша хмельной и желтолицый.

Ефим ГАММЕР

ИЛИ АДА

Главы из романа

«Каждый день — последний»

1.

Моя тетья Фаня была известной артисткой цирка — *человеком-оркестром*. Она редко бывала дома в Риге, на Аудею, 10. Но каждое ее возвращение с гастролей таило в себе какую-то неожиданность. В начале марта 1953 года она привезла с собой целую компанию лилипутов, работавших в ее музыкальном номере.

Я уже подпольно курил, сам ходил за покупками и считал себя вполне взрослым человеком, разве что малость не вышедшим ростом. Как-никак «кровный брат» Победы, родился вместе с ней весной 1945 года, в день и час начала наступления на Берлин — шестнадцатого апреля в четыре часа утра. Поэтому компания лилипутов сразу же приняла меня за своего. Самый старший по возрасту лилипут, назвавшись, с шарканьем ножки, Петей, раскрыл серебряный портсигар, набитый длинными, как пальцы у пианиста, папиросами, и на равных, хотя он был в галстукe, а я в свитере, спросил:

— Куришь?

Я кивнул и скосил глаза на тетю Фаню. Она только улыбнулась, ничем не унизив мое достоинство перед коллегами — отутюженным *Петечкой* и щебетуньями-девочками в бальных ситцах.

Я закурил, начал выдыхать дым через нос и небрежно, с легкостью бывалого курильщика, пускать его кольцами.

— А ты можешь, чтобы кольца сцепились между собой? — по-приятельски поинтересовался старший по возрасту лилипут Петя.

— Могу! — обрадовался я возможности посоревноваться с ним в мастерстве, втихую обретенном в нашем «штабе», расположенном в погребe.

И мы соревновались, горячась, подзуживая друг друга, пока его подружки-лилипуточки накрывали на стол. Они бегали взад-вперед по комнате с тарелками, чашками и рюмками, и их распушенные платья, обшитые перламутром и бисером, гоняли в воздухе дичайшие иноземные ароматы, от которых ноздри мои забились так, что за неделю не отчихаешься.

Каждый раз, пробегая мимо, лилипуткам надо было задеть меня рукавичком или локоточком. А если они не задевали, то посматривали на меня. Посмотрят — и хиханьки. Как мне казалось, они завидовали той ловкости, с какой я управлялся с табачными колечками. Мне при этом завидовали, а Петечку — поддевали. И он, проигрывая мне, краснел от досады и делал вид, что не обращает внимания.



— А теперь бороться! — распетушился он вовсю, потерпев поражение в первом раунде. И как был — при галстукке, в отглаженном бостоновом костюме с шелковым цветком в петлице — бросился на меня.

Я в то сопливо-счастливое время запросто укладывал на лопатки двух-трех мальчишек зараз, так что и с Петей справился без осложнений. Минута — и он уже барахтался подо мной на полу и даже на борцовский мостик не мог встать: хоть голова и была большой, но цыплячья шея не выдерживала нагрузки.

Кружащие по комнате лилипутки восторженно аплодировали мне, буравя воздух с шумом набегающей на мол прибрежной волны. Самая отважная из них, родом, как она заметила, из сказки Андерсена, приколола мне на грудь пахучую, пропахшую ее платьем искусственную гвоздику.

— Вот, Фимуля, тебе подарок от юной красавицы Ады. Или Дюймовочки, если по-сказочному.

И нараспев, подобно конферансье, она объявила с ликованием:

— Чемпионат мира по французской борьбе завершен! В этом состязании сильнейших атлетов земного шара победил юный Геракл из Риги!.. Еще не женатый... Девки, берегись!

Насчет девок она загнула, девчонок я никогда не обижал. А уж бороться с ними было курам на смех, свои же пацаны заклюют. А в остальном... Но про остальное некогда было даже подумать. Дюймовочка подняла мою руку над головой, и мне стало жарко от прикосновения ее холодных и гладких пальцев.

— Чемпионом мира признан несравненный победитель Ивана Поддубного, Черной Маски, Джека Потрошителя и нашего несравненного Петечки... — она потянула паузу, — Фима! Оркестр, туш!

Тетя Фаня сыграла туш на своем аккордеоне, стареньком «Хоннере».

Обиженный лилипут Петя оправлял на себе костюм и сконфуженно разглядывал пол, словно что-то потерял. А потерял он звание лучшего борца на свете. Брызжащая смехом Ада прижимала меня к груди, как заморского принца, и целовала мое изворотливое лицо, но в губы попасть не смогла — не дался. Ее подруги, «хиханьки» да «хаханьки» в ситцах, выкроенных из радуги, тянули на все лады:

— Влюбилась! Хи-хи!

— Какая пара, просто загляденье! Ха-ха!

— Такой кавалер на улице не валяется! Хи-хи! Не алкаш, не подзаборный!

— Петечке теперь отставка! Довоевался! Ха!

На последнее «ха» лилипут Петя отреагировал очень болезненно и, не пожав победителю руку, угрюмо поволокся через хоровод насмешниц к столу, где уже были приготовлены графинчик, колбаска, селечка в укропчике и маринованных кружочках лука, а еще — торт и конфеты.

Ада-Дюймовочка шепнула мне на ухо — и туда сумела прилепиться с поцелуйчиком:

— Пошли, Фимуля. А то Петечка все вкусненькое съест, он такой.

Она потянула меня к столу и усадила на высокий стул возле себя, напротив Пети, который на самом-то деле никого не обедал, потому что он больше пил, чем ел. Так что мне достался самый лучший кусок торта, с шоколадкой в креме и глазком варенья. Язык проглотишь! Язык я, конечно, не проглотил, но красавица-лилипутка из моей головы выпорхнула.

Как оказалось, она действительно выпорхнула из-за стола — к своему саквяжку, чтобы разыскать для меня фотокарточку.

— Вот тебе фото, — сказала она, вернувшись к тарту. — Фото с моим автографом. На память о нашей встрече.

Я взял у нее фотокарточку. На ней Дюймовочка была изображена на крышке рояля, в полный рост, с миниатюрным аккордеоном. Про обещанный автограф я не спросил — постеснялся. И еще какое-то время ждал его, пережевывая вкуснятину. Мне представлялось, что *автограф* — это либо скроенный точно по моей детской руке кастет, либо настоящий женский браунинг с полной обоймой. Но ничего такого я так и не получил.



Разочарованный, я постарался побыстрее улизнуть во двор, где Жорка, Вовка, Толик и мой двоюродный брат Лёнька ждали рассказов из цирковой жизни. И я им рассказа-а-ал!..

И о том, как заломал старшего лилипута Петю, которому, страшно подумать, за тридцать, и он без разрешения родителей курит.

И о том, что меня провозгласили чемпионом мира! И это — без всяких отборочных соревнований с другими лилипутами.

И о том, что два куска торта не съешь, а вот лимонада можно влить в себя с избытком — пол-литра за три приема! Поэтому взрослые и бегают в магазин за *поллитровкой*, чтобы выпить ее на троих.

И о том, что в меня влюбилась без памяти настоящая, а вовсе не сказочная Дюймовочка — цирковая артистка, получающая за свой маленький рост и детские шалости зарплату в рублях, а не жалкие сорок пять копеек на молочное мороженое, как мы!

А потом мы все изучали фотографию красавицы-лилипутки и соображали, стоит ли принимать ее в наш отряд. Я в нем был командиром, у меня даже были погоны — капитанские, шитые золотом, со звездочками. Их я раздобыл у своей соседки Юльки, чей дядя вышел из капитанов в майоры и отдал ей для устройства кукольного домика офицерские погоны с одной полоской по центру. Майору, разумеется, погоны с одной полоской были не нужны, ему подавай две полоски. Но нам и с одной полоской очень даже пригодились. Четыре звездочки — капитан. Это, конечно, я — командир отряда. Три звездочки — старший лейтенант. Это, понятно, Лёнька — мой заместитель. Две звездочки — лейтенант. Это... это все остальные: Вовка, начальник штаба, Жорка, начальник разведки, Толик, начальник по тылу. Даже Боря — мой младший брат и капельмейстер нашего военного оркестра из магазинных дудок и водосточных труб, по которым можно стучать палками. Последним в лейтенанты был произведен, чтобы не завидовал, Эдик, мой адъютант и главный бомбардир. В нашем отряде была и своя медсестра — Анька. Тоже лейтенантского звания и при погонах.

На общем совете мы решили перевести Аньку из лейтенантов в сержанты и из медсестер в санитарки, чтобы поменяла золотые украшения на бумажные, а ее погоны преподнести лилипутке Аде и пригласить ее к нам в штаб. Например, старшим писарем. Потому что сами мы еще не тянули на эту должность. Младшим писарем могли быть. Но старшим... Нет, старшим никак у нас не получалось. Учились в первом классе, писали с ошибками...

Предложение о переводе медсестры в санитарки всем очень понравилось. Всем, кроме Аньки.

— Нужны ей ваши лейтенантские погоны! — выскочила она из штаба после нашего голосования и побежала домой реветь.

Это как-то встревожило нас и заставило задуматься.

— Может быть, Анька права, — начал осторожно Жорка. — Может быть, этой Дюймовочке вовсе и не нужны лейтенантские погоны. Капитанские бы ей. А то подумает о нас — пожадничали пару лишних звездочек.

— Не подумает! — заартачился я. — Я ее лучше знаю!

— А если подумает? Для чего ей мозги дадены? Посмотрит на тебя — у тебя четыре звездочки. Посмотрит на себя в зеркало — у нее две. Вот и подумает — пожадничали.

— Да ты рехнулся! Два капитана на один отряд — это много!

— Не скажи, — встрял Лёнька. — Получается, тебе будут петь песню «Капитан, капитан, улыbnитесь», а ей эту песню петь не будут. На самом деле, песня про улыбку важнее ей, чем тебе. Ты — мальчишка, обойдешься и без улыбки. Понял, куда клоню?

— Ну... не знаю...

И вновь мы уставились на фотокарточку, определяя по артистическому виду Ады, достаточно ли ей лейтенантского звания. Смотрели, смотрели и обнаружили на обороте такие слова: «Фимуля, родной, приходи ко мне завтра в гостиницу “Метрополь”, номер 269, за приготовленным тебе сюрпризом. Твоя Дюймовочка».



Надпись всех потрясла. Ни одной ошибки, почерк красивый, как у нашей учительницы Евдокии Евгеньевны из первого «А» шестьдесят седьмой семилетней школы, что возле набережной, на берегу Даугавы.

— Ух ты!

— Первый сорт!

— Сюрприз — не хухры-мухры!

— Пойдешь, не сдрейфишь?

— Пойду! — с ознобом в теле сказал я.

— Пойдет, пойдет! Он у нас такой! — поддержал меня Эдик. — Будет и на нашей улице праздник — своя собственная артистка. Такой нам цирк заделает здесь! Халявный! Без всяких билетов по пять рублей за галерку! Чтоб им костей не собирать, этим паразитам из цирковой кассы!

Эдик настолько увлекся идеей бесплатного дворового цирка, что на следующий день приволокся ко мне с утра пораньше домой, чтобы я не проспал важное деловое свидание. И даже проводил меня до гостиницы, опасаясь, что я в последний момент струшу и смогаю удочки.

Но я не струсил и очень даже храбро, чувствуя мурашки по всему телу, поступался на втором этаже в дверь с нужным номером.

Ада встретила меня в пышном раскидистом платье, сшитом будто бы из лепестков роз, как, впрочем, и было положено, если допустить, что она родом из сказки. Девушка была в лакированных лодочках на высоких каблуках, почти вровень со мной ростом, и дымила пахучей сигаретой, вправленной в длиннющий мундштук с золотым ободком. Не откладывая шалостей в долгий ящик, она одарила меня у порога поцелуем и потянула к журнальному столику, усадив на диван, после чего распечатала бутылку армянского коньяка с генеральскими звездами на горлышке, увенчанную медным хоботком-краником, и стала тыкать этим хоботком по рюмочкам-невеличкам — кап-кап, буль-буль.

— Позволим себе, Фимуля, удовольствия жизни, — говорила она.

Я на всякий случай кивнул.

— Коньяк? Сигарету?

Я пригубил коньячок, делая вид, что разбираюсь в его аромате, и задымил сигаретой.

— Bravo! Bravo! Брависсимо! — захлопала в ладошки Ада-Дюймовочка. — Мой чемпион! Мой Фимуля! Твой выход на арену очаровал публику! И публика пьет следом за тобой этот чудесный напиток богов!

Она опрокинула в себя пару капель «напитка богов» и пододвинула ко мне мою рюмочку, все еще наполненную до половины.

— Фимуля, мой чемпион, вот оно, удовольствие жизни! Посмотри сквозь стекло на свет... Видишь?

— Что?

— Видишь, сколько в нем солнца?

— В свете?

— В коньяке, Фимуля! В рюмочке, мой чемпион! Пей до дна, смейся, паяц, над разбитой судьбою!

Смеяться мне не хотелось, но коньяк я все-таки выпил, чтобы меня не сочли за маменькиного сынка. При этом обжегся расхваленным солнцем, живущим в «напитке богов», и понял, что после второй порции я вовсе сгорю или потеряю голову. Поэтому, чтобы не забыть, зачем пришел, решил приступить к предложению должности старшего писаря в нашем штабе.

— Тетя лилипутка...

— Называй меня... *моя несравненная Дюймовочка*. А то обижусь.

— Моя Дюймовочка...

— Несравненная!

— Несравненная моя Дюймовочка!

— Вот так, Фимуля, мой чемпион! Продолжай...



И я продолжил, горячно убеждая Аду, что лейтенант — это очень высокое звание. Не меньше мясника на базаре. Но мясник — всегда мясник, даже если он старший мясник. А лейтенант может стать капитаном, майором, подполковником...

— А потом и полковником! — разохотилась артистка, дыхнув мне в лицо коктейлем из духов, коньяка и сигаретного дыма.

Я выложил на журнальный столик офицерские погоны с одной линией и двумя серебряными звездочками и отодвинул подальше бутылку коньяка с генеральскими звездами, чтобы они не затмевали мои маленькие, но удаленные.

— Фимуля! — разволновалась Ада, вымарывая меня поцелуйчиками в красный цвет — не оботрешься потом! — Я вся твоя! Принимай меня хоть в оловянные солдатки! Только поклянись, что до гроба будешь моим капитаном и проложишь мне курс к счастью. О, мой командир!

— До гроба не получится... — смущенно ответил я. И объяснил: — У нас в штабе каждый раз выборы-перевыборы командира. Сегодня я командир. Командир — до Нового года. А там, глядишь, переизберут. И будет твоим командиром Вовка с третьего этажа. Или Эдик из дворницкой.

— Фу, мой капитан! Не хочу Вовку! Зачем мне этот детсад с третьего этажа...

— Тогда — Эдик! Эдик Сумасшедший — не детсад!

— А сколько ему натикало, вашему придурку?

— Ему уже четырнадцать. Но он не придурок, он сумасшедший.

— Конечно, конечно... если водится с вами.

— Со старшими он тоже водится. Уголь и дрова из сарая таскает. А те его награждают.

— Деньгами?

— Деньгами, да! И одеждой, и бульоном с курицей. А Гога, старший сын тети Фани...

— Нашей?

— Да-да! Вашей — в цирке, и нашей — дома... Так вот, Гога наградил Эдика Сумасшедшего настоящим немецким крестом с офицерским мундиром в придачу. Нашел в подвале, под завалом дров. И теперь Эдика иногда еще кличут Фрицем. Но он на это не обижается.

— Совсем сумасшедший?

— Он просто из такой семьи... Папа сидит в тюрьме за воровские дела, старший брат Леха — тоже вор-крадунист, сейчас в бегах. Но Эдик не придурок, тетя лилипутка.

— Моя несравненная Дюймовочка! — поправила Ада, погрозив пальчиком.

— Моя несравненная Дюймовочка! — эхом подхватил я, лишь бы она не обиделась.

Лилипутка не обиделась, навесив мне поцелуйчик прямо на нос. И пока я почесывал кончик носа, снова наполнила рюмочки.

— Фимуля! — сказала она и поднялась с рюмкой в полный рост на своих каблучках-шпильках, вся похожая в цветном раскидистом платье на космическую бабочку, случайно залетевшую с Марса в земное окно. — Мой рыцарь, ты выполнил сокровенное желание девичьего сердца. И, как в сказке, трижды назвал меня несравненной Дюймовочкой!

— И что из этого? — любопытствовал я.

— А из этого вытанцовывается то, о чем мечтает любой русский богатырь...

— Меч-кладенец?! — ахнул я, полагая, что догадался, о каком сюрпризе, обещанном на фото, идет сейчас речь.

— Фу! Меч... Все у тебя острые предметы на уме... Порезаться ведь можно...

— Я воевать хочу!

— А любви?

— Меня и так все любят.

— Женщины?

— Мама, тетя Фаня, тетя Софа, ее подруга Полина... да, женщины. И папа любит. И бабушки-дедушки, и братья-сестры... А что? — я недоуменно уставился на лилипутку.



— Ничего. Папа-мама — ничего. Я не ревнивая. А что за подруга Полина?

— С ней мы познакомились в кино, когда я был совсем маленький. В пять лет.

— Кто — мы?

— Я, папа Арон и тетя Софа. Мы пошли в кино, на детский сеанс, в «Айна». Сели на первый ряд: Софа, папа Арон и я. Я был у него на коленях. А рядом с нами села Полина. Но мы еще не знали, что она Полина. А она не знала, что я мальчик. У меня были кудри до плеч, а одет я был в платьице моей сестры Сильвы — она из него уже выросла, а я в него как раз помешался. Полина и говорит моему папе: «Какая красивая девочка!» А папа отвечает: «Это мальчик!» Полина говорит: «Не может быть!» А папа задирает мне подол платья и говорит Полине: «Смотри!» Полина посмотрела...

— И что сказала?

— Сказала: «Ах! Я уже умираю!»

— Фимуля! Рыцарь мой! Я тоже умираю от тебя! — радостно воскликнула красавица-лилипутка и, выпив немного из рюмочки, одарила мое ухо пахнущим коньяком поцелуем.

Попалась же мне Дюймовочка... Непонятливая... как не знаю что! Все бы ей играть и превозносить меня... Нет бы поговорить прямо, по-мужски, как офицер с офицером. А то... Как ни крути, я все же произвел ее в лейтенанты — это надо уважать, а вместо поцелуев научиться хоть чему-нибудь серьезному.

— Не называй меня больше Фимулей! — попробовал я переключить ее на серьезный лад.

— Чего так?

— А так! Мы с тобой теперь офицеры, а не мадам.

— Но я ведь офицер в юбке!

— Все равно, в юбке ты или нет. Но тебе надо забыть о поцелуях. И учиться другому.

— Чему, если не секрет?

— Не секрет! Ты честь когда-нибудь отдавала?

— Теперь уже не упомянешь... Впрочем, приходилось. Но всего один разок. По молодости лет.

— При чем тут молодость лет? Я тебя спрашиваю, умеешь ли ты отдавать честь?

— Когда?

— При встрече с офицером — старшим по званию.

— И как часто?

— Каждый раз, как встретишься.

— Каждый раз, Фимуля...

— Не называй меня Фимулей!

— Каждый раз, мой командир, не получается.

— А ты научись!

— Учеба в этом деле не помогает.

— Встань у зеркала и потренируйся!

Я подошел к зеркальному трюмо и показал, как это делается, лихо вскидывая пятерню к виску:

— Вот так! Вот так отдают честь по-солдатски.

— Ах, по-солдатски, — липипутка изобразила понимание и, подойдя к трюмо, синхронно со мной стала бросать два на маникюрных пальчика к подкрашенной тушью брови. — По-солдатски и у меня получается...

Довольный тем, что научил ее чему-то путному, я поинтересовался, сколько времени ей потребуется, чтобы перебраться со всеми манатками из цирка к нам в штаб. Пусть не на всю жизнь, а хотя бы на разовые гастроли.

Ада, поперхнувшись, поспешила к бутылке, чтобы разлить свое алкогольное солнце по пузатым рюмочкам.

— О, мой командир! Какой ты прелестный!

Ну что тут скажешь...



— Я ничуть не прелестный, — огорченно растолковал я барышне. — На мне — спроси у мамы — ботинки горят. И кулаки — посмотри, разуй глаза! — вечно в ссадинах и с содранной кожей.

— Все равно — ты прелестный. А что возвышенных слов не понимаешь, это прямо беда с тобой. Давай договоримся... Я буду под твоим руководством учиться отдавать честь, а ты будешь учиться возвышенным словам.

— Я понимаю только язык приказов! — процитировал я какую-то книгу о войне.

— Я вся твоя! Приказывай! — поспешно откликнулась красавица и протянула ко мне руки, как будто она снималась в фильме о любви.

Но приказать я ничего не успел. Дверь внезапно открылась, и в наш гостиничный номер вбежал старший лилипут Петя, весь из себя гневный и распаренный.

— Пьете? — наморщил он нос-пуговку.

Дюймовочка шаловливо погрозила ему пальчиком с лакированным ноготком красного цвета.

— Петечка, роднуля... Как ты некстати!

Действительно, Петечка выглядел так, что сразу бросалось в глаза — явился он некстати. Растрепанный, неряшливый, с галстуком, сползающим на бок, он был весь в перламутровых пятнах на лице.

— Глаз да глаз за тобой нужен! — плаксиво, с повизгиванием кричал он, размахивая у самого уха маленьким кулачком. — Я о тебе доложу, пьянь морозная! Какой из тебя теперь «человек-оркестр»?

— У нас выходной! — оправдывалась лилипутка. — Забыл по вредности характера?

Но Петечка ее не слышал и нес свою околесицу:

— На рояль не взберешься со своей музыкой! Рассыплешь все инструменты! Свалишься — на смех публике!

— Не свалится! — попробовал я вступиться. — Она выпила всего десять капель. Сам считал!

— А ты молчи, герой-любовник!

Вот ведь шкура — и похвалил, и уязвил в одно касание. Герой — да, согласен. Но при чем здесь любовник? Он в морду захотел?..

Петечка и впрямь захотел в морду.

— Гадина! — закричал он. — Я к директору цирка пойду!

У меня перехватило дыхание — не продохнуть, и коньячное солнце, попавшее в кровь, вскинуло меня на ноги и бросило к обидчику.

Раз! Я вмазал Петечке по челюсти.

Два! Засадил по солнечному сплетению.

Три! Различил в проеме двери встревоженную физиономию Эдика, моего провожатого, и позвал его на подмогу.

Четыре! Это уже Эдик Сумасшедший принялся дубасить лилипута, который был ему, как и я, по плечу, а то и ниже.

Петечка прикрылся руками.

— Нельзя! Нельзя! Синяк посадите!

— Мабуть, отмоешься! — бормотал Эдик Сумасшедший, орудуя кулаками.

— Публика меня засмеет!

— Не засмеет! — добавил я синьки на его скуле.

— Хватит лупить! Я твоей тете Фане доложу!

— Ах ты, ябеда какая! — разъярился я. — Я тебе сейчас дам! До конца дней своих будешь выступать с подбитым глазом!

И дал, чтобы слово не разошлось с делом, после чего Петечка кинулся к двери, и был таков. За ним выскочил и Эдик, чтобы догнать и поддать по загривку.

Я захлопнул дверь, потоптался у порога, не ведая, что предпринять, а потом, ни к кому не обращаясь, сказал в пустоту:

— Вот... кулак ободрал. Крепкая голова у этого Петечки.



— Голова крепкая, да дураку досталась, — отозвалась Ада, подбежала ко мне, схватила посеченный в схватке кулак, подула на него коньячным ароматом и, повернув, наговорила в него, как в микрофон, всякое разное — поди разбери, что там было для меня, а что для себя:

— Петечка... Все мои несчастья от него... Ревнивец, старый дурак! И кляузник, каких свет не видывал! Фигу ему покажи — сразу бежит докладывать. Что теперь будет... Что будет...

— Ничего не будет! — успокоил я лилипутку. — Если будет — еще раз ему двину! Пусть хоть весь свой цирк позовет на выручку. Я ведь тоже... Думаешь, я только Эдика могу позвать?!

— О, какой ты расчудесный вызволитель! Я тебе буду век благодарна за эти слова!

— Хватит! — потупился я, опасаясь новой порции незаслуженных похвал. — Я просто хороший, вот и все...

— Нет, не все! Не все! Ты не просто хороший. Ты... приносящий счастье. Это я сразу поняла. И еще поняла, что ты...

Тут в гостиничный номер моей лилипутки вбежали ее подружки, такие же миниатюрные принцессы манежа. Вбежали и затараторили:

— Петечка!..

— Да!..

— Помчался как ошпаренный...

— Жаловаться? — спросила Ада. — К директору цирка?

— Никогда не догадаешься!..

— Не томите мне душу! Куда?

— В загс помчался! Разводиться!

— Так я и дала ему развод — дураку этому! — со внезапной твердостью сказала Дюймовочка с металлическими нотками в голосе.

И мне сразу стало ясно: долго она у нас во дворе в лейтенантах не продержится. У нее есть все шансы быть выбранной в командиры нашего отряда и заполнить мои капитанские погоны. А еще я подумал, что невзначай вляпался в какую-то совершенно взрослую историю. Настолько взрослую, что взрослей, пожалуй, не бывает. Как в кинофильмах «до шестнадцати лет». Бочком-бочком я потянулся к двери, чтобы выскочить за порог и дать стрекача, но Ада, уловив мои тайные мысли, схватила меня за рукав.

— Пстой... Пстой, Фимуля! Ты ведь забыл, зачем приходил. Вот, получи...

Неужели обещанный сюрприз?.. Но сюрприз оказался не кастетом и не женским браунингом, а обычной контрамаркой. Таковую же я мог получить и от тети Фани, но без лишних испытаний для желудка и кулаков.

Я принял зелененькую бумажку, церемонно поклонился принцессам цирка и рванул в коридор, к Эдику. А позади вздыхали:

— Фимуля — мой верный поклонник... Ни одного представления не пропускает!

— А если предложить ему выбрать — или цирк, или Ада?!

— И не сомневайтесь!

— Что выберет? Что?!

— «Или Ада»!

— Но цирк... интересней, — съязвила одна из подруг Дюймовочки.

— Зато Ада — на всю жизнь!

— А цветы дарит?

— И цветы дарит. И вот это кольцо подарил.

— Но это ведь кольцо — обручальное.

— А он иначе не может. У него серьезные намерения. Он даже свидания назначает у загса.

— Вот-вот... Он сейчас там — у загса — встретится с Петечкой... и опять набьет ему морду.

— Не набьет! Петечка предусмотрительный. Он пошел к другому загсу. Куда пошел Петечка, осталось покрыто мраком. У тети Фани спрашивать было неохота, а выяснять напрямую отношения с лилипутом — тем более.

2.

Народ плакал.

Бабушка Сойба, мама моего папы Арона, причитала:

— На кого ты нас оставил... Вся твоя милиха — штинкер, курва, гонев! Лишь бы не было погрома!

Я сидел с бабушкой Сойбой у радиоприемника, слушал траурную музыку. И расшифровывал услышанное: *милиха* — власть; *штинкер* — вонючка, стукач; *гонев* — вор. А что такое *курва*?.. Но спросить у бабушки я не решился. Вдруг слово неприличное, какое детям знать не положено... И получится, что я подслушиваю. А я не подслушиваю, я сопереживаю — лишь бы не было погрома!

Между бабушкой и мной разрыв во времени в семьдесят пять лет. Она родилась в тысяча восемьсот семидесятом году, через девять лет после отмены крепостного рабства в России, а я — в год победы над фашистами. Ее представления о погроме почерпнуты из личного опыта, а я даже книжек о погромах не читал, их не держали на полках ни в одной библиотеке. Но эта стихийная неприятность представлялась мне в виде наблюдаемого из окна разрушенного трехэтажного дома, прежде ювелирного магазина. С ним вышел форменный *погром* после прямого попадания бомбы, и здание рассыпалось до основания, остался целым только лестничный пролет до второго этажа. Под цементной пылью и землей сохранились искорки чужого счастья — фиолетовые бисеринки, янтарные бусы и разноцветные шарики.

А еще я вспомнил, услышав переживания бабушки, что она появилась на этом свете раньше товарища Сталина на девять лет, в один год со своим будущим мужем Фроимом. С ним она познакомилась у колодца, как Ревекка, предназначенная небом в жены Исааку. Но у дедушки с бабушкой любовная история разворачивалась не совсем по библейскому сюжету. В Библии говорится, что Ревекка напоила водой у колодца слугу Елиезера, посланного Авраамом, отцом Исаака, отыскать подходящую невесту среди родни в Месопотамии. А в нашем семейном предании рассказывалось о том, что Фроим — голубоглазый парень, ищущий работу по жестяному делу в местечке Ялтушкино, остановился в жаркий день у колодца, чтобы избавиться от жажды. И молодая красавица, вышедшая навстречу утомленному страннику, предложила ему испить водицы. Наклонив ведро, Фроим увидел на поверхности воды, как в волшебном зеркале, отражение девушки, которое принимало на фоне дыма и пожара все новые и новые черты, пока не превратилось в старушечье. И вдруг он понял: это его суженая, с ней он не расстанется до самой смерти. Так и получилось.

И вот сегодня, 9 марта 1953 года, когда товарища Сталина хоронили, они были все еще вместе, при полном согласии и надеждах на будущее, если не будет погрома. Дедушка молился в синагоге, бабушка причитала у радиоприемника, а я думал.

Сейчас я думал вот на какую тему: если бы они не встретились в конце девятнадцатого века у колодца, то в середине двадцатого я не появился бы на свет, а много раньше — мой папа Арон, как и все его старшие сестры, от Мани до Фани.

По именам я помнил всех, но в глаза почти никого не видел. Эти тетеньки с мужьями и детьми жили далеко от Риги — в Одессе, Баку, Кировобаде, Биробиджане. И никого не было в Москве, чтобы лично проводить товарища Сталина в последний путь. А он, как это наглядно показывало настенное панно в магазине «Детский мир» на улице Ленина, был лучшим другом детей. Одетый в форму генералиссимуса, он держал на руках счастливого ребенка, а другие дети, плотно окружив вождя, восторженно смотрели на его белый китель со звездой Героя Советского Союза.

Мне, когда я заходил в «Детский мир», чтобы поглазеть на недополученные подарки, хотелось тоже как-то затесаться в группу этой детворы. Но с меня портреты не писали и командировку в Артек на встречу с товарищем Сталиным не выдавали, потому оставалось только уповать на волшебный случай, который позволит когда-





нибудь и мне взглянуть на живого Сталина, пусть даже уже положенного в гроб. И случай не припозднится...

Когда стало известно о смерти вождя и учителя, среди пацанов распространился слух, что Тимур набирает в свою команду смельчаков для поездки в Москву, чтобы попасть в почетный караул у Мавзолея. Набор производился, как гласил все тот же слух, в «Детском мире», на первой ступеньке лестницы, ведущей наверх, у стены с живописным панно, под которым была полукруглая арка — проход в отдел верхнего и нижнего белья, включая пальто и костюмы.

Я немедленно помчался в магазин, где посетителей в этот пасмурный для страны день почти не было.

— Мальчик, что ты стоишь и мешаешь проходу? — обратилась ко мне продавщица, полагая, что я торчу тут без определенной цели.

— Жду.

— Чего?

— Попутчиков.

— Каких еще попутчиков?..

— Для поездки в Москву. Хоронить товарища Сталина.

— А билеты у тебя есть? — Видя, что я замялся, она добавила: — Его и без тебя похоронят! Иди к маме... К маме! — повысила она голос.

— Подождите, тетя! Сейчас придут ребята.

— Людям некогда, а ты мешаешь, — разволновалась продавщица. — Двигай в детский отдел милиции, это рядом. И поспрашивай там насчет попутчиков. Всех, наверное, уже арестовали.

В двух шагах от «Детского мира» и впрямь располагался детский отдел милиции. Поход туда был связан с большим риском. Вдруг там спросят:

— С какими это воровскими задумками ты шастал между прилавков, вызывая подозрение у добропорядочных граждан?..

— Я искал компанию тимуровцев, чтобы по-человечески похоронить товарища Сталина.

— По-твоему, положить его рядом с Лениным в Мавзолее — это не по-человечески?..

Как тут выкрутиться?! Любой ответ не показался бы разумным человеку в милицейских погонах. Вместо того чтобы стоять в почетном карауле у Кремлевской стены, я мог попасть в детскую колонию, куда не слишком рвался, потому что, как говорили наши соседи, там не перевоспитывают, а прививают дурные наклонности, с которыми потом дорога в тюрьму.

Сведения эти наши соседи брали не с потолка, а с биографии Лёхи, виртуоза-карманника, находящегося в бегах. Выглядел он коротышкой лет на четырнадцать, но был гораздо старше и, как у нас говорили, *баловался пером*, но не в смысле писания художественных произведений для серии «Мои первые книжки».

— На мне кровь, я ничего не боюсь! — говорил Лёха и нагло хапал с кона копейки, когда мы играли в «чику», брэнча медяками в глубинах кармана, куда без ножика, приставленного к горлу, или пистолета было не добраться. Ножик у меня был. Был даже однозарядный пистолет, найденный на чердаке. Но связываться с Лёхой желания не появлялось.

С тем и жили, песни пели... А теперь, когда наступил час похорон товарища Сталина, но попрощаться с ним случая не представилось, необходимо было в качестве кандидата в пионеры проявить участие. Но не траурной миною на лице, а маршем. Инструмент дома присутствовал — маленький аккордеон на сорок басов фирмы «Вельтмейстер», весь из себя перламутровый, голубого отлива, на пять регистров. С исполнением же была проблема. Я умел бегать пальцами по клавиатуре, но только по нотной подсказке, а тут требовался виртуоз, чтобы не испортить торжественную минуту, когда все стоит по стойке «смирно» и взволнованно смотрят на небо, будто там вот-вот зачирикает душа друга всех детей, вождя и отца народов.

В школе нам говорили, что души нет. Но мы не верили, потому что у каждого она была, нередко посасывая под ложечкой и требуя от нас переживаний за всякие



глупости, вроде насованной в чернильницы крошки из карбида или натасканных из школьного сарая в класс мокрых дров, дымивших при растопке так, что нам устроили внеочередную переменуку.

Словом, имея душу внутри себя, мы готовы были стоять в траурном молчании сколько угодно времени, лишь бы один раз посмотреть, как она выглядит в натуре, когда улетает на тот свет. И такую возможность нам предоставили партия и правительство 9 марта 1953 года, отправляя товарища Сталина на побывку к Ленину в Мавзолей, а его душу — к богу, о котором нам, досрочно готовя в пионеры, говорили, что его нет. Получалось, в школе его нет, а дома он есть, — как же так?..

Оба мои дедушки, Фроим и Аврум, водившие меня в синагогу по еврейским праздникам, утверждали, что наши учителя ошибаются. И кому мне было верить?..

Если верить дедушкам, то пятерку не получишь, а маму вызовут на собеседование о том, как же плохо она печется о воспитании малолетнего сына, пуская его в синагогу. Если же верить учительнице, тогда нет смысла молиться рядом с дедушкой по субботам в нашей квартире на Аудею, 10.

Получается, нужно было самому убедиться на практике — есть бог или нет его. И это было возможно только сегодня, когда душа товарища Сталина полетит на тот свет, где ее должны встретить на самом высшем уровне. Главное, чтобы *самый главный* не отфутболил на встречу сталинской души какого-нибудь зицпредседателя. Все же покойный — генералиссимус, как Суворов. И главный специалист по языкознанию, как Даль. И отец народов, и учитель всего прогрессивного человечества, и лучший друг детей, не считая их родителей — рабочих и крестьян, пожарников и лесников, летчиков и моряков, включая Кожедуба, трижды Героя Советского Союза, и дядю Стёпу, сигнальщика с линкора «Марат».

Какой же должна быть его душа, чтобы взглянуть на нее — и не ослепнуть... На солнечное затмение можно смотреть через закопченное стеклышко. А на душу генералиссимуса?.. Кто сможет подсказать?..

На примете у меня в данный момент никого не было, кроме Ады из циркового ансамбля лилипутов под управлением тети Фани. И я пошел к ней в гостиницу «Метрополь».

Дюймовочка меня поняла не сразу, но выручить согласилась.

Для нашего эксперимента требовалось проиграть на аккордеоне траурный марш из подвала-штаба и посмотреть на небо, где угрюмо бродили тучи, чтобы между ними, там, где сверкает молния, различить нечто яркое, солнечное и воздушное, чего, по рассказам классных наставников, не существует в реальности. И Ада справилась на репетиции с музыкальной частью задания, сыграв в своем гостиничном номере траурный марш с такой щемящей выразительностью, что дежурная по коридору, как я убедился, глядя в замочную скважину, замерла у своего стола по стойке «смирно» и не колыхала даже взволнованной грудью.

Такой успех требовал громовых оваций, но у меня было всего две ладони, и я поаплодировал тихонько, чтобы не спугнуть скорбную тишину. Однако пообещал ей овации, когда соберу весь отряд — Лёньку, Жорку, Вовку и Толика, на прослушивание ее сольного выступления.

Одно было плохо: в своем номере Ада играла на гостиничном пианино, которое, по известным причинам, в подвал не перетащишь. Сначала обвинят в воровстве, а потом припишут хулиганство в общественно-значимом заведении. И первое, и второе в наши планы не входило. Нужен был аккордеон...

Рабочий инструмент Ады находился в закрытом из-за траура цирке, мой — дома, когда я не ходил с ним на уроки к Доре Цезаревне. До него, упакованного в походном футляре под роялем «Тресселт», было ближе...

Аду я сначала сопровождал по крутой лесенке в штаб — пусть освоится в незнакомой обстановке. И рванул на этаж за «Велтмейстером», не позабыв прихватить и найденный на чердаке однозарядный револьвер, чтобы в нужный момент дать салют.

Кто бы мог предположить, что штабное помещение отряда в наше отсутствие облюбовал Лёха-карманник, находящийся в бегах. Бегал бы себе и бегал, чего не



сиделось за решеткой... Но нет, он ждал удачи, которая пожаловала в образе красавицы-лилипутки, умеющей срывать аплодисменты под куполом цирка. Честно признаться, Ада ему была до лампочки, его интересовали денежные знаки, которые за нее можно было получить.

— Кошелек или Ада! — сказал он, когда я спустился в подвал с аккордеоном «Вельтмейстер» на груди. Футляр я оставил под роялем, чтобы домашние ничего не заподозрили, а рукоятку револьвера сжимал в кармане пальто.

Плененная, но отнюдь не связанная по рукам и ногам принцесса цирка фыркнула:

— Bravo! Брависсимо! Что за реплика... Какой артист в тебе умирает, хотя мозг у тебя кот наплакал...

— Заткнись! — погрозил ей кулаком матерый уголовник, не вышедший ростом. — Не шей мне мокрое дело. Никакой артист тут не умирает. А будешь выступать — твои мозги вышибу!

— Снимай штаны, знакомиться будем! — ядовитая дразнилка, популярная и среди девчонок нашего двора, чуть ли не довела обидчика до помрачения рассудка.

— Я тебе башку оторву!

— Этого тебе не позволит мой капитан!

— Какой капитан?

— Мой командир!

— Я спрашиваю — какой еще капитан?! — взорвался Лёха, побаиваясь милиции, где тоже водились капитаны.

— Фимуля!

— Как он капитан?.. Какой командир?..

— Я ему честь отдавала!

— Нашла чем хвастаться! — вздохнул с облегчением. — Лучше бы монет насыпала... Мне деньги нужны.

— Мой командир не позволит тебе получить такие жизненные удовольствия!

— Чья бы корова мычала... — Лёха резко повернулся ко мне, поднеся кулак к самому носу: — Гони монету, пионером станешь к лету!

Дьявол его задери! Чем бы таким врезать в ответ...

— Лошадь, ложку и жену никому не отдаю! — отчеканил я по-солдатски, вспомнив, что на Первой мировой войне, по рассказам дедушки Аврума, подобным приловьем отвечали его сослуживцы, если у них просили что-нибудь, кроме махорки.

Лёха, не врубившись в исторический экскурс, продолжил гнуть свое.

— Сколько стоит чистоганом твой игральный аппарат? — спросил он подчеркнуто равнодушно.

— Так я тебе и сказал, нашел дурака!

— Ну?

— Гну!

— Не гни без надобности, коли по фене не ботаешь.

— Не помню.

— А дважды два — помнишь? — глумливо усмехнулся тюремный сиделец.

— Это если сложить или умножить? — подловил я недоучку вопросом на засыпку.

Вопрос поставил вора в тупик. Он задумался, и на его лбу заиграла жилка, наливаясь синим светом, как мигалка у входа в рентгеновский кабинет. Было понятно: умножить два на два Лёха не был способен.

— Побаззали — и ладно! — сказал он нарочито сердито, скрывая смущение. — Я в ломбард не пойду с музыкальным аппаратом, а тебя посылать без паспорта — сплошные убытки. Так что решай, последний раз предлагаю: кошелек или Ада!

— Или Ада! — поставил я твердую точку. — Кошелек все равно нет.

— А это мы сейчас проверим! — дернулся ко мне Лёха, намереваясь пошарить по карманам, но напоролся на выставленный в живот ствол и зашмыгал носом, мгновенно став похожим на малолетнего несмышлениша.

— Уходи, Лёха, мы здесь будем музыку играть!

— Концерт по заявкам трудящихся?.. За наличман?..
— На похоронах бесплатно.
— Кого хороним?
— Отца народов, вождя и учителя.
— Троих чохом? В одной братской могиле?
— Тут вообще не могила. Тут штаб! И мы будем сидеть и ждать под музыку, когда на небе появится душа.
— Кого? Отца народов?
— Вождя и учителя.
— И ради этого сидеть? Нашел охотника срок мотать за бесплатное кино! Ты мне лучше нарисуй картинку с его лица — ту, что на четвертной.
— Я не художник.
— А она? Или она «я не папина, я не мамина, я на улице родилась, меня курочка снесла», а?
— Бэ! Имей понимание: для Фимули я — несравненная Дюймовочка! — возмущенно откликнулась лилипутка и, игнорируя угрозы Лёхи, приняла у меня аккордеон. — Не хочешь слушать — катись барашкой по сивым овражкам. И не мешай моему капитану смотреть на небо.
— А что, — засомневался Лёха, — в самом деле... там душа появится?
— Заткнись! — взвел я курок револьвера.
Любимица цирковой публики распахнула меха, подхватив мелодию, льющуюся во двор из окон вместе со словами «Вы жертвою пали в борьбе роковой», но откуда они доносились, с какого этажа, я не различал, до рези в глазах всматриваясь в наплывающие облака в поисках души товарища Сталина...
Где же она? Где?!.
Души я так и не увидел. Только услышал, как Лёха с безнадеегой в голосе произнес:
— Гиблое это дело...
Он сиганул по ступенькам, чтобы оказаться подальше от меня и моего пистолета, наверх к выходу из подвала и заслонил тощим задом небо, может быть, именно в ту самую секунду, когда по нему возносилась душа вождя...



ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТА

Р а с с к а з

10.10.2011.

Несерьезное это дело — вести дневник. Тем более — для меня, серьезного человека, пса государева. Но я вполне осознанно создаю новый файл в своем нетбуке и называю его «Путь»: сегодня открылась реальная перспектива моего карьерного роста, и я хочу запечатлеть каждую приближающую меня к цели дату, пометить все до единой ступеньки этой крутой и полной опасностей лестницы.

Итак, с чего все началось... С горя. У моего папы, предельно серьезного человека, недоброжелатели отжали все угольные пласты. Для меня это означало катастрофу, ведь папа помогал Генералу, а Генерал помогал мне. Именно он выдернул меня из далекого Новокузнецка и взял в министерство. Именно он назначил меня старшим следователем, присвоив через год важняка. Круто звучит — *важняк!* А тебе едва за тридцать...

Ощущением безысходности накрыло меня после получения вести о папином разорении. Что делать?.. По департаменту поползли слухи: Генералу я больше не интересен, при первой же моей оплошности он выпихнет меня отсюда. Признаюсь честно, я настолько был потрясен всем этим, что решил подать рапорт об отставке и рвануть за билетом на Казанский вокзал.

Но хрена вам лысого, коллеги! Слухи о моей ненужности оказались чрезвычайно преувеличенными. Генерал, мой Генерал, был в высшей степени порядочным человеком.

— Расти тебе пора, Дима. Засиделся в следаках. Нужно готовиться к руководящей работе. Не против?.. — эти слова я услышал в его кабинете. В роскошном кабинете с высокими потолками и обилием портретов президентов и министров на стенах (некоторые были в париках). Услышать такое в столь солидной компании было для меня большой честью.

Не помню, что я ответил. По-моему, вообще ничего. Распирающие душу чувства лишили меня дара речи.

— Знал, — сказал Генерал, — что ты согласишься. Заходи ко мне завтра, обсудим подробнее.

Вот какой человек! Вот она — честь офицерская! Генерал с моим отцом окончили Волгоградскую следственную школу, на курсе молодого бойца одной шинелью укрывались... Разве могло быть иначе, разве мог такой человек бросить сына своего друга...

Или у папы новый угольный пласт открылся?..

11.10.2011.

Да. Мда-а-а...

Сходил к Генералу. Обсудили.

Говорил Генерал много, толково, красиво. Он умеет говорить красиво, мой Генерал. Что-то про кардинальное изменение в политике государства. Про борьбу с коррупцией. Про новый эффективный менеджмент. Цитаты из последнего выступления президента приводил. А общий смысл сказанного был таков — для того, чтобы стать начальником, нужен подвиг. Засветиться необходимо где-нибудь, в приказик попасть.

Оно и понятно. Предположил, что включают в бригаду по расследованию дела очередного олигарха (у нас многие, в таких делах поучаствовав, чины и звезды получили), или по олимпиаде что-нибудь. Однако я ошибся в расчетах. Бригада — да. Но другая. По расследованию хищений бюджетных средств бригада. В Дагестане, Ингушетии и Чечне.

Приплыли.

12.10.2011.

Чечня по непонятным причинам отпала. Но от этого мне не легче. Два месяца! Два месяца без Москвы! И без водки.

Я сижу за кухонным столом и смотрю в московскую ночь. С восемнадцатого этажа видны яркие потоки машин. Сегодня пятница. Все в этих машинах... или почти все — они едут по клубам и ресторанам бухать. Я хочу быть с ними.

Вижу себя в клубе, пьяного и расхристанного. Настоящий русский богатырь, метр девяносто пять, сто тридцать кэгэ. Галстук на боку, лицо красное, пою в караоке рэп. Телки липнут как мухи на мед. А что?.. Жену выгнал — слишком много претензий: дома не ночую, внимания не уделяю... Отшил конкретно:

— А ты не охренела? Сама знала, за кого выходила. Я важняк, у меня дел невпроорот. Внимание у лошка какого-нибудь ищи. Живите с ним в шалаше и воркуйте. Не держу!

Вещички собрала, на такси к маме умчалась. Москвичка! Коренная, с понтами.

Так что отжигал я конкретно. Но доотжигался: у папы залет, у меня — вылет. Послезавтра. В 10:00.

Как я без всего этого?..

Пичалька.

14.10.2011.

Вылетели с Чкаловского.

Военный пилот, оглядев мое пальто от Версаче, покрутил пальцем у виска. Это, наверное, от зависти.

Перед вылетом я выпил три таблетки закрепляющего средства. Всякое может случиться — волнуясь.

17.10.2011.

Три дня не вел дневник — и это объяснимо: до дневника ли...

Четырнадцатого прилетели в Ханкалу. Пятнадцатого — в Магас.

По городу везли в машине с тонированными стеклами. Спрашивать, бронированная она или нет, я не стал, постеснялся. Ехали быстро, улиц толком не рассмотрел. Попавшие в поле зрения дворцы и мечети начали постепенно вносить в мою душу успокоение. Напрасно.

В день приезда нас шадить не стали. Гостиница, чемоданы в номер — и на совещание. Вел совещание наш бригадир, полковник Пронько, участник боевых действий. По ним, боевым действиям, полковник, по всей видимости, соскучился. Обещал порвать всех расхитителей. Утверждал, что бояться нам здесь нечего, вся бригада под круглосуточной охраной. Работаем в тесном взаимодействии со Следственным комитетом и ФСБ.

Не дай бог, сказал, узнаю, что филоните и укрываете преступления... Не хочется писать, что он обещал с нами сделать. Ужас.

После совещания я сразу же рванул в туалет. Прошло все махом, успешно. Потянулся за туалетной бумагой — а нету! Бутылочка с водой есть. Бумаги — нету.

19.10.2011.

Моя тревога о тотальном отсутствии алкоголя в Ингушетии не подтвердилась. На второй день пребывания ингушские менты повели в кафешку в центре Магаса. Как только мы зашли, заведение было закрыто на спецобслуживание. Встречали тепло. Шашлык, лепешки, зелень.

Водка в тот вечер лилась рекой. Река эта брала свое начало, как я понял, в Беслане.

Рядом со мной сидел здоровый ингуш Руслан. Он поглощал водку стаканами и балагурил. Я поинтересовался: как так, ведь ты мусульманин, почему пьешь?

Он расхохотался, похлопал меня по плечу:

— Аллах высоко, брат, — объяснил он, наполняя водкой мою рюмку, — а здесь вообще закрыто все, даже окна... Не увидит!

Включили магнитофон, заиграли «Черные глаза». Я выпил седьмую рюмку, приобретенный за неделю пребывания в республике страх выпустил меня из своего плена. Осведомился у Руслана насчет проституток.

— Эй! — донеслось до меня. — Заткнись, дебил!

Это вопил бригадир. Он сидел на другом конце стола, и рожа его была красной от гнева. Как он услышал?.. Да и вообще, с какой стати он меня оскорбляет... Разве можно так ругать члена бригады из Москвы... Гнев овладел мною. Захотелось немедленно объясниться прямо здесь, по законам гор.

Еле сдержался.

23.10.2011.

Бригада мотается по всей Ингушетии. Сегодня в одной станице, завтра — в другой. Один раз чуть не случилось ЧП. Какой-то срочный сигнал, группа рванула в горный аул. Приехали — сигнал не подтвердился. Что это было? Говорят, провокация бандитов. Вызвали, чтобы уничтожить. Но что-то у них сорвалось, что-то им помешало.

В который раз убеждаюсь, что Генерал — хороший человек. Не бросил в меня в топку. Позаботился. Дал, наверное, бригадиру соответствующие рекомендации — без надобности не дергать.

Я три дня работаю стационарно, в полной безопасности. Поднимаю архивные дела с 2006 по 2011 годы. Изучаю и откладываю в отдельную стопочку возбужденные по статьям о должностных преступлениях. Из них выбираю те, что связаны с хищением бюджетных средств. Не тороплюсь, работаю с упоением. Понимаю, что мне это поручено неспроста. Дело не только в том, что меня оберегают. Я вношу свой вклад в саму организацию работы. А кому же этим заниматься, если не будущему руководителю.

Осознав это, я настолько обрадовался, что поделился своими соображениями с престарелой ингушкой, работницей архива.

— Да-да, — закивала она, — точно.

Старуха угостила меня лепешкой с чаем. Сказала, что у нее есть внучка. И если бы не их обычаи, то она бы с удовольствием отдала ее за меня замуж. Потому что я очень умный и серьезный человек.

26.10.2011.

Накаркал. Примчался бригадир, наорал как на собаку. Медленно, мол, работаю. Сегодня же велел закончить с архивом, а завтра выехать в Назрань.

30.10.2011.

Назрань — не Магас. Полнейшая противоположность. Старые, зачуханные здания. Грязища и мрак. Угрюмые лица, жуткие взгляды. Абреки. Смотрят на тебя, а ты не понимаешь, что они о тебе думают. На девок лучше вообще не глазеть. Насчет этого нас строго-настрога предупредили — не надо. Здесь каждый друг другу муж,

дядя или брат жены. Бросишь на кого-нибудь взгляд — позор на весь тейп. А позор смывается кровью.

Вчера вечером были слышны выстрелы. Я спросил у тетки в гостинице — что за дела? Обычные, говорит, дела — или спецоперация какая, или разборки. А может быть, свадьба.

Жутко все это. Автомобилисты ведут себя настороженно. Перед тем как сесть в машины, под капот смотрят. Проверяют, нет ли мины. В каждом прохожем страх, в каждом доме, в каждом тополе. Их здесь много, тополей.

Сегодня местный следак повел нас на обед в кафе. Нас — это меня и моего напарника, Володю Пахомова. Володька — парень прикольный, хотя и крестьянин. Первые дня два говорить с ним было решительно не о чем. Какие у нас могут быть общие интересы? Я — элита. Завсегдатай московских клубов, в том числе закрытых. С Ксюхой на «ты», с Минаевым, друзья у меня в администрации президента, с полпредами не один кальян выкурили. А этот... Колхозан, да и только. Однако пришлось закорифаниться. Командировочка пообтерла — надо же с кем-то общаться.

По пути в кафе проходили через двор. За столом сидели бородатые старики в шапках. Они что-то грызли и цокали языками.

— Товар, — услышал я, — хороший товар...

Мне почему-то стало не по себе. Страшноато как-то стало.

— Какой товар? — спрашиваю. — Рынок рядом, что ли?

Наш провожатый расхохотался.

— Чурка ты нерусский, — говорит. — Это вы — товар!

Пахомов от удивления икнул.

А я пожалел, что не принял перед выходом закрепительное.

— Не ссыте, — сказал провожатый, — шучу.

Я ему не поверил. Пахомов, кажется, тоже.

02.11.2011.

В Назрань приехал бригадир. Давно не виделись. Собрал нас, шестерых следователей, в «ленинской комнате». Разбил на три группы, раздал по делу, расследовать велел в кратчайшие сроки. Три недели — максимум! Мне понравился такой срок. Я прикинул в уме: три недели закончатся 23 ноября. А там и командировке конец.

Нам с Витьком попалось дело заместителя главы администрации станицы Зрянской (название станицы изменено мною в целях конспирации). Дело анонсировал рапорт оперуполномоченного Быкурова. В рапорте говорилось о том, что заместитель главы администрации Махмудов М. Г. крайне негативно относится к органам федеральной власти. По его мнению, каждый уважающий себя вайнах обязан расхищать госбюджет, так как Россия обижает Ингушетию со стародавних времен. Быкуров сообщал, что Махмудов, желая незаконно обогатиться за счет казны, поздно ночью вышел из дома и швырнул в свой старый сарай связку гранат. Сарай взорвался. Ввиду якобы причиненных материальных и моральных страданий, Махмудов подал заявление о компенсации вреда. Ущерб он оценил в пятьсот тысяч рублей. Компенсацию выплатили.

В принципе, само по себе дело было плевым. Главный свидетель уже известен — некто Гагиев. Живет неподалеку, все видел. Адрес в деле есть. Нужно допросить его и еще парочку, предъявить обвинение Махмудову и пнуть дело в суд.

В помощь нам выдали двух оперативников из местного УВД.

04.11.2011.

Как только приехали в станицу, опера выходить из машины отказались. Наотрез. — Нет, — сказали опера, — мы из одного тейпа с ним. Не пойдем!

Матерясь и негодуя, мы с Витьком вылезли из машины, и нас обступили мальчишки. Стали галдеть, махать руками. Я растерялся. Уж слишком активно они жестикулировали. А вдруг гранату бросят или камень метнут? Но ни того, ни другого не прилетело. Просто один из пацанов дернул меня за рукав и продемонстрировал здоровые, но желтые зубы.

Неподалеку на лавочке под тополем дремал какой-то дед. В руках у него была высокая палка, конец ее был загнут калачом. Когда крики ребятни сделались слиш-



ком громкими, старик встрепенулся, поправил на голове засаленный картуз, что-то закричал — и пацаны бросились врассыпную.

— Дедушка, а где здесь Гагиев живет? — спросили мы.

Старик оценивающе взглянул на нас, поднялся со скамейки.

— Пойдемте, — сказал старик, — покажу.

Он шел очень медленно, опираясь на клюку. Проходившие мимо селяне почти-точно ему кланялись. Иногда старик останавливался и подолгу беседовал с ними, жал руки. Во время таких остановок Витька заметно нервничал.

Наконец наш провожатый остановился у двухэтажного кирпичного дома с зелеными воротами. Старик картинно поднял палку над головой и несколько раз ударил ею в калитку. Окружающее пространство наполнилось металлическим грохотом и собачьим лаем.

Калитку открыл небритый абрек неопределенного возраста. Взглянул в удостоверение, кивнул, повел в дом. Проходя по обильно засаженному грушами и яблонями двору, я увидел две высокие клетки. В них бесновались огромные немецкие овчарки.

В просторном холле за круглым столом сидели семеро. Почти все были одеты в камуфляж. Двое держали на коленях автоматы. Остальные сидели без оружия.

— Зачем приехали? — спросил седовласый тип в черном пиджаке.

— Нам нужен Гагиев, — ответил я, — Аслан Рамзанович.

Седовласый нахмурился и недружелюбно буркнул:

— Я — Гагиев Аслан Рамзанович. Чего надо?

Я принялся сбивчиво объяснять: рапорт уполномоченного... Махмудов... самоподрыв сарая... свидетель...

Гагиев слушал внимательно, не перебивая. Лишь жуткий взгляд его блуждал по моему лицу. Когда я закончил, он покачал головой.

— Меня допрашивать вы не будете. Дам человека вам. Человек все как надо скажет.

Я не знал, как реагировать. Случись такое в Москве, понятно, поставил бы наглеца на место, но здесь... Посмотрел на Пахомова. Увидел бы его сейчас впервые, подумал бы, что он глухонемой.

Гагиев достал из кармана блокнот, вырвал из него лист и, послонявив карандаш, что-то написал.

— Вот тебе свидетель. В Магасе живет. Все знает.

Я положил бумажку в нагрудный карман рубахи.

Обратно ехали с кортежем. Джип без номеров с тонированными стеклами тащился за нами по горной дороге. Я, сидевший рядом с водителем, не отрывал взгляда от зеркала заднего вида. На одном из участков дороги из джипа показался ствол автомата. Грянула очередь.

— Салют, — прокомментировал водитель.

На въезде в Назрань джип развернулся и поехал обратно.

Я почувствовал себя оплеванным.

05.11.2011.

Сегодня выходной. Бригадир свалил в Махачкалу, а где остальные, нас совершенно не интересует.

Свидетеля будем допрашивать в понедельник. Машина заказана. Пахомов делегирован мною в Осетию, за водкой. Как только он уехал, позвонила жена. Моя, естественно. Она звонила и раньше, раз семь звонила, наверное. Один раз я ее послал, потом просто не брал трубку. В воспитательных, так сказать, целях.

На этот раз решил ответить. Не знаю, почему. Последние малоприятные события посеяли в моей душе зерна сентиментальности.

Жена спросила, как я здесь, почему не отвечаю, не случилось ли со мной чего-нибудь худого... Ага, так и сказала — *худого*.

Ответил, что все нормально. Обстановка напряженная. Над головой свистят пули. Но я держусь молодцом. Как и положено.

Она сказала, что восхищена мной, что я герой, что любит и очень сожалеет о нашей ссоре. Спросила, прощаю ли.

Я ответил — подумаю.

Зарыдала.

— Ладно, — сказал, — хрен с тобой. Успокойся. И больше так себя не веди!

Это я не в том смысле, чтобы она не ревела. Имел в виду — не выкобенивайся больше.

06.11.2011.

Утром появился опер и сказал, что машина подана, пора ехать в Магас.

Стали собираться. Я вытащил из кармана бумажку, решив уточнить фамилию и адрес. На бумажке была накарябана фамилия самого известного здешнего чиновника.

Пахомов заржал и сказал оперу, что у нас изменились планы.

Мы выпили бесланской водки и легли спать.

09.11.2011.

Вечером Пахомову позвонил земляк-омоновец, пригласил на день рождения. Опять, кстати, в Магас. Пахомов умотал, я отказался. Зря.

Ночью, страшной ингушской ночью, я услышал стук. Подумал — во сне. Нет, стук продолжался.

Оторвав голову от подушки, я увидел в окне человека. Точнее, голову его, туловище и руку. Как он забрался сюда? По лестнице? По водосточной трубе?..

Нащупав ступнями тапочки, укутавшись в одеяло, я прошуршал к окну.

— Кто вы? — спросил я, приоткрыв окно. — По какому вопросу?

— Свидетель, — ответил человек, — хочу дать показания.

Свидетель?.. Какой еще свидетель в три часа ночи?! Мне было не до смеха, но я поразился совпадению — электронные часы показывали 03:00.

— Приходите завтра в отдел! — закричал я так, что чуть сам не оглох, и резко захлопнул окно, рванув рычаг вниз.

Мне стало страшно. Так страшно, как не было никогда. Зачем здесь этот тип? Он же мог запросто бросить гранату, выстрелить — и привет...

«Господи! Я один в этом жутком месте. Я жалок и беззащитен...»

Откуда взялись эти слова? Я где-то слышал их раньше, но употреблял ли? Нет!

Под папиной крышей я был уверен в своей неуязвимости. Два раза по делам, что направлялись мною в суд, выносили оправдательные приговоры. За такое любого другого расстреляли бы, на костре сожгли, а мне — ничего. Генерал потребовал не трогать — и меня не трогали. Пару раз наркоконтроль в кабаке заворачивал мне ласты, прихватывая с порошком. Заминали. Летом, в дымину пьяный, на полной скорости снес остановку. Пожурил генерал, выслал денег на новую тачку папа. Все. Любые мои выходки покрывались. И я поверил, что всемогущ. Я, тридцатилетний дебил, у которого одно полушарие мозга занято обрывочными сведениями из уголовно-процессуального кодекса, а второе — текстами песен из караоке, посчитал себя выше всех...

Господи, разве можно быть таким идиотом!.. Все же так очевидно, яснее ясного: у папы отжали пласты, папа стал неинтересен. Какое теперь Генералу до меня дело... Правы были зловредные коллеги: выхлопа от меня в министерстве — ноль, ни материального, ни профессионального, поэтому я сослан сюда. Генералом сослан.

Я хожу под Тобой, Господи. И хожу до тех пор, пока Тебе угодно. Вразуми же меня, Боже! Помоги обуздать гордыню! Я такой же как все. Я хуже их, я ничто без них! Обещаю, что никогда больше не буду поднимать себя над другими. Буду любить жену, буду уважать своих товарищей, я стану другим... Ты только помоги мне. Помоги выбраться отсюда живым.

А я стану другим. Обещаю...

Такие меня в ту ночь посетили мысли.

10.11.11.

Сегодня проснулся от яркого утреннего света. Странно. Все дни, что я нахожусь здесь, были серыми, мрачными. А сейчас — солнце. Может, это бог, услышав мои молитвы, дает знак о скорейших переменах? Может быть...



Умывшись и побрившись, я вдруг вспомнил, что сегодня День милиции. Или полиции?... Нет, День сотрудников органов внутренних дел... Да без разницы! Для нас, ментов, пришедших в органы до десятого года, он всегда останется Днем милиции.

Позвонил по мобильному отцу. Он же у меня не только бывший олигарх. Он у меня бывший заместитель начальника УВД.

— Привет, — сказал, — пап. С Днем милиции тебя.

— И тебя с Днем милиции, сынок, — сказал он.

Душевно поговорили.

11.11.11.

Пахомов появился только сегодня утром. С похмелья, но довольный. Видимо, встреча прошла на должном уровне.

Пришли в отдел, попили чаю, расположились за столами.

Я поделился с ним своими опасениями. Сидим здесь больше недели, а результата нет. Приедет бригадир — обоим конец.

— Не волнуйся, — сказал мне Пахомов, — все сделаем по высшему разряду. Сейчас запросим список соседей... этого...

— Махмудова, — подсказал я.

— Ну да. Получим, допросим... — Он сделал паузу и добавил: — По особому методу допросим.

— Как это — «по особому»? — не понял я.

Пахомов словно не услышал.

— Участковому поручение дадим — найти очевидцев преступления. Он нам ответит: установить не представилось возможным. Все как обычно, короче. Не кипешись. — Пахомов зевнул. — Пойдем в гостиницу.

14.11.2011.

Век живи, век учись.

Знающий Пахомов парень. Ответ участкового последовал на следующий день. «Установить очевидцев преступления не представляется возможным», — написал участковый.

Ну а мы получили список соседей Махмудова и приступили к допросам по особому методу.

«Я являюсь соседом Махмудова... Ничего плохого или хорошего о нем сказать не могу... Общаемся редко... В ночь с... на... услышал взрыв. В окно выглядывать побоялся. Наутро узнал от соседа, что сарай взорвали какие-то бандиты. Больше ничего пояснить не могу...»

Пахомов ставит свидетельскую подпись в моем протоколе, я — в его. В отделе мы не появляемся уже третий день.

Нехорошо это, конечно. Но другого выхода нет.

В процессе допросов иногда засыпаем. Лежим на кроватях, стучим по клавиатурам ноутбуков. На полу лежат бутылки из-под водки. Часть из них закатилась под кровати. За окном журчит вода. Закрывая глаза, я вижу, как волны Аргуна разбиваются о серые камни. Но это не Аргун. Во дворе гостиницы в ноябре месяце исправно работает фонтан.

16.11.2011.

Вчера посетили отдел. Встретили Валеру Смирнова. Старший следак, наш, министерский, он вернулся из Махачкалы.

Валера рассказал, что они с бригадиром раскрутили крупное дело. Установили какого-то местного князька, причастного к хищению федеральных бабок. Хотели задержать, да не успели — князька хлопнул снайпер. В центре Махачкалы.

Боже, боже... Слушал, вспоминал себя, лежащего в номере полупьяным. Я не рожден героем. Помышлять в моем случае о карьере — верх непорядочности, подлости. Факт.

20.11.2011.

Печатать страшно неудобно. Трясусь в кабине уазика, за решеткой, где обычно перевозят задержанных. Пахомову я предложил сесть рядом с водителем.

Едем в Магас на совещание, к бригадиру. Ничего хорошего я от этого совещания не жду. По всей видимости, бригадир будет спрашивать о результатах работы. А результатов нет.

Вчера совместными усилиями мы составили постановление о приостановлении уголовного дела. Сарай Гагиева взорвали неустановленные лица. Аллес! Одним висяком больше, одним меньше. Ингушам все равно, а нам — спокойствие.

Бригадир будет ругать. Возможно, напишет кляузу начальству. Пусть. Не это главное. Главное — остаться живым, невредимым. Приехать домой. И начать новую жизнь.

20.11.2011. Вечер.

Есть на свете бог! Никаких не может быть сомнений. Первым же делом, приехав в Москву, пойду в церковь.

На совещании бригадир сидел как в воду опущенный.

«Что такое? — подумал я. — Неужели еще месяц?!»

Оказалось — наоборот.

— Пришла бумага из Москвы, — сказал он, — бригаду отзывают. Капнул кто-то большой. Перегнули. Завтра в 6:00 вылет из Слепцовской. Всё.

Бригадир опустил голову.

Злорадство чуть не взорвало меня изнутри. Это, наверное, тоже нехорошо, но я не удержался от мстительного удовлетворения. Что, доигрался, дебил? Ведь именно так ты называл меня три недели назад, за столом, припоминаешь?!. Страшал, пальцы гнул: накопаем, пересажаем... Карьеру, поди, хотел сделать... Ну-ну. Не то место выбрал, брат. Восток — дело тонкое.

Отметил, что стал мудрее. Определенно.

21.11.2011.

Винты вертолета рассекают воздух. Мы поднимаемся все выше и выше от земли. Прощай, скрытная, злая и непонятная Ингушетия! Надеюсь, мы не свидимся больше никогда.

Печатаю в вертолете, но на меня никто не пялится. За месяц командировки ребята привыкли не обращать внимания на мелочи.

Я смотрю на своих коллег. Бригадир, Пахомов, два бурята из Забайкалья, туляк Пронин, Смирнов. И какой-то очкарик. Я даже не помню, как зовут его.

Почти все дремлют, налакавшись дагестанского коньяку. Пронин читает книжку. Очкарик ерзает и не дает нам со Смирновым покоя.

— Что такое? — нервничает он. — Почему так низко летим? Они же из гранатомета достанут!

Кажется, очкарик попал в командировке под обстрел. Смирнов протягивает ему флягу.

Я смотрю в иллюминатор. Внизу — скрытая, злая, но чертовски красивая Ингушетия.

22.11.2011, 13.30.

К черту, к черту такую красоту. Горы-сакли-макли... Вот она — красота наша. Столица, мать ее так! Сижу в кабинете один, здание на Газетном. Нормальные люди под окном. Иномарки. С номерами иномарки, без тонировки. Водители выходят из авто, хлопают дверцами, нажимают на брелоки. И никто не заглядывает под капот!.. Непривычно даже.

Старые здания, железные крыши, кафешки-кабачки. Белеет фасадом церквушка. Зайду, обязательно зайду. Сначала к Генералу, а потом — в церковь. Обещал — сделаю.

22.11.2011, 14.40.

И все-таки я себя недооцениваю. К такому выводу я пришел, вернувшись от Генерала.

Встретил он меня тепло. Присесть предложил, извлек из бара бокал и бутылку «Хеннеси».

— Ну как ты? — спросил Генерал, разливая коньяк по бокалам.

Чуть пригубив, я сказал, что у меня все замечательно. Главное — жив. А так, мол, похвастаться нечем.

— Что значит — нечем?! — едва не воскликнул он. — Как у тебя язык поворачивается говорить такое?! Ты был в горячей точке, Дима! Один этот факт...

Он оборвал себя на полуслове и решительно наполнил мой бокал до краев.

— Герой! — сказал Генерал.

Я даже встрепенулся от удивления. Это он мне?..

— Настоящий боевой офицер!

Точно — мне.

— За тебя пью! — сказал он. — За твоё здоровье и отвагу. За новые карьерные горизонты! Ура!

Мы чокнулись, и я опрокинул в себя налитое, приподняв локоть.

Генерал обнял меня по-отечески и поцеловал. Завтра будет большое совещание, и меня ждет сюрприз, пообещал Генерал. А на сегодня я свободен. Никаких рапортов. Никаких отчетов. Сво-бо-ден!

Вышагивая по коридору, глядя на спешащих по ковровым дорожкам коллег, бодреньких таких, улыбающихся, дальше МКАДа не выезжающих, я подумал: а может, Генерал прав?..

Зашел в кабинет. У меня отдельный кабинет, я не писал об этом? Да. Я следователь по особо важным делам, у меня имеется отдельный кабинет. А следователя *по особо важным*, знаете ли, не каждому дают. Как и отдельный кабинет — не всякому особо важному.

Генерал прав. Пока они тут шуршали бумажками, я рисковал жизнью. Я находился там, куда любого из этого здания калачом не заманишь. Кроме Генерала, конечно. Он человек исключительной порядочности. Остальные же — твари и ничтожества. Вон они, под окнами, нахлебники и паразиты. Шарфики узлом поверх пальто, стоят и посмеиваются. Посмотрел бы я на вас там, на фронте, уроды!

Ничего... Наступит завтра-послезавтра, и Генерал сделает меня начальником отдела. Будете метеорами летать! Каждому припомню, кто надо мной посмеивался. Последние счастливые часы у вас остались, голуби... Потягивайте, крысята, водяру в кабинетах тихонечко, чтобы начальство не запалило. А я сейчас гульну... Как следует! Как подобает настоящему офицеру!

Привычное ощущение драйва, вынужденно затаившееся на месяц в районе кишечника, возвращалось. И я был этому рад.

23.11.2011.

Прихожу в себя постепенно. «Антипохмелин», пять бутылок «Перье», супрадин.

Гульнул вчера на славу. У корешка Пафнутия гульнул. Он вчера на Новослободской новый ресторан открывал, ну и мне свистнул. А я на просьбы друзей мгновенно откликаюсь. Жену, правда, пришлось на хрен послать. Но это ничего... Жена боевого офицера — она поймет. Кавказ все-таки в некотором роде психологическая травма... необходима адаптация. Так ей и объяснил.

Как приехал в ресторан, водочки жажнул, бокалов шесть шампанского засадил. Побродил, с людьми пообщался. Депутаты, артисты, бизнесмены, много известных людей к Пафнутию пришло. А потом ко мне журналиста знакомый прицепился. Саньком зовут... или Серегой. Из «МК», кажется.

— Расскажи, Димон, про Ингушетию что-нибудь интересное! Боевики там, спецоперации...

— Какие спецоперации? Я же следак, мы дела уголовные раскручивали.

— Тогда про дело какое-нибудь расскажи!

Посмотрел я на харю его довольную, и такое зло меня разобрало, аж вспоминать не хочется. За шкиряк схватил — и орать:

— Сука, крыса тыловая! На дармовщину потянуло? Я там из окопов не вылезал, а ты хочешь, в Москве сидючи, статейку накропать?!

Убил бы, ей богу, убил, но спас его Пафнутий. Примирил, заставил на брудершафт выпить. А потом еще... И еще...

Сию теперь, «Перь» отпиваюсь. Через двадцать минут совещание. Крайне неприятная процедура. Особенно когда с похмелья. А что делать... Нужно привывать. Треть, а то и половина жизни у руководителя проходит в совещаниях.

23.11.2011.

Генерал всегда выступает великолепно. Каждое выступление — симфония. Голос. Интонация. Взгляд, скользкий по бумажке, будто бы невзначай. Прирожденный оратор эпохи нулевых. Все уважаемые люди держатся на трибуне именно так. Единостилие!

— Дмитрий Алексеевич Кабаков, — доносился из динамиков актового зала приятный баритон Генерала, — является сотрудником центрального аппарата с августа 2009 года. С самого первого дня работа стала его вторым домом. Никогда я не видел Дмитрия Алексеевича, убегающего с работы в 18:00. Свет в его кабинете гас не раньше часа ночи. Не считаясь с личным временем, он полностью отдавался расследованию уголовных дел. Это — его жизнь, его борьба!

«Хорошо сказано, — подумалось мне, — близко к действительности».

— В четком соответствии с требованиями законодательства, — продолжал мой Генерал (в этот момент он был для меня богом!), — Дмитрий Алексеевич бесстрашно привлекал к уголовной ответственности коррупционеров и представителей организованной преступности. А ведь не мне вам объяснять, коллеги, что такое организованная преступность... И какие у нее способы расправы! М-да... На днях Дмитрий Алексеевич вернулся из командировки по Северному Кавказу, где выполнял особо важное задание. Работая в условиях, приближенных к боевым, он продемонстрировал профессионализм, высокую жертвенность, храбрость...

Мой бог выдержал легкую паузу и отпил из стакана.

— Таким образом, — подытожил он, — учитывая солидный служебный стаж и приобретенный опыт, — стакан возвращен на край трибуны, — предлагаю назначить Кабакова Дмитрия Алексеевича, — Генерал взглянул в зал, — на должность начальника следственного отдела... ОВД, — я поймал его взгляд, полный любви, — Шатойского района... Чеченской Республики!

Что?!

Зал разразился аплодисментами. Коллеги хлопали в ладоши, улыбались. Двое или трое сидели с красными лицами, еле сдерживая хохот. Кто-то крикнул «ура».

Нахмутив брови, Генерал поблагодарил всех за внимание.

— По рабочим местам, коллеги, — сказал Генерал.

В глазах моих потемнело. Я не мог поверить в услышанное... Папа, пласты, регулярная помощь, офицерская честь... Быть может, это похмелье?..

Я зажмурился. Передо мной возникли старики во дворе Назрани. Они, как и тогда, сидели за столом, что-то грызли, бросали на меня заинтересованные взгляды.

— Товар, хороший товар...

Мой подбородок непроизвольно дрогнул. Глаза стали влажными...

Сколько я так просидел — не помню. Разомкнув веки, обнаружил, что в зале никого. Лишь я... да гарант Конституции. Бодрым и уверенным кажется на портрете гарант, глядит в сторону. Но, к сожалению, не в мою.

Ударом колокола напомнил о себе мобильник. Пришло сообщение от жены. «Тебя уже можно поздравить?» — спрашивала она.

«Почему же так подло, Господи? — подумал я. — Почему же так?...»

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

*Главы из документальной
повести «Рядовой»*

У отца, как и у всего его поколения, была непростая судьба. Сын «врага народа», с 1942 года на фронте, медали, ордена, ранения. Из армии демобилизовался в 1947 году, вернулся в колхоз, женился, схлестнулся с начальством, не желая заниматься приписками, чуть сам не оказался «врагом», как когда-то его отец, мой дед. Работал в деревне, и не в одной, избачом — самым, считай, грамотным на селе человеком. Пришлось и поруководить на посту председателя сельсовета. Перевез семью в город, там почти три десятка лет работал печником, потом пошел на завод. Растил нас, пятерых, помогал родне — и все это время мечтал рассказать потомкам, как жилось ему и его ровесникам в тяжелые для них самих и отечества годы. Поскольку отец был не просто мечтателем, но тем, кто мечты в жизнь всегда воплощал, однажды он решил записать свои воспоминания — как есть, без обеления или очернения прошлого. И получился у него рассказ «о времени и о себе», изложенный простым русским языком много повидавшего и пережившего человека, заботливого отца и мужа, орденосца и рядового Отечественной.

Книга Ивана Михайловича Козодоя, которая вскоре выйдет в одном из местных издательств, так и будет называться: «Рядовой».

В. И. Козодой,
*доктор исторических наук, президент
Сибирской академии управления и мас-
совых коммуникаций, сын И. М. Козодоя*

ПОСЛЕ ДЕМОБИЛИЗАЦИИ

Отслужил я в армии четыре года и один месяц — по тем временам срок небольшой. Третью войну провел на передовой. На всю жизнь запомнил Корсунь-Шевченскую операцию, Бродовский «котел», Сандомирский плацдарм. Жестокие были бои, в которых большие потери несли обе стороны. Падали рядом товарищи, дорогие моему сердцу, и ничем я им не мог помочь. Помнил бой под Дебреценом, когда после атаки в живых осталось только трое, помнил свой последний бой на шоссе Брно — Прага... Был я ранен и контужен, домой вернулся инвалидом войны, с двумя орденами и двумя медалями, демобилизовавшись по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 года...

Дома я оказался в апреле того же года. Долго шел за околицей села, потом свернул на свой огород, подошел к избе; дверь закрыта на деревянную вертушку (замок у нас сроду не вешали), к дверям приставлена лопата — дома никого нет, мать с братьями на работе.

Зашел, чемодан бросил под койку, из ящика достал довоенные хромовые сапоги, надел и отправился на прогулку по деревне. День был солнечный, воскресный,



пасхальный; девчонки возле школы играли в лапту, увидели меня, пригласили в избу, стали расспрашивать, как да чего, только успевай отвечать.

Пока разговаривали, откуда ни возьмись появились цыганки — то ли ряженные, то ли всамделишные, — стали гадать девчонкам и просить их позолотить ручку, навораживать им за это справных женихов под смех и хохот. Заметили цыганки меня, начали и мне гадать-ворожить. Пришлось позолотить им ручку пятирублевкой. Цыганки эти потом ходили по селу, ворожили в каждой избе; пришли и к нам домой, стали гадать мамке и просить ее не скаредничать, позолотить. Мать отказывалась, говорила, что ей нечем, а они не отступали, все про сына говорили, какой он хороший, да в погонах, в орденах, настоящий гвардеец. Хочешь, мол, узнать, где он? Ну так знаешь, что делать... Пришлось матери поверить, дать им денежку. Они и «угадали», где я.

В окошко было видно, как по тракту бежит мой младший брат Володя, запинаясь, вытирая слезы. Вышел я ему навстречу, он ко мне бросился:

— Нет у нас папки, хоть ты живой! Пойдем домой, мать тебя ждет.

— А как узнали-то, что я здесь?

— Цыганки наворожили...

Мать встретила меня — и радуется, и плачет:

— Что же ты, сынок, нас не мог дождаться?!

— Так не знал я, когда ты вернешься с работы... Ну и по девчонкам соскучился, пока в армии был... Теперь-то я надолго дома, мама. Может, навсегда.

Дальше начался разговор о том, чем я займусь на гражданке — надо ведь включаться в выполнение первого послевоенного пятилетнего плана. То ли в селе оставаться, то ли уехать куда-нибудь...

— Нет, сынок, уезжать тебе никуда не надо, — говорит мама. — Оставайся здесь, в колхозе, и работай, вот и мне поможешь братьев своих поднять. Я-то почти за десять лет совсем замучилась тянуть лямку.

— Чем же я тебе помогу, мама, если в колхозе на трудодень ничего не дают, только ставят одни палочки? — спрашиваю ее.

— Все равно — лучше оставайся в колхозе. Ты хоть и был на фронте, а все же и оттуда помог. Получили от тебя четыре посылки, ну и деньгами — почти две тысячи. Это ж какая была помощь, в трудную-то минуту. Ребята приоделись и в школу пошли только благодаря тебе. Учиться-то надо...

— Деньги мне выдали за ранение, когда лежал в госпитале. Как получил, так и выслал — зачем они на фронте. А посылки... Первые-то две посылал я сам, а вот последние две — это уже Васюченко, командир полка.

— Спасибо ему, командиру, за заботу о солдате. У нас ведь ни один командир никому в селе ничего не прислал, только «похоронки» слали. Да вот еще матери Михаила Янушки благодарность пришла.

На этом мы порешили, что никуда я не уеду. Отдыхать времени не оставалось — через неделю начинались весенне-полевые работы.

Утром мать сказала на ферме, что я остаюсь в колхозе. Все фронтовики, мол, уехали из колхоза, а ее сын, сын «врага народа», тут остается.

Пригласили меня в правление. Председатель поинтересовался, чем я думаю заниматься. Я ответил, что пока еще окончательно не решил, у меня сейчас отпуск.

— Оставайся в колхозе, будешь учетчиком-заправщиком в тракторной бригаде. Тебе эта работа знакома, ты там два сезона работал до войны, работу знаешь, — говорит председатель. — А то кто ж будет здесь поднимать колхоз, если все вернувшиеся из армии поразъедутся...

Что поделатъ, дал я согласие работать учетчиком-заправщиком, решил навсегда связать свою жизнь с землей, с деревней. Скоро приступил к своим обязанностям, отработал первую пятидневку. Бригадир тракторной бригады спросил у меня, сделал ли я отчет за пятидневку, как было положено тогда.

— Так точно, — отвечаю по-военному.

— Езжай тогда в поле, заправь трактора. Я заверю отчет в правлении, а ты увезешь его в МТС.

— Хорошо.



Принес мне бригадир отчет. Есть печать колхоза, роспись председателя, а внизу приписка: восемь гектаров весновспашки, 60 гектаров культивации и двойного боронования.

— Товарищ бригадир, такой отчет я не повезу, — заявляю.

— Почему?

— Здесь приписка. Это мы не сделали.

— Какая тебе разница? Печать есть, роспись есть. С этими цифрами быстрее план выполним... и не последние будем в соревновании.

— Если вам нет разницы, то для меня она есть! Это ведь будет оплата за несделанную работу. Тебе-то что, ты все равно меньше трех килограммов на трудодень не получишь... и два пятьдесят деньгами, а колхозники за наши приписки должны будут рассчитываться. Получается, им ниже будет оплачен трудодень — и зерном, и деньгами. Совестно мне за такое перед колхозниками. Знаешь что, дорогой бригадир, я, солдат Отечественной, такой отчет не повезу, вези-ка ты его сам!

— Нет, ты повезешь! Ты учетчик, ты считал, ты и вези, как написано в акте.

— Если бы разведчики на фронте пошли в разведку, плохо разведали и доложили ложные сведения — знаешь, сколько бы из-за этого погибло солдат?!

— Это тебе не война, здесь не погибнешь, здесь тебя даже похвалят за такое...

Что было делать, доложил я о приписках председателю. Он в ответ только поцарапал экзему на лице. Выходит, ему такой порядок был тоже выгоден — меньше критиковать будут в райкоме партии, оно и понятно.

Отчет я не повез. То же повторилось и после второй пятидневки. Бригадир спросил, будто не знал ответа:

— Почему не везешь отчет?

— Я же тебе сказал — сам в МТС езжай и отчитывайся своей липой.

Кончилась третья пятидневка. Кроме отчетов о проделанной работе, я не отчитывался перед МТС и за расход горюче-смазочных материалов, которые были на строгом учете. За это нам перестали отпускать топливо. На полевой стан приехал секретарь райкома партии по фамилии Гудим. Спрашивает он у председателя, кто тут учетчик.

— Вот он я, здесь!

— Почему не везешь отчет? Ты что, не знаешь, что тянешь в отстающие весь район?!

Рассказал я ему о сложившейся обстановке. А он в ответ снова:

— Ты что, не хочешь план выполнять?

— Я хочу выполнять план, а не приписками заниматься, — отвечаю.

Секретарь парткома поворачивается к председателю:

— Снять с работы! — говорит.

Тут же меня освободили от занимаемой должности, а на мое место поставили другого фронтовика, который долго не проработал, бросил все и уехал в город.

После моего увольнения целую неделю ревизионная комиссия, три дюжих мужика, измеряла посеы зерновых. Сколько же они потратили рабочих дней впустую... Мною все было вымерено досконально, придраться было не к чему, хоть мне и угрожали, что за обман будут судить.

Учетчика потом взяли еще одного. Он оказался послушным — что бригадир говорил, то и писал. А когда началась уборка урожая, колхоз недосчитался якобы посеянного зернового клина аж на сорок гектаров.

В конце года на партсобрании заслушали председателя колхоза с отчетом об итогах уборочной. Картина вышла печальная: получили всего по шесть центнеров с каждого гектара, кое-как рассчитались с государством и натуроплатой колхозникам. Тем выдали по триста граммов зерна на трудодень и меньше рубля деньгами — крохи.

Напомнил я председателю о приписках.

— Какая разница, — говорит. — Все равно хлеба больше не было бы, даже если бы не приписывал.

— А разница большая, — отвечаю. — Ты из-за приписок тех снизил оплату за трудодень, обидел колхозников.

Поцарапал председатель рукой лицо, ничего не ответил.



После в газетах опубликовали сообщение Госплана СССР «Об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития народного хозяйства в 1947 году». Согласно сообщению, план по валовой продукции всей промышленности был выполнен на 103,5%, а валовая продукция в сельском хозяйстве увеличилась с 1946 года на 32%.

И вот что я подумал: не знаю, как в промышленности, а про сельское хозяйство — туфта это и брехня, все тут делается за счет приписок.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ИЗБОЙ-ЧИТАЛЬНЕЙ

До войны, во время войны и даже после в селах была такая должность. Сама изба-читальня была культурным центром села. В обязанности заведующего входила не только раздача книг и газет. Он читал лекции и доклады, участвовал в художественной самодеятельности и работе разных тематических кружков, вел пропаганду на фермах и в бригадах. К каждой политической кампании он должен быть готов: читать газеты, проводить беседы, выпускать «боевые листки». Прежний заведующий заболел, потому вакантную должность предложили мне. Я, хоть и были сомнения, решил попробовать, выйдет ли что-то из этой затеи.

В культурно-просветительском отделе райисполкома после короткой беседы получил приказ о назначении заведующим. Шел после этого домой, а на душе было нерадостно: как-то меня встретит председатель сельсовета... Придется драться с ним до победы, сам я с новой должности ни за что не уйду — хоть и маленькая зарплата, но все-таки деньги, кое-что на них можно будет купить, это не трудодни, за которые ничего не получишь, кроме палочек.

В сельсовете меня приняли не слишком дружелюбно, а председатель и вовсе встретил в штыки — как это тебя, мол, могли принять на работу без нашего согласия, не бывать этому, у нас и так людей не хватает, а они забирают последних, неужели не могли прислать кого-нибудь другого, со стороны!

За день я принял дела; собственно, там и нечего было принимать, только книги — политические и о сельском хозяйстве. Музыкальных инструментов не было, не было бильярда, даже радио отсутствовало. Культурный центр без культуры и без художественной литературы. Что делать, хочешь жить и работать — вертись. Пришлось наладить контакт с учительским коллективом школы, с секретарем парторганизации. Составил общий план работы, познакомился с полеводческими бригадами. Появились регулярные заметки в «боевых листках» — их писали учителя.

Однажды я угодил во время обеда в свою прежнюю бригаду. Увидел меня там бригадир, начал скандалить — уходи, мол, отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели. Дескать, ты здесь не по делу агитируешь, а только народ разлагаешь — сам-то из колхоза убежал, а теперь пришел читать колхозникам газеты.

— Что мне люди скажут? — возмутился бригадир. — Был, мол, в колхозе работник, а теперь ходит... руки в брюки, агитирует хорошо работать!

Ушел я домой ни с чем. Как быть дальше? Учителя меня поддержали: держись, мол, Иван, пошумят и перестанут. Привыкли, говорят, у нас брать на хапок, что хотят, то и делают.

Однажды председатель мне говорит:

— Я объехал все бригады, в некоторых нет ни лозунгов, ни плакатов. Надо немедленно поправить это дело.

— Хорошо, — отвечаю, — завтра навещу те бригады.

Зашел на полевой стан — там ни живой души. Всё в пыли, вокруг черным-черно, на полу грязь. Развесил лозунги и плакаты, — а с остальным что делать?.. И можно же было сделать по-хорошему, но все упиралось в председателя...

— Товарищ председатель, нужно купить гармонь в клуб.

— Нет денег. Никаких музыкальных инструментов покупать не будем!

— Но по смете деньги на избу-читальню есть...

— Мало ли что по смете есть... У меня денег нет!

Надоело, жалуясь, ходить и просить гармониста, чтобы в клуб принес гармонь. И ладно, отвечает председатель, походишь, ничего с тобой не сделается.



— Кому же захочется после вечера с девушкой таскать с собой гармонь, это же лишний груз...

— А я при чем здесь? Сейчас полевые работы, незачем клуб открывать. Работать надо, а не танцульки ваши устраивать. Эту твою молодежь после танцев с вечера не уложишь, а утром на работу не поднимешь!

Однажды вернулся председатель из района, привез радиоприемник «Родина». Начали мы сооружать антенну к нему. Быстро закончили, подключили радио. Народу набилось полным-полно — и взрослые, и любопытствующие подростки. Пришел даже дед Бомбандир, артиллерист, участник русско-японской войны.

Радио заговорило: «Говорит Москва!» На второй волне был Новосибирск, станция РВ-76.

Слушая Москву и Новосибирск, наш дед Бомбандир не поверил, что сейчас, всего через два года после войны, такое чудо возможно. Вышел он из сельсовета, махнул мне рукой

— Ваня, — спрашивает, — скажи ты мне, неужели в этом махоньком ящике сидит человек и говорит?

— Нет, деда, это говорят и поют там, в Москве и в Новосибирске. А сюда их голоса передают по волнам.

Дед ушел, бурча под нос:

— По волнам... Это нечистая сила оттуда говорит, не иначе!

Деньги, потраченные на радио, списали на избу-читальню, на приобретение инвентаря. Получается, председатель у себя в кабинете радио слушает, а другие лишены этой возможности. Где здесь правда?.. Написал я об этом небольшую статейку в районную газету; и о том, что в клубе нет гармонии, тоже написал. Председатель побывал в районе, узнал о статье, набросился на меня с угрозами, что выгонит с работы, если буду указывать, что ему делать. Но выгнать особых причин не было, работа шла своим чередом — за что ж меня выгонять-то... Тогда он сделал ход конем — на исполкоме поставил мой отчет о культурно-массовой работе в колхозе, чтобы через исполком освободить меня от должности, как не справившегося.

Делать нечего, доложил я о делах на своем участке и о планах на следующий месяц. После этого выступил председатель, подливая в огонь побольше бензина — что было у него на уме, то и вывалил. Я ему возразил, так у него после этого даже слюна полетела изо рта — в раж вошел, любой ценой был готов освободить меня от занимаемой должности.

После председателя взял слово прокурор района, обвинив меня в том, что я оскорбил в присутствии актива сельсовета «его величество» председателя. Колхозы не справляются с хлебоуборкой зерновых, а виновата в этом культурно-массовая работа, которая, видишь ли, у нас ведется из рук вон плохо. Остальные выступающие, впрочем, не поддержали председателя, а бригадир Пётр Латыш и вовсе сказал:

— Поставьте возле каждого колхозника хоть по пятнадцать избачей с газетами и агитацией — если мы их не накормим, они работать не будут. При чем здесь избач, если мы сами не справляемся с хлебоуборкой? Тут многие уже сказали добрые слова о его работе — и я их поддерживаю: наш избач делает больше всех тех, кто работал до него. Зря вы на него катите бочку!

Так я остался на некоторое время при своей должности, хотя подкатывать ко мне не прекращали, предлагали даже должность заведующего животноводческой фермой, но на некоторое время отстали, и причина была уважительная — задумал я обзавестись семьей.

Когда я дома объявил, что буду свататься, мать этому не обрадовалась, да и родня наша ее поддержала. Претензий к невесте было много — и бедная она, приданого не жди, и росточком махонькая, и вес у нее бараний... не родит такая наследников-помощников, нечего и надеяться. Отец ее был секретарем сельсовета и якобы участвовал в аресте моего отца — даже такую чушь наплели. Еле отбивался я от родни, но позицию свою держал твердо: ну и что, мол, что маленькая, я ведь тоже не великан, мне такая и нужна. А еще она — грамотная, поумнее тех, что мне в невесты прочили. И поговорить с ней можно, не то что с той, что мне мать подсунула в невесты, мымрой Тоней, с которой я провел один вечер в отпуске. Тоня эта молчала,



а я после контузий тоже не слишком разговорчив был, не говоря уж о заикании. Я ей тогда и сказал: до свидания, мол, — на чем любовь и закончилась. Не нужна она мне ни сама, ни приданое ее знатное, буду жить с Марией и начинать с нуля. Почему я должен брать богатую? А Мария нарожает мне детишек, на то она и женщина... В общем, поживем — увидим. А то, что ее отец в аресте моего бати участвовал, так у отца срок заканчивается через два месяца, вернется — пусть сами разбираются...

Забегая вперед, могу сказать, что все мои ожидания сбылись. Росточка у жены, конечно, не прибыло, но вес с возрастом понемногу прибавлялся, так что после пенсии вместо одной Марии стало две. И детишек она мне нарожала аж пятерых — четырех сыновей и одну дочку, посрамив прогнозы родственников...

В общем, прекратил я разговор на эту тему и сделал все по-своему, засватав невесту, и уже через две недели сыграли мы свадьбу. Но лучше бы свадьбы той не было совсем, меньше бы разной чуши наслушались от неумной родни. А еще во время сватовства мой будущий тесть брякнул по пьянке:

— Если бы я знал, что Миша, отец его, будет моим сватом, я бы так не сделал, не сдал бы его как врага народа, вытащил бы — от меня ведь, секретаря, тогда многое зависело...

Эти слова дошли до моей матери, оттого в отношениях с ней многое пошло наперекосяк, да и потом частенько загорался сыр-бор из-за ничего...

Вскоре случилась первая после войны денежная реформа. Мы вдвоем стали получать девятьсот рублей, так что жить с этим и последовавшим снижением цен вместе с отменой карточек было полегче. Получив первую зарплату новыми деньгами, я поехал в город и купил жене пальто. Пальто, правда, оказалось совсем не по росту, да и сидело на ней... как на корове седло. Но все же пальто, какое ни есть, а не зябкая курточка. Себе я купил фуфайку — и тому был доволен. Приехал домой, а там старая песня:

— Не успела придти, а ей уже пальто... Она еще у нас не заработала.

— Да как же не заработала, мама?! Деньги ведь ее, она сама зарплату получила.

— Ну и что... Пожила бы немного, тогда и купили бы обнову, куда торопиться-то... Ты же видишь, что у нас самих ничего нет.

— Что ж, получается, из-за нас она должна мерзнуть? Так не пойдет!

Тут и Мария не выдержала:

— Я от вас уйду, не могу я так жить!

Надо было что-то предпринимать, нельзя было из-за такой ерунды расходиться. Решили мы купить себе маленькую избенку, которая стояла пустая. Только ее посмотрели, вернулись домой, а там мать в слезах:

— Столько ждала тебя, столько терпела, а ты уже хочешь нас бросить!

Мать можно было понять — вместе со мной и новой семьей в доме появились мука, сахар, масло и прочие продукты. Хоть и было небогато, но жить стало ощути-мо лучше. Так что пришлось пожалеть мать и от покупки избы отказаться.

Руководство колхоза, узнав, что мы собираемся обосноваться в селе, стало меня уговаривать, чтобы я перешел на должность заведующего фермой. Я согласия на то не дал. Потом предлагали пойти в кладовщики или продавцом сельпо. Про эту работу я вообще разговаривать не стал, зная, сколько уже продавцов пострадало.

— Хотите меня в тюрьму посадить? — спрашиваю.

— Не посадим, — отвечает председатель колхоза.

— Так вы и раньше так говорили, да только нет вам веры. Вот вы предлагаете на ферму заведующим устроиться, а это опять ближе к тюрьме, ведь хорошего сена для скота нет, только камыш, солома и ветки. Корова ту камышину ест, а на другом конце эта камышина у нее вылезает — разве ж это корма... Случись в колхозе падеж телят или овец — опять тюрьма...

— Не допустим, — говорят.

— Моего тестя за падеж на три года допустили, посадили... Ну а кладовщиком устраиваться — тоже не подходит. На складе есть какие-никакие продукты... Жрать нечего, возьмешь что-нибудь — вот и попал по новому указу за решетку. Зачем мне это?..

Приехал из района председатель сельсовета — злющий, как голодная собака. Говорит мне:



— Сейчас почтальон привезет почту — и все село увидит в районной газете, что мы с тобой едем на моем коне в санках, ты погоняешь коня, а я играю на гармошке.

Подействовала, выходит, моя критика в газете, раз гармонь в клубе появилась.

Тем временем я жил и работал между двух огней: на работе сплошные неприятности, а дома — пыль до потолка, скандалы, даже заходить не хочется. Поговорили мы с моей женошкой и решили сразу двух зайцев убить — уехать из села и начать жизнь по-новому, потому что... сколько ни войю на два фронта, но отступить все равно когда-нибудь придется. У нас и получилось по-фронтовому. Там ведь как бывает — если в первом бою остался в живых, то с тем опытом долго еще будешь воевать, ничто тебя не возьмет. А мне бояться было нечего, я и опыта в культпросветовской работе уже набрался, так что в другом месте начинать будет легче...

В общем, перевели меня приказом в Орловскую избу-читальню, по соседству, после чего даже председатель утихомирился. Суетился-то он не просто так, был за ним грех перед народом: перед денежной реформой председатель уплатил за всех должников села налог по сельхозналогу, после чего вышли мы по этому показателю на первое место в районе. А долги собирал уже после реформы, новыми деньгами, выдавая квитанции, выписанные задним числом, дореформенные. После этого зажил он кум королю, все лучшее в магазинах скупал, не церемонился. И пошли на селе разговоры, почему наш председатель так быстро разбогател, на все у него есть деньги, сам оделся, детей одел, а зарплата ведь не слишком большая. Тут он и сам дал маху: с одной старушки дважды взял сельхозналог, а когда она пожаловалась в райфинотдел, приехала к нам ревизия, которая и обнаружила мошенничество. Сняли председателя с работы, дело оформили в суд. Председатель, бывший уже, временно побыл бригадиром в колхозе, а когда дело дошло до суда, бросил семью и укатил в неизвестном направлении, страхась тюрьмы... Но все это было после, а пока что с председателем колхоза мне пришлось встречаться не раз.

Дома я сказал матери, что меня переводят в Орловку. Она расплакалась:

— Только начал немного помогать — и уже уезжать собрался...

— Приказ есть приказ, я должен выполнить, — отвечаю.

Мама поняла, что командовать ей нами больше не придется, только сказала:

— Ночная кукушка перекуковала дневную...

Уходил я с великой грустью, но не знал тогда, что навсегда прощаюсь с родной деревней. Хотел я сделать для односельчан что-то хорошее, но жизнь не позволила. И ни один фронтовик ведь не остался в селе, уехали кто куда, а за фронтовиками начала уезжать и молодежь. Остались только старые да малые, да вдовы, кому некуда уехать. А я за свои двадцать четыре года так и не пожил толком в родном селе: три года учился в школе, год прожил на Урале, четыре года в армии... Гостем, выходит, был в своей деревне.

По прибытии на новое место работы взял я у секретаря парторганизации ключ от очага культуры. Она объяснила, что парторганизация у них из трех коммунистов: сама она, муж ее, инвалид войны без ноги, и председатель колхоза Кравченко Борис Ефимович, который совсем безграмотный, даже не может написать свою фамилию до конца, только выводит каракулями «Кравч». Комсомольской организации в колхозе нет. Приезжали из района, пытались организовать, но ничего не получилось. Но зато есть секция баптистов, руководит ими бабка Лукашиха. Они туда тянутся больше, чем в клуб. Молодежь в деревне есть, работают честно и добросовестно. Нет на селе и в колхозе с их стороны ни воровства, ни хулиганства, на любое мероприятие откликаются охотно — так их воспитала бабка Лукашиха.

— Как же руководит колхозом председатель, если он неграмотный? — удивляюсь.

— Так и руководит... Наш колхоз занимается немного земледелием и животноводством, но основные доходы идут от рыбалки. Но какие там доходы — в конце года, как почти во всех колхозах района, ноль да маленько.

Закончив знакомство, отправился я смотреть очаг культуры. Только открыл дверь — ужаснулся: пола нет, печки тоже, штор нет, занавеса нет, нет никаких музыкальных инструментов, в библиотеке шаром покати, только брошюры на политичес-



кие и сельскохозяйственные темы. Настольных игр никаких нет, даже шашек и шахмат. Получалось, начинать мне с нуля, но отступать некуда, сам напросился. Надо вокруг себя организовать молодежь, идти на ферму, в бригаду — только так и можно сдвинуть с мертвой точки ситуацию.

В первую очередь, конечно, необходимо было начать ремонт клуба. Организовали воскресник, привезли из леса бревна, чтобы отремонтировать пол и сделать скамейки, чтобы было на чем сидеть.

Однажды в конторе колхоза оказалась в сборе вся парторганизация. Я попросил у председателя людей, чтобы распилить бревна и сделать из каждого по две-три половицы.

— Иван Михайлович, — говорит председатель, — где я тебе возьму людей? С фронта вернулось народа меньше, чем на одной руке пальцев: Терешин и Черванцевы, Виктор с сыном. Им хоть сегодня гроб заказывай, а Гарин Иван на посевной с молодежью воюет, без мужика там тоже никак нельзя, глаз да глаз нужен... Сам знаешь, в колхозе коней мало, все на быках. А на быках не так просто работать — то в кусты затянут, то в болото, да еще комары и пауты их кусают. Особенно в жаркую погоду нет с ними сладу, даже по полгектара в день не пашут, норму не выполняют...

— Все оно так, но и клуб к зиме отремонтировать надо бы, — отвечаю. — А пока всю культурно-массовую работу перенесу в полеводческие бригады и на ферму.

Кучерев Петр, инвалид, говорит:

— Ладно, я тебе помогу, распилем лес.

— А вторым кто будет?

— Ты и будешь.

— Да я же никогда не пилил такой пилой, понятия не имею, как с ней управляться!

— Ты в цирке был?

— Приходилось...

— Видел, как медведь на велосипеде ездит? Выходит, научили его... Ты-то не медведь, научисься.

— А как же ты будешь без ноги-то обходиться?

— На то протез есть. Правда, тяжелый он — железо, кожа, ремни разные... его и здоровому-то тяжело носить было бы. Но если надо... Сегодня все приготовим, я пилу наточу, а завтра и приступим.

Наступило утро, взялись за дело — он внизу, я наверху. Уже через несколько минут пошло дело на лад. И для себя сделали, и для ремонта телятника помогли лес распилить. Пока работали — разговаривали о разном.

— Петро, — спрашиваю, — как ты себя чувствуешь, без ноги-то?

— Да привык уже. Сначала-то, когда вернулся с фронта, ночью до ветра поднимался, забывал, что нет ноги, падал на пол, пугал родню. Особенно мать за меня беспокоилась, переживала... Да еще беда: как год прошел, так на медкомиссию... Зачем это надо?! Неужели они думают, что нога снова вырастет? А сколько на комиссии таких же, да еще и похуже меня, кто без посторонней помощи даже в кабинет к врачу не может зайти... Не дают им инвалидности, посылают в город, а такого калеку сопровождать ведь надо — снова хлопоты жене или родне. Бывает, только на второй день дождешься, когда вызовут на ВТЭК... Почему инвалидность пожизненно не дают? Говорят, так положено, такие законы... Неужели в верхах есть ослы?!

— Есть, Петро, куда ж без них...

Отремонтировали пол, притащили двухсотлитровую железную бочку, смастерили из нее печку для обогрева клуба, побелили, написали несколько плакатов, лозунгов с призывами по поводу полевых работ, в углу поставили табличку — «Стол справок». Одна беда — нет штор и занавесок.

— Нет... и не скоро появятся, — ответил мне председатель сельсовета.

— А как быть с гармошкой?

— Подожди немного...

— А что делать с библиотекой? Там ведь нет художественной литературы.

— Дадим тебе доверенность, получишь книги из районной библиотеки.



— И как мне начинать работу в клубе, особенно зимой?..

— Как знаешь, так и начинай, на то тебя и поставили заведующим. У тебя опыт есть, периодическую литературу и газеты выпишем.

На этом наш разговор с председателем закончился.

Жена закончила учебный год в своей школе, потом перевели ее ко мне поближе, тоже в школу. Жену свою я к той поре любил по всем статьям, а уж когда была беременная — того пуще. У Чехова я прочитал когда-то: «Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить». Так все и было, чего скрывать.

Приказ о назначении моем подписали, а про жилье — ни слова: как знаешь, так и устраивай семейную жизнь. Сначала немного пожили у знакомых, потом перешли на квартиру к моим дальним родственникам. Там родилась у нас дочь, назвали Валей. К осени родственники уехали в Ленинград, продали дом. Мы у них купили корову — ребенку нужно молоко. Теперь нас стало трое... плюс корова. Прожили зиму, весной купили себе четырехстенную избу. Сделали ремонт, снесли русскую печь, поставили простую плиту с обогревателем, высвободив место. Стало немного уютнее. Отелилась корова, принесла бычка; привез я несколько овец, подаренных на свадьбу. С подсобным хозяйством жить стало легче, да девятьсот рублей зарплаты на двоих — совсем хорошо. В магазинах кое-что появилось — промтовары, продукты. Цены снижались — и это выручало.

Закончились полевые работы. Я ежедневно открывал клуб, сидел за столом, читал газеты, готовился, но никто в культурный очаг не приходил, только школьники заглянут, похихикают, дверью хлопнут — и след их простыл. Никто в клуб не шел, зато к бабушке Лукашихе не забывали заглядывать.

Подошли выборы в Верховный Совет. Организовали в клубе избирательный участок, сделали несколько кабин для голосования, обтянули их ситцами с цветами. Выборы закончились — сняли материал с кабин, сделали шторы, хватило и на занавес, так что в клубе стало поуютнее. Народ сразу потянулся в клуб. Пригласил я, чтобы поинтереснее было, баяниста — инвалида войны по зрению. Он был безотказный человек — с народом ему веселее, чего ж не прийти. Хоть никого не видел, но по голосу всех знал, никогда не ошибался. Закипела работа: лекции, доклады, беседы, кинокартины, кружки художественной самодеятельности. В районной газете все чаще стали писать о работе избы-читальни, приводя ее в пример. Однажды даже рассказали о нашей работе по радио. За такие успехи мне из райцентра предложили путевку в санаторий. Она мне, конечно, не очень-то и нужна была, но ведь не так просто из села попасть в санаторий — уж если предлагают, то ехать надо. Так я впервые отдохнул в санатории «Озеро Карачи».

Вернулся, задумал организовать при колхозе комсомольскую организацию, пора уже было. Молодежи на селе хватало — все честные, добросовестные, трудолюбивые, такими уж их воспитала баптистка Лукашиха. Но не так просто было их оторвать от привычного, приходилось разговаривать, убеждать. Наконец лед тронулся — первые три человека написали заявление о приеме в комсомол. Меня избрали секретарем организации. За короткое время туда вступило полтора десятка человек — умел я, видимо, убеждать. Наступила зима, начались занятия по комсомольскому просвещению. Учились все дружно, без опозданий и пропусков, даже подмывало поблагодарить Лукашиху, что так воспитала ребят. После занятий организовали воскресники по подвозке кормов на животноводческие фермы. Председатель Кравченко удивился однажды:

— Это ваша работа? Еще вчера на ферме сена не было, а утром — уже есть.

— Да.

— Молодцы!

Зима заканчивалась. Шла подготовка к весенне-полевым работам. Решили провести комсомольский рейд, проверить готовность колхоза к весне. Из отчета председателя было видно, что колхоз к севу готов хоть сегодня, вся техника в наличии, а комсомольцы обнаружили, что нет одного плуга. Написали об итогах проверки в районную газету. Хотел бы председатель чего-то скрыть, да теперь райком и райисполком уже знал всю правду. Плуг разыскали и отремонтировали.



— Зачем написали, не сказали мне? — спросил председатель.

— Мы вам говорили, а вы рукой махнули, — отвечаю.

Председатель, конечно, затаил обиду. Во время весенней вспашки говорит:

— Твои комсомольцы на быках не делают нормы. Как быть?

— Ничего, — говорю, — завтра я возьму пару быков, вспашу, покажу на собственном примере, как можно работать, тогда и поговорим.

— Смотри, вдруг и сам норму не сделаешь...

— Ничего, пахал я на быках до войны... да и после войны работал. Думаю, все будет в порядке.

На следующий день я даже перевыполнил норму вспашки — хороший пример всем вышел.

Однажды на собрании я предложил организовать в колхозе комсомольскую птицеферму. Набрали мы у колхозников кур-несушек и яиц, договорились, что осенью возвратим две курицы вместо одной. Люди охотно согласились. Раздали мы кур комсомольцам, взял себе одну и я. Через три недели появились «комсомольские» цыплята. Теперь, понятное дело, понадобилось помещение для курей и птичника. Председатель стал отнекиваться:

— На что мне ваши куры? Что я буду делать с ними?!

А тут, будто нам на подмогу, выходит постановление Совета Министров СССР, по которому каждому колхозу вменяется в обязанность иметь четыре фермы — и птицеводческую тоже. Наутро собрали наших кур, после чего председатель отрапортовал, что птицеферма организована. Раз такое дело, обязали его закупить на птицефабрике еще тысячу цыплят. Дело было осенью; привезли этих цыплят, сгрузили в одну из комнат, а они от холода сбились в кучу и передавили друг друга. Осталось от них меньше сотни. Зато эта ферма стала называться «Комсомольская».

Колхозу тем временем выдали кредит на закупку скота для пополнения поголовья. Приехал представитель райкома, начал вызывать колхозников и убеждать их, чтобы «лишний» скот продали колхозу. Пришлось и мне поучаствовать в этих разговорах-уговорах. Дело, признаться, шло туго — кто захочет продавать свою скотину по цене госзакупки, если на базаре можно взять больше...

На обед я человека из райкома пригласил к себе в дом. Перекусили, поговорили. Он мне говорит:

— Ты сюда приехал работать или свое хозяйство раздувать? Огород, смотрю, большой, скот развел, овцы, куры... Ты уже кулак! Немедленно одного быка веди в колхоз и сдавай!

Вот это, думаю, привел гостя: нашим же салом нам по мусалам... Нечего было делать, взял веревку, набросил быку на рога и повел в колхоз. Там отдал за бесценок.

Приближался юбилей Пушкина. Приготовили мы к юбилею много чего: доклад о 150-летию, художественную самодеятельность... Посоветовавшись с женой, к тому времени завучем школы, пригласил на торжества председателя колхоза — он же депутат сельского совета, ему и карты в руки.

— Так он же неграмотный, — говорит жена.

— Ничего, потренируем, а он после нас повторит. Память-то у него неплохая...

Раз к нему на дом ездил, второй — нет дома, еще из района не приехал. Время не ждет, надо начинать. Я сел за стол, накрытый скатертью, объявил об открытии вечера, предоставил слово для доклада жене. В это время за кулисами спала наша десятимесячная дочь. Проснулась она, заплакала — пришлось бежать, унимать. Тут зашла за кулисы девушка, говорит:

— Пришел председатель, в дугу пьяный, матерится вовсю... Старики смеются, ему поддакивают, а он распетушился, разошелся, не дает никому слушать. Говорит на вашу жену, что она дура — откуда, мол, она про Пушкина знает, если его больше ста лет на свете нет...

— Возьми, — вздыхаю, — пожалуйста, дочь, поиграй с ней, а я пойду председателя унимать.

Вышел, говорю:



— Товарищ председатель, прошу прекратить безобразие, а то я приглашу комсомольцев, вас выведут из клуба!

— Попробуй! — расхрабрился председатель. — Я здесь хозяин, а ты со своими комсомольцами всю душу мне вымотал.

Утихомирился он все же; доклад закончили, началась художественная самодеятельность — постановка по мотивам сказок Пушкина. В общем, не считая инцидента с председателем, вечер прошел неплохо, особенно для колхозников, которые ничего подобного не видели за всю свою жизнь.

Не прошло и недели, в село приехал Жуласов, представитель райкома — тот самый, что уговаривал колхозников продавать скот колхозу. Приехал он учинить разбор жалобы на председателя колхоза, где говорилось о недостойном поведении на пушкинском вечере. Главной целью райкомовца было найти человека, который написал жалобу. Нашли жалобщика легко, тот и не скрывался, подписался Гариным. Я был в отъезде; открыли без меня избучитальню, многоуважаемый член бюро райкома вызвал Гарина и спрашивает:

— Ты написал жалобу на Кравченко?

— Нет, я не писал, — отвечает тот, — я малограмотный. Никогда не писал и не напишу, ума у меня не хватит написать.

После этого встал Гарин на колени, перекрестился: не писал, вот вам крест. Стали судить да рядить, кто же мог подписаться за него, кто настоящий автор. Решили, что кроме избача некому, один он на селе грамотный, к нему все село ходит составить заявление, жалобу в район или область.

Утром секретарь парторганизации мне говорит:

— Тебя вызывают в райком... к Жуласову.

— Зачем я ему понадобился?

— Не знаю.

В назначенное время пришел я к тому Жуласову. Он со мной разговор повел на повышенных тонах.

— Ты написал жалобу на Кравченко?

— Нет, никогда и ни на кого никаких жалоб не писал.

— Тогда кто?

— Дайте-ка бумагу, посмотрю на нее... Вы сначала проверили бы жалобу, поговорили бы с народом, а там уж и автора бы стали искать...

— Ты, щенок, будешь меня учить!..

Прошло несколько дней, приехал в село другой представитель. В контору не заходил, с председателем не разговаривал, поехал сразу в бригады, поговорил с народом. Факты подтвердились.

Тут освободилась должность заведующего животноводческой фермы. Правление колхоза долго ломало голову, кого назначить на эту должность, но подходящей кандидатуры не нашли. Председатель ко мне:

— Комсомол, выручай!

— Выручим, что ж... Предлагаю Романова Владимира.

— Да ему же еще и восемнадцати лет нет!

— Ничего, справится... Будем ему помогать.

На этом согласились. Вызываю я Володю, сразу за дело:

— Предлагаю должность заведующего фермой.

— Да кто ж меня назначит — у меня и образования нет, всего четыре класса, да и в армию скоро...

— Ничего, до армии поработаешь. Всей комсомольской организацией будем помогать.

— Хорошо, Иван Михайлович, верю тебе, даю свое согласие.

На следующий день Володя принял должность, а мы стали помогать ему, чем можем. Однажды приходит он и говорит:

— У нас на ферме пятнадцать овец, у каждой по два ягненка, всего сорок пять штук. Кормится эта отара на ферме уже несколько лет. Чабаны кормят, обихаживают, но никто трудодни им не начисляет. Овцы те известно чьи — председателя. А это нарушение устава сельхозартеля.



— Надо обязать председателя, чтобы он забрал отару, ты их больше не принимай.

— Он их весной и осенью забирает на день-два, остригает шерсть, пускает часть на мясо, а потом опять отправляет на ферму. При этом каждый год его овцы якобы по два ягненка рожают, а колхозные даже по одному не могут народить. В колхозе тоже бывает, что овцематка рожает по два ягненка, но в конце года тех ягнят уже нет. Что-то надо с этим делать...

— Володя, выступи, расскажи об этом на собрании колхозников, мы тебя поддержим.

— Хорошо.

На собрании разгорелся сыр-бор. Никогда не думал председатель, что ему предложат забрать с фермы своих овец.

— Я здесь хозяин — как хочу, так и делаю! Это ваш комсомольский секретарь воду мутит... Как было, так и дальше будет.

Поднялся я с места:

— Нет, товарищ председатель, так не будет. Почему у твоих овец по два ягненка, а у колхозных — по одному? Получается, какая овца родила двоих ягнят, та сразу твоя становится? Почему не развести в колхозе таких же овец, чтобы у каждой овцематки было по два ягненка — вот и росло бы колхозное стадо, получали бы с него доходы... А то ведь выходит, что у тебя доходы есть, а в колхозе — пшик... Если завтра не заберете своих овец с фермы, напишем в газету — пусть знает о вас и о ваших овцах весь район!

Ничего не оставалось делать председателю, пришлось подчиниться. А наш комсомолец Володя продолжил честно и добросовестно работать на ферме до ухода в армию.

Наши избы, моя и бабки Лукашихи, были через дорогу. Вдруг зачастила она к нам ходить — мол, дома делать нечего, с вашей дочкой посижу, пока вы на работе. Мы соглашались, даже благодарили. Однажды разговорились мы с нею, и она сказала, что у них секция такая же, как и у нас, у комсомольцев, — на иконах у них тоже нет бога. Чтобы не спорить, я ответил так:

— Не знаю я ничего про вашу веру, так что на эту тему разговаривать не буду. Ушла от вас молодежь — получается, хочет она жить по-новому, вот и весь сказ.

После того разговора бабка больше к нам не ходила, а если и забегала, то больше на тему веры разговор не заводила.

Вскоре началась подписка на государственный заем — я и там, конечно, присутствовал, в каждой бочке был затычкой, как у нас говорили. Подписывались по заранее намеченному списку, включили в список даже стариков, каждому назначили по двадцать пять рублей. Подписались уже все, остались одни старухи. Вызвали их в контору, пришла и Лукашиха. Спрашивает председатель у нее:

— На какую сумму подписываешься?

— На четыреста рублей, — отвечает.

Подписная комиссия призадумалась — с ума сошла бабка: сама ничего не даст, да еще и сорвет государственное дело.

Лукашиха тем временем вышла на улицу, а старухи у нее и спрашивают:

— Подписалась?

— Да.

— На сколько?

— На четыреста рублей!

Старухи начали шуметь:

— Из-за тебя и нам сейчас придется подписываться.

Она им в ответ:

— Я не хочу, чтобы была еще одна война... У меня сына убили, остались внучата. Кому они нужны? Скоро подрастут — вот и их возьмут в армию... А я хочу видеть их живыми и здоровыми!

Подписка с горем пополам завершилась. Опять вызываем Лукашиху, говорим:

— Все старухи подписались на заем, только вы остались.



— Как же, — удивляется, — я ведь уже подписалась!

— На сколько?

— На четыреста рублей!

И все равно никто не стал ее записывать в подписной лист. Посидела она немного, спрашивает комиссию:

— Что ж, деньги сейчас принести?

— Принесите!

Через некоторое время приходит Лукашиха и приносит четыреста рублей. Внесла ее в подписной лист, она и говорит:

— Не хочу, чтобы еще была война. Продала я целый погреб картошки, все с этого отдаю государству, чтобы больше не было войны! — и ушла.

Кто-то из комиссии сокрушается:

— Если бы ее подписали сразу, то старухи увидели бы это, поворчали бы, но подписались бы... рублей по сто каждая — вот и план бы перевыполнили, премию бы получили.

Вот так бабка Лукашиха, всем нам нос утерла!

Секретарем партийной организации числилась у нас Решнева Антонида, она же была и счетоводом колхоза. На селе ее звали Решнихой... Захожу я однажды в контору — там никого нет, кроме председателя и счетовода. Председатель сидит за столом, рядом Решниха, читает ему депешу из района. Скопилась на столе уже целая гора писем, поскольку Решниха болела и неделю не выходила на работу, а сам председатель читать не умел, читать доверял только своему счетоводу. Закончили они читку депеши. Обращаюсь к ним:

— Как вы знаете, у нас в клубе организован стол справок. Разные у народа бывают вопросы — кому жалобу надо написать, кому заявление, кому проверить облигации по тиражам. Сегодня поступил такой вопрос: куда деваются купоны, выданные «Рыбколхозсоюзом» за сданную рыбу? Говорят, вы двое делите их между собой. Покажите мне ту бумагу, где написано о порядке выдачи этих купонов! У нас в колхозе много вдов фронтовиков с детьми, а вы ни одной из них ни единого купона не выдали на промтовары, сахар, мыло, чай и на прочее. По купонам цены довоенные — детям в школу скоро идти, пора бы выдать необходимое.

— Если выдавать, то всем нужно... — говорит председатель. И интересуется: — А кто это такой пришел жаловаться?

— Это секрет. Я дал слово, что вы знать не будете. У вас все есть — обувь, одежда, продукты хорошие, все по дешевке, а люди впроголодь с детьми маются. Пора жить по-честному.

Решниха стала уверять, что у них двоих есть бумага, что купоны выделены только им. Искала, искала — так и не нашла.

— Как же вы могли потерять такую бумагу? — интересуюсь.

— Ты не любишь советскую власть! — разозлился председатель.

— Намекаешь на отца, гнида? Я-то за советскую власть ранен, контужен, имею ордена и медали. А вот ты советскую власть действительно не любишь, ты не стал ее защищать, дезертировал с фронта. Сколько ты уплатил, чтобы тебя оставили здесь? Прикрылся билетом партийным, как ватным одеялом!

Шагнул я к столу, схватил графин с водой и замахнулся — у председателя даже морда с перепугу побелела.

— Что, боишься? — спрашиваю.

— Ты за это мне ответишь, ничего я не боюсь, — хорохорится он.

Не прошло после нашего спора декады, пригласили меня на исполком с отчетом о работе избы-читальни. С председателем к тому времени мы стали совсем врагами, он со мной даже не разговаривал. На исполкоме я доложил о проделанной работе и о планах на будущий квартал. После взял слово председатель сельсовета Новиков и стал лить грязь на меня — все со слов Кравченко. Члены исполкома, впрочем, его не поддержали, поскольку многие читали в газете о нашей работе, да и сами видели, как работает изба-читальня.

Получилось, что я легко отделался на исполкоме, у меня даже налажился контакт с его членами, после чего появились в моей избе-читальне шашки, шахматы, гар-



монь и художественная литература. О работе нашей комсомольской организации появилась добрая статья в областной газете, райком комсомола даже предложил мне перейти к ним инструктором. Правда, пока я раздумывал, кто-то им подсказал, что мой отец арестован и приговорен как «враг народа». На этом предложения новой работы не закончились — через некоторое время приехал старший лейтенант, стал убеждать, чтобы я пошел работать в органы, тряс папкой, говорил, что оклад в два с лишним раза больше, чем сейчас у меня, дополнительно выдается обмундирование, железнодорожный билет бесплатно и многое другое. А я в это время думал про отца, про лагерь, про известные мне зверства охраны — нет, таким я стать не хотел... Долго продолжалась беседа, пока я не сказал, что у меня отец взят органами. Старлей как услышал — схватил свою папку и уехал. Выходит, что так я и не смыл пятно за отца, на всю жизнь оно будет со мной. А ведь говорили, что сын за отца не отвечает!..

Однажды осенью 1949 года случился у меня удивительный разговор. Сидел я дома, просматривал и конспектировал свежие газеты, готовился, чтобы рассказать народу, как выполняется в стране план хлебозаготовок. Записал себе, что УССР выполнила план, ведет сверхплановую продажу хлеба государству. Народ в селе, конечно, интересовался, что делается в стране, но на газеты было ограничение, они приходили только в правление колхоза и в избу-читальню.

Сию я и вижу, что председатель Кравченко отправился в магазин. На обратном пути подходит он к нашей избенке и стучит в окно.

— В чем дело, Борис Ефимович? — интересуюсь.

— Пойдем в баню.

— Да я бы с большим удовольствием, но мужики сильно поддают пар, а я ранен в голову, не выдержу такого жара...

— Пойдем, я их всех выгоню! Пока ты будешь мыться, никто париться не будет.

— Выгонять мужиков не надо, я приду последним.

— Нет, — зовет, — пошли сейчас.

Что делать, надо уважить хозяина села, какой ни есть. И с какой целью он меня вдруг пригласил — загадка. Сроду такого никогда не было, чтобы мы с ним разговаривали без нужды, поскольку с первого дня он считал меня и весь комсомол своими личными врагами.

По дороге в баню мы вели разговор о колхозных делах. В бане разделись, вошли в парную. Мужики его сразу положили на полог и стали хлестать вениками, только успевал переворачиваться, — подхалимов у нас хватало. Сам я не устоял на ногах от жары и упал на пол, полежал так пару минут, налил в тазик холодной воды, ополоснулся и убежал из парной. Вот и помылся, спасибо, век буду помнить приглашение. Начал одеваться. Вылетает из парной председатель:

— Ты что ж не мылся-то?

— Не выдерживает голова, Борис Ефимович, тяжело мне.

Только собрался уходить, он говорит:

— Подожди, пойдем вместе.

Ладно, пошли. У своего дома пригласил он зайти. Посидим, мол, побеседуем.

— Я бы с большим удовольствием, — говорю, — но мне надо идти, скоро клуб открывать.

— Да мы не слишком долго, успеешь. А если не успеешь, уборщица откроет.

Только зашли в дом, он пригласил в гостиную, поставил стулья, мы сели.

— Наташа... — позвал.

Не успел я глазом моргнуть, как жена его поставила на стол угощение и принесла водку. Хозяин разлил по стаканам водку, пригласил выпить.

— Вы же знаете, — говорю, — что я не пью: как выпью, не могу разговаривать, сильно заикаюсь.

А на столе поставлено столько, что не у каждого колхозника бывает на праздник. Выпили мы, стали закусывать. Я даже растерялся — не знал, что брать, чем закусывать. Потом он начал рассказывать, что был на бюро райкома, там ему влили выговор с занесением в учетную карточку.

— За что? — спрашиваю.



— За Пушкина, за овец, за отставание сельхозработ... В общем, все собрали в кучу. Но я не обижаюсь — наверно, так и надо было.

— Ну а дальше что, какие дали советы?

— Сказали, чтобы я прислушивался к твоим рекомендациям, потому-то я и решил пригласить тебя, поговорить по душам. Убедили меня на райкоме, что я виноват, а ты с комсомольцами кругом прав. Они о тебе, между прочим, хорошего мнения...

Выпили мы бутылку, закусили. Председатель говорит:

— Наташа...

Вторая бутылка появилась на столе.

— Борис Ефимович, — тут и я не выдержал, — будем говорить начистоту. Во-первых, вы пришли на тот пушкинский вечер сильно пьяный, начали говорить всякую ерунду... Знаете, сколько вы тогда народа обидели?..

— Знаю... много.

— Насчет овец — это уж совсем... Сена не тратишь, не ухаживаешь за скотиной, никому не платишь, в результате получаешь шерсть и мясо бесплатно — это же прямое нарушение устава сельхозартели.

— Сколько лет они были на ферме, все было шито-крыто, никто никогда против не выступал, а как поставили твоего комсомольца на должность заведующего, так сразу я стал мешать всем...

— Ну вы же понимаете, что в колхозе и без того не хватает кормов, а тут еще ваши сорок пять голов. Это же неправильно...

— Да и верно, сейчас-то я понимаю, что неправильно. Руководитель должен быть чист... как зеркало.

— У меня еще вопрос: почему вы называете колхозников «бандитами»?

— Это было еще во время войны, когда меня только назначили председателем. Поехал я посмотреть, как работают в поле колхозники. Смотрю, идут бабы навстречу. Остановил коня, спрашиваю: «Почему бросили работу и идете домой?» — «Жрать давай, будем работать». — «Вы же знаете, что в кладовой ничего нет, даже мышей там не стало. Что же я вам дам?! Идите обратно и работайте до вечера». Тут бабы стали подходить ближе, окружили мой ходок — кто с вилами, кто с граблями. Стало понятно, что убьют или поколотят. Хлестнул я коня и рванул от них, только крикнул: «Ну, бандиты, я вам покажу, как надо жить!» С тех пор и повелось у меня этим словом колхозников называть. Надо, конечно, отвыкать... С сегодняшнего дня обещаю, что никогда и ни на кого больше так не сорвусь.

За разговором осушили и вторую бутылку, поговорили о купонах, о выступлениях председателя на собраниях.

— Почему вы на собраниях упоминаете райком, райисполком, партию, правительство, а конкретного ничего не говорите — что пишут в газетах, что делается в других колхозах?

— А что я скажу — я неграмотный, газет и книг не читаю. Решника заболел, а я в это время раскланные из района бумаги прочитать не могу, даже расписаться до конца не умею.

— Как же вас поставили председателем?

— Что об этом говорить... ты же знаешь, как это делается... О войне тебе рассказывать нечего, ты сам фронтовик... Попал в госпиталь. Пошел в военкомат, попросил, чтобы не посылали на фронт. Предложили пойти в этот колхоз председателем. Я и согласился — чертом или дьяволом, только бы не на фронт...

Дальше я уже не помню, о чем шла у нас речь. Помню только, что ноги меня не хотели нести домой, потому шли в обнимку, как лучшие друзья, и пели «Шумел камыш, деревья гнулись». После этого вечера мы с председателем перестали конфликтовать; жаль только, что поработать в Орловке больше не пришлось: в конце августа 1950 года перевели меня в избу-читальню поселка Московка, а жену — заведующей школой туда же. Нашего мнения об этом никто не спрашивал, а ведь сорваться с обжитого места было непросто, да и семья у нас прибавилась, родился сын Вовка... Но приказ есть приказ — взял лошадку в колхозе, погрузил немудреное имущество, привязал сзади живность, попрощался с колхозниками («Больше никогда не будет у нас такого избача и учительницы!» — сказали) и отправился в путь.



В Московке поселились в комнате при школе. Первый месяц знакомился с народом, с комсомольской организацией, с работниками фермы, бригадами. Народ тут сильно отличался от орловских, любил выпить. Если в село в магазин привозили водку, то на все село кричали об этом. Пили старики, инвалиды, женщины... даже дети пили. Мужиков с фронта вернулось только двое, да и те были калеками. Комсомольская организация, конечно, в таких условиях не работала, но делать что-то было нужно, тем более что приближался праздник Великого Октября. К празднику в клубе сыграли спектакль, выступил хор, потом были танцы. В общем, для первого раза получилось неплохо. После такого успеха пригласили меня на сессию сельсовета, где огорошили неожиданным решением: «В связи с уходом в отпуск председателя сельсовета и поездкой на курорт, временно исполняющим обязанности председателя назначить тов. Козодою».

— Как так? — спрашиваю. — Я же не депутат, да и только что приехал, еще не знаком с народом...

— Вот и познакомись, — отвечают.

Шут с вами, думаю, месяц проработаю. Через месяц вернулся председатель, но печать у меня забрал только после консультации с райкомом — в таком я уже был авторитете.

В это время полным ходом шла подготовка к выборам в местные Советы депутатов. При руководящем и направляющем участии райкома и райисполкома были выдвинуты кандидаты в депутаты, была там и моя фамилия. Написал призывы к выборам — кому этим заниматься, если не мне. Отдал народ свои голоса исключительно за кандидатов в депутаты сталинского блока коммунистов и беспартийных. Наступил день первой сессии сельсовета, на ней меня и избрали председателем сельсовета — к большому, между прочим, удивлению. Только тогда до меня дошло, зачем нас сюда перевели из Орловки, зачем так скоро освободили от прежней должности избача. Так я проработал в трех деревнях заведующим избой-читальней три года, шесть месяцев и двадцать один день...

После уже, через время, встретился я с бригадиром Петром Латышем, завел разговор о селе и односельчанах. Рассказал он мне такую историю:

— До войны я взял у деда Василия стакан табаку, пообещал ему рубль завезти, а тут война, меня в армию... Рубль тот я так не отдал. Закончилась война, назначили бригадиром. Заезжаю к деду за табаком, протягиваю трояк. Насыпал он стакан и дает сдачу — один рубль. Удивляюсь, почему один рубль, два ведь надо... А помнишь, говорит, ты до войны брал стакан табаку, а рубль не отдал? «Дед, а если бы меня убили?» — «Тогда пропал бы мой рубль!» Вот ведь жадюга какой был. Пять лет прошло, а он все помнил... А о тебе мы вот как вспомнили: когда ты уехал из села, поставили избачом Ельского. Он начал попивать, да все больше, больше... Однажды пришел на ферму проводить беседу, там напился. Возвращался домой пьяный, упал в снег и обморозил пальцы на обеих руках. Вот и новый избач потребовался. Я им говорю: вот выгнали Козодою, а сейчас про него и его комсомольцев пишут в газетах — и в районной, и в областной «молодежке». А вам он был плохой...

Прошло сорок лет после моего прощания с орловчанами, когда в «Убинском вестнике» № 70 от 11 июня 1988 года попалась мне на глаза статья «Потухший очаг, или почему не работает клуб в Орловке». Слова там были горькие: «Невзрачным видом, внешним и внутренним, с поломанной вокруг изгородью, холодным, грязным, с побитыми стеклами, обвалившимся потолком, без электрического освещения, без сидений в зрительном зале — таким предстал взору сельский клуб в деревне Орловка...»

Нет сил цитировать это дальше.

СОБАЧЬЯ СВАДЬБА

Дело было еще в Орловке. Заканчивалась посевная компания. Как-то под вечер пришел к нам Толя, родной брат жены. Жена спрашивает его:

— Ты чего пришел?

— Просто так, в гости.



— Как мама, папа?

— Да ничего...

— Что делает папа?

— Дома сидит.

— А мама?

— Сухари сушит.

— Зачем?

— Не знаю... Они сказали, чтобы я вам не говорил.

— Так зачем мама сухари сушит?

— Что-то получилось в кладовой, где батя работает. Они мне не говорят, но я же вижу, да и батя который день на работу не ходит, дома сидит.

— Почему же он дома, посевная ведь в разгаре?

— Не знаю.

— Пойдем к ним, узнаем, в чем дело.

До тестя с тещей было идти километров десять. Уже стемнело, когда мы добрались до них. Зашли в избу — никого.

— Есть кто живой? — спрашиваю.

Тишина в ответ. Зашли в другую комнату. Тесть с тещей сидят возле печки, молчат, не отзываются.

— В чем дело?

— Да ни в чем...

— А зачем стоит сумка с сухарями?

— Может, сухари потребуются совсем скоро...

Успокоился тесть, рассказал свою беду:

— Когда из кладовой вывозили последнее зерно для посева, заметил я, что в самом углу попрело центнера два пшеницы. Взял эту пшеницу и смешал с хорошей... себе на беду. Тут из района приехал агроном. Почуял, что прелью пахнет, осмотрел пшеницу, запретил ее сеять. А оказалось там более тридцати центнеров. Сообщили об этом в район. Оттуда потребовали восстановить пшеницу. Если не найду хорошую и не прелую, то будут судить. А где такую взять? Хорошей в колхозе нигде не купить. Председатель колхоза вчера день проездил, да все без толку. Сегодня бригадир поехал добывать, еще не вернулся, ждем. Не знаю, достанет ли...

— Говорят, соседский совхоз продает, хоть и дорого.

— А как ее оттуда привезешь, где машин взять?.. Это же не ближний свет, около ста километров. Да и сколько денег понадобится...

— За деньги не беспокойтесь. Сейчас зайдем, потом получим зарплату, продадим нашу корову, рассчитаемся...

Вернулся бригадир. Вышли встречать его всей семьей.

— Как дела?

— Пусто, нигде ничего, — разводит руками.

Уехал бригадир, а я кумекаю.

— Слушай, отец, райкому эта пшеница нужна... как мертвому припарка. Посевная-то закончена. Завтра я поеду в район — может, что-нибудь сделаю.

— Прокурор дал на все три дня. Уже прошло два, остался последний день — завтра.

Утром рано я выехал в район. С чего начинать, куда зайти — не знаю. Походил по райцентру, поговорил со знакомыми — никаких вариантов. А время идет... Возле Госбанка встретил довоенного знакомого, бывшего счетовода, ныне главного бухгалтера райпотребсоюза, рассказал про свою беду. Он говорит:

— У нас есть более тридцати центнеров фуражной пшеницы на продажу, но вам-то нужна семенная. Зайди в заготзерно, поговори с замом по качеству. Если он тебе фуражную обменяет на семенную, приходи за счетом — оплатишь в банке, будет тебе пшеница.

С замом разговаривать много не пришлось, пообещал ему за хлопоты вечер в чайной.

— У нас пшеница семенная в глубинке, в Гандичах.

— Давай и в Гандичах. Я с экспедицией совхозов договорюсь насчет машин.



— Подожди, я поговорю с бухгалтером. Приходи после рабочего дня, когда вся бухгалтерия разоидется.

Выписали в потребсоюзе счет, оплатил его, выдали бумаги на получение из заготзерна купленной пшеницы.

Приехал председатель колхоза.

— Как дела?

— Нормально...

Разошлась бухгалтерия, остались нужные люди. Закипела работа. Позвонили в чайную, чтобы приготовили стол на несколько человек — с хорошим ужином и водкой. Через полчаса подготовили все бумаги — накладные, требования. За всё уплатил, получил корешки приходных ордеров со штампами.

— А почему не могли сделать все в рабочее время? — спрашиваю.

Председатель колхоза отвечает:

— Не понять нам, все они здесь жулики конченные. И не подкопаешься к ним, на все выдают бумаги.

Так и есть — на каждую бумажку нужно по бутылке водки, да закуска, да официантке, работающей сверхурочно, дай. Кому беда, а кому радость одна. Им лишь бы выпить и закусить, а там... хоть трава не расти. Если без водки, то ничего нельзя, а с водкой — пожалуйста.

В чайной уже ожидала официантка, ей такие попойки видеть уже приходилось. Сели за стол, выпили по одной, по другой, разговорились... Мне давно домой надо было вертаться, но ничего не поделаешь, никуда не сбежать с этой «собачьей свадьбы», как называют у нас такие попойки. Сколько съедят, выпьют — за все это мне рассчитывать, кому ж еще.

Когда стемнело, пьянка стала затихать. Рассчитался я, дал на чай официантке, хоть при подсчете могла и обдурить. Вертелась-то она вокруг стола шустро, словно белка в колесе. Председатель колхоза говорит:

— Надо еще бутылку взять — заедем к директору МТС, угостим и попросим у него пару тракторов с плугом и сеялкой, чтобы за два-три дня засеяться.

Угостили директора, он тут же подписал приказ бригадиру тракторной бригады, чтобы выделили технику. Кое-как выбрались на дорогу, сами управлять повозкой уже не смогли, конь нас повез. О чем вели разговор — все вылетело из головы, помню только, что начинал военные песни, но не доводил их до конца. А председатель орал что-то русское народное. Неподалеку от села встретила меня теща, предупредила, чтобы прекращали горланить песни, в селе слышно. В сельсовете к тому времени собралось начальство, ждали председателя. За дорогу он протрезвел, зашел в сельсовет и доложил, что купили зерно, завтра продолжаем сев.

Так я спас тестя от тюрьмы. В те времена даже за колоски хлеба давали восемь лет, а уж за центнеры... Попойка, кстати, оказалась для нас не так уж и убыточна. Колхозники быстро разобрали за долги ту «порченную» пшеницу, промыли ее, пустили на муку и напекли домашнего хлеба, какого давно не едали.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

В родной Ермолаевке я частенько бывал, даже когда переезжал на работу в другие места. У жены там жили отец, мать и братья: Афанасий, он служил в армии, Володя, ученик ремесленного училища, тракторист Алексей и школьник Толя. Плюс мои: мама с сестрой и тремя братиками и дяди — Осип и Антон. Мы всегда сначала заходили к ее родителям, потом проводывали мою мать, сестру и братьев, потом наступал черед и гостеприимных дядьев — очень они обижались, если их обходили стороной. Однажды мы торопились назад и не зашли к дяде Антону. В следующий раз дядя Антон ждал нас на тракте.

— Дядя, кого ждешь?

— Вас и жду!

— Зачем?

— А вы почему в прошлый раз ко мне не зашли?

— Дядя, нам некогда было, — оправдываемся.



— Ты понимаешь, зашли бы вы ко мне, Александра Варфоломеевна дала бы на бутылочку, вот и выпили бы... Вы у меня смотрите, чтобы такого больше не было!

— Больше так не будем, дядя.

— Я, Иван, когда тебя вижу, будто с браткой Мишкой разговариваю...

Очень добрые были у меня дядьки. Отца уже больше десяти лет не было, но они не бросали мою мать, помогали, проводывали. Не то что теперь, когда и родные братья уже каждый сам по себе живут, лишний раз письмо не напишут. Может, дело в том, что раньше было больше нужды — выходит, и помощи от родни больше требовалось, да семьи были большие, а сейчас живут без нужды и горя, с одним ребенком в семье, вот и вся забота...

Еще не исполнилось дочке Вале и года, как жена решила отнять ее от груди. Отвезли дочку в село к бабушке с дедушкой, оставили там. Девочка у нас была шустрая, уже хорошо умела ходить и разговаривать. Прошла неделя, соскучились мы по ней, отправил я жену навестить дочь. Заходит Мария в дом, а дочка стоит за столом, ест, сама держит ложку. Увидела мать и говорит:

— Наша мамка пришла и сисю принесла.

Услышала теща, разворчалась:

— Уходи ты отсюда, пришла внучку расстраивать.

— Мама, а что у нее за платье?

— Это я ей пошила.

— А почему она такая грязная, в мазуте каком-то?

— Лёня ее вымазал. Как приходит со смены домой — она к нему. Он ее схватит, прижмет к себе, тискает — потому и грязная. Только потом он переодевается и умывается...

К вечеру Мария была дома.

— Ты чего так быстро? — спрашиваю.

— Мама выгнала, даже не дала на руки взять дочь.

Рассказала жена о встрече с дочкой. Обратный путь, говорит, был длиннее. Туда все десять километров пролетела как на крыльях, а обратно...

— У тебя получается... как у вятских.

— А как у них?

— А вот как... Поехал мужик на мельницу, а другой у него спрашивает: «Сколько километров до мельницы?» — «Семь». — «А оттуда?» — «Шесть». — «А почему так?» — «Так ведь я уже с мукой ехал, вот быстрее домой и возвратился». А у тебя, вишь, наоборот: туда было «ближе», а обратно — «дальше».

Наступила зима. Навалило снега, пешком в село к родне тяжело было ходить. Решил пойти к бригадиру, попросить какое-нибудь тягло. Бригадир сказал, что все бычки в работе, но один больно уж капризный, не хочет работать, вот его и можно взять.

— Ты мужик сильный, верткий, на полном галопе запрыгиваешь на бричку. Уж с этим-то бычком справишься.

— Эх, бригадир, я же на фронте кавалеристом был, а там иной раз приходилось даже впереди коня бежать.

Что поделывать, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Запряг бычка, на сани положил сена, чтобы помягче было. Подвел повозку к своей избенке, крикнул жене:

— Карета подана, извольте садиться, ваше величество.

Жена забралась в сани. Вывел быка за село, сам уселся. Бычок оказался шустрым, ходко шел. Вот только как увидит возле дороги кусты, так и сворачивает туда, дурной. Не успел удержать — залезай вместе с ним в снег. Я весь в поту, а жена на санях барыней путешествует.

Несколько раз я так ходил к бригадиру, просил бычка, чтобы съездить в село. Потом он не выдержал:

— Да ты у меня не спрашивай, бери того дурного быка и езжай куда надо. Колхозники-то его не берут, вот он все время в пригоне и стоит, только ты и едешь — его и называют теперь «бычком избача».

Зима шла к концу, всю таял снег. Приехали мы в село на какой-то большой праздник. Тесть с тещей устроили нам большой обед. Пока сидели, увидел я, что угол

избы вывалился — и как раньше не замечал. Заткнули угол фуфайкой, а с улицы подбили одеялом ватным, вот и весь ремонт. Так и прожили зиму — в избе холодно, только успевай дрова в печь подкладывать.

— Надо, — говорю, — какую-нибудь хибару строить, иначе как тут дальше жить...

— Надо бы, — горюет тесть, — да кто ж строить-то будет.. Не купить ведь — откуда ж деньги на то взять...

— Я, — говорю, — буду строить.

Мария говорит, подначивая:

— Что вам стоит дом построить, нарисуете — будем жить...

— Правильно, — отвечаю, — как нарисует, так и сделаем. Напротив стоит дом, в нем нет ни окон, ни дверей, ни пола, ни печи. Если его купим и пересыплем, добавим оснастку, то выйдет из него неплохой дом. Продадут-то его недорого, все равно ведь растащат... Пойдем, посмотрим, — предлагаю тестю.

— Как вы пойдете, — ворчат жены, — вы через канавы не переберетесь.

Ноги нас плохо слушались, да и тело все больше тянуло к горизонтали после выпитого, но через канавы перебрались, осмотрели будущую покупку. Я прикинул, что нужно привезти не менее сорока бревен. Возьму отпуск, вернусь и сделаю обещанное, а тесть пока договорится с нынешними хозяевами дома.

В конце мая я взял отпуск. За это время тесть договорился о покупке. Привезли мы с Алексеем, братом жены, бревна для нового дома. Потом Алексей ушел в армию, а мы с тестем разобрали дом и перевезли на нашу сторону. Теща тоже просто так не сидела, очищала бревна от коры. Скоро начали укладку первых бревен. По времени выходило, что за день надо делать один ряд. Никто не верил, что я сам управлюсь. Мимо нас по утрам доярки ходили на выпаса, на дойку, ехидно спрашивали у меня:

— Ваня, много ли тестю дров наделал?

— Хватит на зиму! — отвечал я. Никто ведь не знал, что до войны я получил в ФЗО специальность плотника четвертого разряда. И рубить дома приходилось, и из бруса складывать, был даже звеньевым, так что опыта хватало.

Прошла декада, дом вырос уже до окон. Те же доярки удивлялись — смотрите-ка, дескать, получается у него, к зиме будут жить в новом доме.

За отпуск дом поставил, уложил потолок, но крышу навести не успел — пора было выходить на работу. Через неделю возвращаюсь, тесть говорит:

— Понимаешь, какая получилась штука... Ковыряюсь я на доме, трамбуя мох между бревнами. Тут едет мимо председатель райисполкома. Остановил машину, вылез из нее, подходит ко мне, кричит: «Почему не на сенокосе?» — «Я кладовщик». — «Все должны быть на заготовке кормов!» — «Мне жить негде...» — «Это меня не касается!» — кричит. — Бери вилы — и на сенокос! Не пойдешь, я для тебя быстро казенный дом найду!» Взял я вилы, пошел на сенокос — что поделает, если председатель райисполкома так к людям относится...

— Отец, ты видел, в каком доме он сам живет? Брусчатый, обшитый половой рейкой снаружи, крыша железная. Вокруг дома забор высокий, за забором дворник... Это же они, а не мы. Как вздумают, так и командуют. Только скажи им что-нибудь против, быстро найдут управу, ни за что придерутся. Сам знаешь, сколько таких случаев было...

Собрались на выходных знакомые мужики, навели крышу, нажали камыша, накрыли дом, настелили пол, сделали русскую печь и плиту — готовить еду себе и скоту. К осени перешли тесть с тещей в новый дом, устроили новоселье. После первых ста граммов спрашиваю:

— И кто тут говорил, что, мол, нарисует — и будем жить?..

Тесть оправдывается:

— Я и сам не верил, что так получится — не знал, что ты плотник...

Все наши дети, за исключением младшего, Вити, жили в этом доме с бабушкой и дедушкой, дом для них стал родным. Все они получили здесь хорошее воспитание, за что были благодарны всю жизнь.

Алексей АЧАИР

БОРИС САВИНКОВ*

Поэма

Поэтическое наследие сибиряка Алексея Алексеевича Ачаира (Грызова) (1896—1960) постепенно становится достоянием отечественной культуры. Его эмигрантские сборники стихов усилиями литературоведов и любителей поэзии собраны воедино, и на их основе опубликовано полноценное собрание произведений. Несколько лет тому назад в московском издательстве «Янус-К» вышла книга Ачаира «Мне кто-то бесконечно дорог...» (2009). В неё включено более четырехсот стихотворений. Поэт из далекого Харбина зазвучал в полный голос. Однако время от времени появляются и новые поэтические шедевры. В весеннем выпуске журнала «Русская Атлантида» (2013, № 46) опубликованы неизвестные стихи Ачаира, специально подготовленные им для популярного в эмиграции литературно-исторического альманаха «Вольная Сибирь», который выходил в Праге под редакцией крупного сибирского деятеля И. А. Якушева. Вследствие прекращения издания стихи остались неопубликованными и только теперь увидели свет. Среди них прекрасные образцы поэтического творчества — например, стихотворение «Евразия», — характеризующие собой не только эмигрантскую отечественную культуру, но знаменующие эпоху сибирского поэтического ренессанса, начавшегося в Русском Китае в начале 1930-х годов. Достаточно упомянуть, наряду с Ачаиром, имена не менее талантливых поэтов — Арсения Несмелова, Лариссы Андерсен, Валерия Перелешина, Лидии Хаиндровой, Виктории Янковской, Марианны Колосовой, Леонида Ещина и многих других.

На страницах альманаха «Вольная Сибирь», помимо стихов Ачаира, была также опубликована его большая поэма «Казачи» (ВС, 1929, № 5 и № 6-7). Это первое и единственное произведение «крупной формы», вышедшее при жизни поэта. Оно удивительно музыкальное, поскольку автор использовал в качестве фактурного материала для поэмы различные народные песни и сказы, в том числе песни казачьего сибирского войска периода киргизских набегов (первая четверть XIX столетия). Сюжетная линия поэмы охватывает предреволюционное время в России, военные походы по Сибири и эмиграцию на Восток. Алексей Ачаир по-настоящему дорожил своим творением, этот факт нашел отражение в его письмах к Якушеву. По масштабу литературного решения и идейному замыслу «Казачи» соперничают с блоковской поэмой «Двенадцать» (в одном случае изображена Русская революция, в другом — Гражданская война), хотя любимым поэтом Ачаира является все-таки не Александр Блок, а Марина Цветаева. Именно ей была посвящена другая поэма, которая пока неизвестна специалистам. Однако в архивном фонде «Вольной Сибири» (Русский заграничный исторический архив в Праге, теперь — Государственный архив РФ, Москва; Ф. Р-5869, оп. 1, д. 64, л. 3—9.) сохранилось еще одно произведение данного жанра — поэма «Борис Савинков» (возможно, не вся поэма, а только ее фрагмент). Из-за политического контекста она стоит особняком в поэзии Ачаира, что тем более может представлять неподдельный интерес. Поэт поворачивается к читателю необычной стороной своего творчества.

Борис Викторович Савинков (1879—1925) — трагическая фигура русской истории. Революционер, политический деятель, один из лидеров партии эсеров, и не просто лидер, а руководитель боевой организации. Кроме того, Савинков — участ-



ник Белого движения и еще незаурядный писатель, из-под его пера вышла шумевшая книга «Воспоминания террориста», им написаны повести «Конь бледный» и «Конь вороной», роман «То, чего не было», ряд публицистических и мемуарных вещей. Возникает закономерный вопрос, почему Ачаир взялся за такую нелегкую задачу — создать поэтический портрет одного из идеологов русского террора, который в конечном итоге порвал со своими прошлыми убеждениями? В условиях эмиграции решение такой задачи выглядит естественным делом. Ведь Савинков олицетворял военную силу Временного правительства, состоял комиссаром на Юго-Западном фронте и формировал Добровольческую армию. Большинство эмигрантов, обосновавшихся в Харбине, в том числе и Ачаир, также воевали, в Сибири и на Дальнем Востоке. Борьба с большевиками не прошла бесследно и вызвала устойчивую инерцию на многие годы, она выразилась в почитании «мучеников», оказавшихся на жертвенном алтаре советской власти. Борис Савинков погиб в московской тюрьме на Лубянке в 1925 году. Именно поэтому он выведен в поэме как «яркий Савинков» и «романтик». На переломе романтика революции имела не только коммунистическую окраску, она была пронизана и мятежным духом борьбы за Белую Россию. Алексей Ачаир, переосмысливая уроки революции и гражданской войны, искал в жизни новые, неполитические пути, и его идеалы неизбежно оказались связанными с малой родиной, с Сибирью. Свободная Сибирь нуждалась в герое, или вожде-романтике.

Биография поэта Ачаира изобилует неожиданными поворотами судьбы. Казак по происхождению, с юности он мечтал о военном образовании, но по здоровью вынужден был пойти учиться в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию в Москве. Студентом активно участвовал в антибольшевистском движении в октябре 1917 года. В начале 1918-го, вернувшись в родной Омск, наладил связи с сибирскими организациями, поступил в отряд Красильникова и с оружием в руках решил отстаивать свободу Сибири. После ранения и демобилизации Ачаир в 1921 году приехал во Владивосток и там сблизился с представителями Совета Уполномоченных Автономной Сибири и его главой известным кооператором А. В. Сазоновым. Вскоре он стал главным редактором областнической газеты «Последние известия» и затем вошел в Сибирское правительство областников, образовавшееся за три дня до падения Приморья в октябре 1922 года. (Самопровозглашенное Временное Сибирское правительство стало последним «белым правительством» на территории России.) Во время эвакуации им был проделан путь рядового эмигранта: на японском пароходе до корейского порта Гензан, а оттуда по железной дороге в Харбин. Начался период жизни в изгнании. Вехи биографии поэта помогают воссоздать его социально-политический портрет.

В начале 1920-х Алексей Ачаир решительно настроен против коммунистов. Будучи по натуре лириком, даже свои некоторые стихи он посвятил теме борьбы с большевиками. В «Последних известиях» им опубликованы первые стихотворения на политическую тему: «Памяти Корнилова» и «Тайфун» (оба 1922 г.). Это мостик к будущей поэме о Борисе Савинкове, которая была написана позже, в 1930-м — в год смерти его армейца-соратника и собрата по перу Леонида Евсеевича Ещина, умершего в Харбине от крайней нищеты и голода (поэма посвящена Ещину). В Русском Китае Ачаир постепенно отходит от политической деятельности, связанной с движением сибиряков-областников в эмиграции, которые отстаивали лозунг возрождения России посредством освобождения Сибири от большевиков. Однако поэт остается верен идеалу «Свободной Сибири», сосредотачивая свою работу на педагогическом поприще и патриотическом воспитании молодежи. Его цель — формирование молодого поколения эмигрантов, способных отстаивать национальные интересы своей родины. С 1923 года Ачаир поступает на службу в образовательные учреждения благотворительной организации «Христианский Союз молодых людей». На протяжении двадцати лет он воспитывает детей, организует Кружок русской культуры, литературный журнал «Чураевка» и, наконец, литературную студию с тем же названием, которая гремела на весь Харбин. Ачаир облек свои политические взгляды в педагогическую форму, видя в этом лучшие возможности для утверждения в сознании молодого поколения «сибирской идеи». Именно сложная биография поэта, с ее жизненными перепадами и поисками новых путей, роднит его с личностью Бориса Савинкова.

*Владимир РОСОВ,
Москва*



*Светлой памяти
Леонида Евсеевича Ещина*

БОРИС САВИНКОВ

«Мера вещей — человек».

Протагор

I.

Наша цель, как кристалл, многогранна,
только мерой всему человек,
и судьба — злая птица Корана,
не наметит для смелого вех.

В тщетных поисках ласки и счастья —
крохи булки, жена, самовар —
человечества drobные части
в вялой скуке искусственных пар.

И доценты, отдавшись науке, —
близорукость, очки, борода —
пишут нам о дыхании щуки —
изысканье по многим трудам;

А другие, швырнув в рестораны
и тоску, и бесцельные дни,
жизнью жалкой, сусальной и пьяной
красят серость усталых годин.

Пошлость вскормлена нивою тучной...
Где тут бодрость, где риск, где азарт?
Право, даже выигрывать скучно,
словно шулер крапленностью карт!

Ведь судьба — это только колода,
а крупье — Неизвестность... и Рок.
Волей в жизни дается свобода —
ставь же смело на карту, игрок!

Большинство — отказалось от карты,
не желая хотеть и дерзать, —
для уснувших страшны и угарны
заблестевшие страстью глаза...

Меньше блеска, отваги и красок
на сереющем фоне земли...
Новой, чуждой, ненужной нам расы
трафаретный рождается лик...

Тем отрадней в бездарности века,
что придавлен пятою мещан,
человек, чья судьба — фильмотека,
воля — Господа Бога праща...



Точно четкие строки новеллы,
точно опий дурмящих книг —
людям, в пошлости лет омертвелым,
динамичные, яркие дни.

Не пойму я, как в стае мышиною,
среди ничтожной пискливой возни,
в век парламентов, масс и машины —
яркий Савинков мифом возник.

II.

Сердце в юной груди, как граната,
и мустангом волнуется кровь;
болтовня... и цитаты, цитаты —
Михайловский, и Маркс, и Лавров...

Рвутся мысли быстрее, чем птицы,
до пределов земли и небес...
Скучен книжный подход меньшевистский,
диалектики вязок процесс.

Прокламаций тяжелые пуки —
нудность громких напыщенных фраз —
сходки, пренья, ораторы: скука —
как в солдатики в детстве игра.

То ли дело «Народная Воля»,
нелегальщины яркий роман,
ведь о скрытности серенькой моли
не напишут потомки тома.

Референту ль за грозные позы
будет светлая слава дана?
Только храбрым бросаются розы
из раскрытого настезь окна.

Эти розы, как царственность мантий,
аромат их — пьянее мечты.
Ради них без сомненья романтик
грудью шел на отточенный штык.

Неужели ж заняться кон-то-ра-ми,
неужели закиснуть в бюро?
За вскормленными скукою спорами
наживая себе геморрой!

Не служить же каким-нибудь клерком,
не кричать, как делец-адвокат!
Если жизнь теперь исковеркана —
пусть провалится, нудная, в ад!

Нам динамику следует ширить,
только бомбою пашется новь,
и слова, точно гулкие гири,
проникают и в разум и в кровь.



Брови хмуро сошлись к переносью
и задумчив прищуренный взор...
Он сочувственно в душу заносит
лозунг славы — Борьба и террор.

И у Гоца, в покое Женевы,
буйной мысли кончается рост...
Рвет судьбою наброшенный невод
мощно-крылый большой альбатрос.

III.

Подложный паспорт. Строгий смокинг.
Дым от прекраснейших сигар,
как на экране — Териоки
и нелегальщины угар.

Виденьем нежности Каляев [1] —
Владимир Ленский диких дней,
что странно так сопоставляет
Христа с дерзанием: Убей!

Он волю с ним сосредоточил
на том, чтоб ближний их погиб.
И вот! Из мяса с кровью клочья
и лошади последний хрип.

Вокруг растерянные люди,
слышны тревожные свистки,
и в грязной луже, как на блюде,
Его высочества мозги!

В Москве испуганной смятенье —
Убит... Вы знаете?! Сергей!.. [2]
Всей жизни вскрыто назначенье
в безумной, огневой игре!

В петлице вместо «Анны» — Плеве [3]
для кутежей «Московский Яр».
И он — не правый и не левый —
в хмельной бросается угар.

Пестрей причудливых мозаик
разнообразье встреч и лиц,
и каждый день любой прозаик
разбавил в тысячи-б страниц.

Вот ужин за столом с охранкой:
«Авось, сумеете узнать».
Ведь на вулкане мне цыганке
еще приятней руку жать!

Быстрее, чем миг калейдоскопа,
насыщенность мелькает тем...
Нет, не схватить тебе, Европа,
такой безумно-быстрый темп.

II

Жизнь мирная, стылая лужа,
но даже Синдбад и Колумб
считали — минутами нужен
нам отдых и домик среди клумб.

Затем — появились седины,
бумажник изящен и толст...
Иные набросим картины
на жизни натянутый холст.

Париж и колонна Вандома.
«Привет тебе, старший мой брат!»
В уюте прекрасного дома
прожитое манит назад.

Перо заменяет здесь шпагу.
Ряд нервных отрывистых строк —
и скрыла ревниво бумага
на автора личность намеков.

И снова успех за успехом,
прогулки на Place d'Opera
и полные шума и смеха
с богемой ночной вечера.

Но вдруг, неожиданным взрывом,
тревогой среди бурного сна,
сверкнуло, как гейзер, бурливо —
чеканное слово: «Война!»

И точно былой конквистадор,
почувствовав мощный призыв,
борец, террорист, литератор
вновь ожил от рева грозы!..

Такому свободней в окопах,
где царствуют бомбы и смерть,
в забывшей про чванность Европе,
познавшей безумия смерч.

И тянутся дни и недели,
которым названия нет...
Забыты тоска и бесцелье
и пошлый, обыденный бред.

Свержение царя... И для дела
Титана мятежный размах...
Так нужно же броситься смело
в курчавую гущу папах.

А далее... Зыбь парохода
и чей-то напыщенный спич —
свобода, свобода, свобода —
России родной паралич.





Психозы речей и истерик.
Керенский, как медиум дня.
Но Савинков с болью не верит
в мишурную ярость огня!

Борьба своей мощью красива,
болтать же, болтать и болтать —
упрашивать с видом плаксивым
Иванов разнузданных рать!

О нет! Он бросается в Ставку
— Корнилов! Надежда на Вас!
Острой, чем уколы булавки,
раскосые щелочки глаз.

«Советы ненужный нам тормоз —
их свергнуть, конечно, я рад.
Мне преданный Крымова корпус
возьмет без труда Петроград!»

И Савинков понял неожиданно —
он чуждый, он красный для них.
Так ладно ж! Все тонкие планы
разрушим с усмешкою в миг!

И верный догадке-ль, капризу?
Спасает распушенный сброд,
готовя идущих дивизий
бесцельный ненужный отход.

И снова, как тени баллады,
сквозь скепсиса тонкого дым,
триумфы привычной эстрады, —
сознание, что счастьем любим.

И жизнь в Петрограде не тошна,
хоть Этной взметнулся народ, —
в России живет роскошно,
пожалуй, и в годы свобод...

Внезапно... июль отменяя,
удар прогремел Октября...
То снова индусская Майя
кольшет житейскую рябь.

Трясет в первом классе вагона,
Финляндский озерный пейзаж.
Забыто безумье циклона,
Советов солдатская блажь.

Привычных мельканий морока,
как дата тут каждый ландшафт,
ведь в финских, простых Териоках
со смертью он пил брудершафт.

Судьба, как рулеточный шарик —
всегда ль выпадает зеро?
Сквозь блики мятежных пожарищ
слышнее космический гром.

V.

Бурно-грязное море шинелей прошивевших,
на дворцовом паркете из семечек слой...
Так неужто признать этот бунт опротивевший,
неужели не крикнуть про гнусный разбой?

Революция мыслима в тоге романтики,
порожденной веками восторженных грез,
но истерики, девки, пунцовые бантики
и герой революции — пьяный матрос?!

Надоело! Довольно! О хоть бы вы сгнули,
Хамы, сбившие с трона дубиной мечту.
Обнаглели? Давно-ль вы склоненными спинами
подпирали Распутина пьяного стул.

Ничего! Усмирим, и отряды Корнилова
с жалкой робостью встретите, звери-рабы!
Не словами, а грубой понятной вам силою
вас научим мы снова покорными быть.

Сердце полно огнем, ведь не время раскаянью —
я исправить ошибки бывшего готов,
уничтожу воскресшего Хама и Каина
дорогою ценою миллиона голов.

Теоретиком не был прикованным к парте я,
чтоб плутать в неразборчивой прелости догм,
исключение мое из эсеровской партии
не мешает, конечно, мне выполнить долг.

Духа вызвал — сумею и должен с ним справиться,
не кликушей же мне на пожарище ныть?
Не впервые России кровавую здравицу
преподносят с усмешкой ее же сыны.

В этой смуте солдатской и нудно и тошно мне,
но я верю, я знаю: из лап палачей
наша Русь в ее светлом жемчужном кокошнике
выйдет чистой к Нездешнему Свету Лучей.

VI.

Шагает по трупам конь бледный,
на нем победителем — Хам.
Последняя, жуткая бедность,
потеря прокуренных хат...

Потеря России сермяжной,
потеря России Мечты,
союзников чванная важность,
бичом полосующий стыд!

И в чуждом веселье Парижа
понятно, что все потерял:

убогих полянок пар рыжий,
церквей белокаменных ряд.

И слаще всех почестей горький
прокопченный воздух страны,
привыкшей и к рабству и порке,
забывшей прошедшие сны...

Сменившей Великое Имя
на пошлость бессмысленных букв,
отбросившей мысли о схеме,
вошедшей в разбойничий круг.

За воздух пьянящий и близкий
и вздох за запретной стеной,
что будет достаточным риском,
что будет достойной ценой?

VII.

Не пугает орлиную стаю
черной пастью зияющий люк...
Не впервые судьба заплетает
перед смелыми жизни петлю...

Не впервые, как тленье, измена
проникала и в дружеский круг...
И распахивал двери в застенки
для соратника преданный друг.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Каляев Иван Платонович (1877—1905) — русский революционер, эсер, террорист, поэт; дружил с Б. В. Савинковым со времени совместного обучения в варшавской Первой Образцовой Алухтинской гимназии.
2. Сергей — Великий Князь Сергей Александрович (1857—1905), дядя российского императора Николая II, московский генерал-губернатор; погиб от бомбы террориста И. П. Каляева.
3. Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — министр внутренних дел Российской империи, убит эсером Е. С. Сазоновым.



ДИАЛОГ В ПИСЬМАХ

Столетие завершилось, его уже называют прошлым, многое встало на свои места. Однако интерес к фигурам первого плана, таким как Алесь Адамович и Василь Быков, не исчезает. Читатели их поколения, поколения ветеранов войны, фронтовиков и партизан, иначе уже и не могут. Ведь это их жизнь и их время. Иное дело нынешнее поколение молодых, настроенных на критическое восприятие недавнего прошлого. Несмотря на общелитературную значимость и одного, и другого писателей, на то заметное место, которое они занимали при жизни, на протяжении полувека будучи на слуху у современников, спор об их наследии, жизненной судьбе, месте в литературном процессе продолжается.

Художественные работы и Адамовича, и Быкова, несмотря на известные препоны и противодействия власть имущих, печатались в свое время почти сразу после их создания. Для обоих это было очень важным — напечататься вовремя. Писание «в стол», в расчете на вечность писательского дела — не входило в их расчеты.

Именно этот подход к творчеству объясняет, почему они «нашли» друг друга почти сразу же после того, как начали печататься и обратили на себя внимание. Алесь Адамович стал известен в качестве литературного критика, трувера, трубящего о скором приходе новой литературы, «сверхлитературы», которую сам же и начинал создавать. Правда, своего друга и единомышленника он милостиво освободил от этой тяжелой обязанности.

«За особые заслуги и вклад тебя, Василь, — читаем в дарственной надписи (от 9 января 1986 г.) на книге “Ничего важнее”, — ладно уж, освобождаю от долга делать Сверхлитературу. Но все другие нет, не вывернутся!» Василь Быков был незаменим в роли «пролетария войны», сознательно избравшего этот трудный путь «пахаря», идущего по целине; он был сначала одним из создателей «лейтенантской прозы», впоследствии — открывателем нехоженых путей в литературе.

Всестороннее изучение творческих взаимоотношений писателей, конечно, требует основательного прочтения их художественных произведений в сопоставительном плане. Однако, к счастью, мы имеем такой весьма информативный источник, позволяющий приблизиться к разгадке глубинных мотивов их творчества, как личная многолетняя переписка. По существу, письма, разные по форме, краткие, чисто перечислительные, и довольно пространные, объясняющие, подробные, создают целостный и внутренне связанный текст. Каждое из них привносит нечто важное для понимания целого, а отзвуки диалога, однажды начавшись, находят продолжение в следующих письмах.

Причем диалог в соответствии со своим назначением идет все время на равных. К этому обязывает пройденный жизненный путь. Разница в том, что Адамович не знал тех лишений и полуголодного существования в детстве, как Быков, но зато остро ощутил на опыте близких родственников, что такое репрессии, да и собственной наблюдательности и живого интереса к жизни односельчан хватало. А дальше была война, из которой оба вынесли основное знание: нет большей трагедии, чем война, это мировое бедствие, независимо от желания или нежела-



ния, касается каждого и каждого принуждает к подчинению обстоятельствам. Судьба предоставила им возможность осмыслить пережитое и увиденное, поднимаясь в этом осмыслении все выше и выше. В этом движении общества к историческому пониманию пройденного пути оба были среди фронтового братства первопроходцев.

Отсюда такие неслучайные определения даже в обыкновенной поздравительной открытке Василя Быкова, кажется, первой в пестрой череде писем, открыток, телеграмм: «Дорогие мне: доктор* Александр Михайлович, писатель Алесь Адамович, партизан Саша!» Поздравление «с самым некогда желанным днем 9 мая, которого ждали все», с уточнением — задолго до песенного «как он был от нас далек» — «он был бесконечно далек, а жизнь человеческая — с заячий хвостик». С осознанием своей писательской и гражданской обязанности: «Но мы все-таки дождались, так с нас и спросится. Будем об этом помнить!» Все три определения Быкову дороги: общий жизненный опыт, писательское призвание, ум. Последнее — ум, образованность, начитанность, эрудицию, широту мышления, осознанность выбора — он всегда ценил в собеседнике.

И отдельно — гражданское мужество, твердость духа, готовность к самопожертвованию. Разочарование во многих талантливых людях, отвращение к корыстолюбию и преувеличенному самолюбию, оторопь при виде измены своей миссии — особый сюжет переписки.

Именно Быкову счел Адамович своей обязанностью сообщить, что происходило на IV пленуме правления СП СССР, который состоялся в Москве 26—28 марта 1963 года и был посвящен теме «За высокую идейность и художественное мастерство советской литературы».

«Все три дня сидел на пленуме, — писал Адамович. — Теперь мне понятно все, чего еще не понимал: и как начинался 37-ой и всё и вся. Кто поразил меня, так это Мележ. Мне казалось, что знаю его, его пристрастия, какая литература ему нужна. А он вдруг — бэцц! А потом еще искал во мне понимания и сочувствия. Я, озлившись, прямо ему и сказанул: “Пожалуйста, неси ношу свою сам. Сам возложил ее на себя. Никто даже и не принуждал тебя”. Ведь действительно, есть в них что-то не укладывающееся в мое понимание, хотя и мы были на войне и то, что они видели, тоже побачили».

Иван Мележ, белорусский писатель, выступил на пленуме с речью под заглавием «О смелости, которая городов не берет». Можно считать ритуальными общие фразы вроде следующей: «Для меня, как и для каждого советского писателя, большое значение имеют встречи руководителей партии с деятелями литературы и искусства». И. Мележ имел в виду встречу 17 декабря 1962 года в Доме приемов на Ленинских горах и вторую встречу 7—8 марта 1963 года.

По существу же, писатель повторил известные выпады Н. С. Хрущева, направленные против авангардного искусства и его представителей, против повышенного внимания к преступлениям режисера. «Напористо, самоуверенно, как сорняк, стало лезть на литературное поле лженоваторство, некий идейный анархизм, обывательское презрение к народному в литературе... Именно эти “новаторы” и считали себя наиболее решительными и последовательными борцами с культом личности, наиболее чуткими и наиболее верными исполнителями воли партийных съездов... История с “новаторами” напомнила нам, что в вопросах защиты основ нашего искусства нельзя либеральничать, ибо если кто-то из писателей, работающих в классической традиции социалистического реализма, готов был, так сказать, существовать с формалистами, с “новаторами”, то они, по сути, и в мыслях не допускали сосуществования... Есть смелость, вызванная заботой о народе, о великой литературе, и смелость, вызванная заботой о себе».

Неадекватное поведение И. Мележа можно объяснить тем успехом, которым пользовался его первый роман из «Полесской хроники» под названием «Люди на болоте». Именно в это время, в марте 1963 года, роман должен был печататься

* Имеется в виду — доктор филологических наук. Преподавал в БГУ, МГУ, работал научным сотрудником, зав. сектором Института литературы им. Я. Купалы АН БССР.



ся в «Роман-газете», корректуру его автор вычитал в январе, незадолго до пленума. Одновременно роман готовился к изданию на украинском и чешском языках, в отрывках — на польском, немецком, английском, испанском языках. Отзвуки выступления на пленуме звучат в письме зав. отделом литературы и искусства газеты «Правда» М. А. Абалкину от 1 июня 1963 года, где И. Мележ рассуждает о своем намерении «написать книгу в полном смысле народную, прославляющую народ, его подвиг, проникнутую великим уважением к нему и заботой о нем». Алесь Адамович, конечно же, подобных оговорок и объяснений не принимал и воспринял его речь как осуждение интеллектуализма в литературе и стремления осмыслить трагическую историю страны.

В письме Наталье Адамович, дочери А. Адамовича, от 26 июля 2008 года Валентин Оскоцкий, имя которого тоже упоминается в письме, дает следующее объяснение: «Это могла быть середина 60-х, перед падением Хрущева. И Саша, и Василь, и я грешный очень нервно воспринимали тогда накат правительственных встреч, союзных и республиканских, с творческой интеллигенцией и последовавших за этими встречами писательских пленумов. Кажется, что-то раздражающее сказанул на эту болезную тему и И. Мележ, старавшийся отыскать компромиссную линию примирения с установками сверху».

А. Адамович и В. Быков «компромиссную линию примирения» отвергали напроць. Об этом — почти каждое письмо. Новые произведения писателей ждала одна и та же судьба: резкое неприятие и темы, и материала, и образов героев, и самого тона повествования, нудные торги почти за каждое слово, поиски достойного выхода из тупика, мелкие уступки, за которые было бы не стыдно, и усталость после мелочной возни вокруг нового произведения.

Общая интонация переписки 60—70-х годов — заинтересованность друг в друге, постоянное примеривание к тому, что делает другой: «А здесь Картюк всегда меня тормозит — что Адамович, как Адамович? А я ничего не могу сказать — попробуй, найди Адамовича! Завидую твоей жажде творить и трудоспособности. У меня же всё пропадает. Подумываю над тем, чтобы годика три помолчать. Во всяком случае, решил писать как можно меньше и печататься реже. Потому что работа моя — всуе, напечатанная не приносит радости, а нечто напротив. Зачем такая?» Литературные заботы заметно оттесняют житейские.

Однако уступок в самом главном оба избегают — перед глазами суетливое желание многих коллег и правду сказануть, и напечататься. «С новой повестью налады. “Юности” и хочется, и колется, — сообщает В. Быков о судьбе повести “Мёртвым не больно”. — Требую смягчить, просветлить. А я в этот раз решил не уступить. Пусть останется ненапечатанной. Пусть лежит. “Малодосць” тоже не проявляет энтузиазма, видимо, побаивается. Действительно, повесть не для юбилейных лет, — антикультовская и антивоенная. Так что кое в чем я даже сочувствую редакторам. Им тоже не сладко».

Юбилей следуют за юбилеями, и всё не вовремя. А результат всегда один: «Неужто перестраховщики из “Роман-газеты” не примут для издания, как не приняли тебя? Я просто возненавижу их тогда». И вечная боязнь, «что все-таки они меня объегорят. В последний момент, когда уже поправить что-нибудь будет поздно. Просто со страхом жду выхода...».

Страх небезосновательный, как показала позднее известная история с якобы подписанной В. Быковым «коллективкой» с осуждением поведения А. Солженицына, стоившая белорусскому писателю нравственных страданий. Статьи, эту «коллективку» из белорусских писателей подписал только И. Мележ — выбор был небольшой: его «Полесскую хронику» как раз выдвинули на Ленинскую премию.

Исповедальные письма обоих корреспондентов, дающих объяснения собственного поведения, в этот период преобладают. Оба — Быков после «Мёртвым не больно», а Адамович после романа-диалоги «Партизаны» — находились в поиске нового материала, нового подхода, нового стиля.



Во второй половине 60-х и в первой половине 70-х они читали друг друга в машинописи. Автор выступает в роли адресата оценок, вопросов, советов, отдельных замечаний. Вместо уважительного — со стороны Быкова: «Дорогой Александр Михайлович!» появляется дружеское, почти интимное: «Саша, дорогой дружище!» У Адамовича: «Дорогой Вася!», «Дорогой Василь!» Основная тональность почти восторженная: «Ты — молодец! Так тонко, нежно, артистически проникнуть в столь сложный мир — это здорово. Все время я читал с интересом, с восторгом, с некоторой завистью, п. ч. сам так, конечно, не умею» (В. Быков); «Прочел я твою партизанскую повесть... Вещь получилась ничуть не слабее, чем твои фронтовые. И даже что-то новое ты обрел. Сильно я этому рад, Вася. Теперь я особенно ощутил, чего не хватает мне: вот этой вещности, неторопливости в деталях предметного мира (при всем твоим лаконизмом)» (А. Адамович).

В. Быков: «Саша, дорогой друг! Поздравляю тебя с премией*, заслуженной давно и присужденной недавно. Я очень рад, что, наконец, посчастливилось встать в полный рост на собственном, сложенном тобой, пьедестале. Стой там, как можно дольше, и посмеивайся тихонько, зная какую еще книжечку ты держишь за своей спиной.

Пускай позавидуют!

Обнимаю — твой Василь Быков».

Свои впечатления А. Адамович проверял, например, на мне, моем восприятию еще не напечатанной вещи и, как я понял, не только на мне. Уже тогда он готовился к написанию большой статьи о творчестве своего коллеги и друга. Делал акцент на «вещности» быковского мира. О том, что В. Быков учился в художественном училище и делал наброски карандашом или авторучкой во время рутинных заседаний и пленумов, конечно, знал. Быковского самобичевания: «Я вот привел в божеский вид своих “Мёртвых”, и то всё это напоминает скорее конспект», «После чтения твоих страниц мне мои собственные кажутся стенгазетой», — не принимал. Отвечал: «“Стенгазетой” и мне мое кажется и очень часто. Только дай мне бог такую “стенгазету”! И ты знаешь, насколько это искренне». Пока преобладало осторожное примеривание к великим теням прошлого: «старик Фрейд», «в стиле комиссара Мегрэ», «разве что Ф. Достоевский».

В. Быков, со своей стороны, готов целиком оправдать обращение А. Адамовича к русскому языку: «И тут, если обратиться к давнему спору среди бел. литераторов, становится совершенно понятным, почему ты пишешь по-русски. Впрочем, мне это было понятно с самого начала». Действительно, А. Адамович с самого начала писательства сознательно ориентировался на традиции Л. Толстого и Ф. Достоевского. Из белорусов выделял К. Чорного, который в свое время шел тем же путем. Но, в отличие от него, «не имел белорусской закваски, которая дается только в детстве». Так отвечал он мне, когда я однажды отважился затронуть в разговоре этот большой для него вопрос, которым и меня доставали. Группа писателей даже обратилась с письмом в редакцию журнала «Маладосць», почему напечатали русскоязычную повесть Адамовича «Виктория» (затем — «Асия») в переводе (о джентльменской договоренности с прекрасным прозаиком и переводчиком Михасем Стрельцовым знали все). В. Быкову, в свою очередь, в начале его творческого пути тоже перепало за «плохой» белорусский язык, на котором у него разговаривают герои, в большинстве своем военные люди, пользующиеся армейской лексикой.

Пожалуй, оба писали бы и на французском, если бы знали его, как в свое время А. С. Пушкин. Писали бы, если бы французам — после Сартра и Камю — понадобились писатели масштаба Адамовича и Быкова. «В конце концов, — писал А. Адамович, — и в чисто-мыслительной литературе может быть поэзия (французы это доказали), если мысль больна своим временем. Если я и не добрался еще до нее, то направление в целом ничуть не страннее других». Направление понадобилось белорусам.

* В 1976 году за «Хатынскую повесть» А. Адамович получил Государственную премию БССР имени Якуба Коласа. К письму приложен рисунок В. Быкова.



У В. Быкова о том же: «Так вот, Саша, я еще раз хочу просить тебя: не смей и думать даже, что тебе чего-либо не хватает — у тебя вдоволь всего. Ты — честный глубокий мыслитель, ты — отличный художник. ХУДОЖНИК, ты слышишь это? Разве этого мало для одного человека в наш бездумный меркантильный век? И этим отмечены все твои произведения — поверь, со стороны это отлично видно. Пусть они, м. б., не в традициях белорусской прозы, ну и что ж? Зато вполне в традициях современной мировой прозы, и вполне на европейском уровне... <...> от Лупсякова до Мележа — сплошь удачи в изображении и изобличении мужика-недотепы и кулака-стяжателя. Но где интеллектуальный роман, который давно уже процветает на Западе? Его нет у нас, и начинаешь его некоторым образом ты. Конечно, это трудно, но, видимо, это необходимо. В этом завтра всякой литературы, в т. ч. и белорусской».

Письма становятся всё более полемическими. Полемика инициирована А. Адамовичем, но и В. Быков отвечает резко, не оставляя места для компромиссов: «Извини, пожалуйста, за столь ненужные, м. б., для тебя наставления, просто меня задела одна твоя фраза в письме, и я решил высказаться. И еще хочу добавить к этому, что я давно и очень поверил в тебя и потому не потерплю, если кто-либо, хоть бы и ты сам, будет колебать во мне эту веру».

Разработанный А. Адамовичем в начале 1972 года вопросник был роздан нескольким белорусским прозаикам. Ответы ему прислали В. Быков, Я. Брыль, М. Лобан, И. Мележ, и их ответы на вопрос о будущем литературы во многом совпадали. Это, прежде всего — убеждение, что необходимым условием плодотворного движения вперед является еще более смелый выход белорусской прозы к большим современным проблемам, которые волнуют человечество и которыми жива большая литература. Фрагменты ответов использованы Адамовичем в статье «Толстовский шаг», включенной в книгу «Издали и вблизи: Белорусская проза на литературной планете» (Минск: Маст. лит., 1976).

Быковский ответ наиболее радикальный и самый пессимистический из всех: «Я никогда не заглядываю далеко, не только в 82-й, но даже в завтрашний день — что поделать, плохо так, но это привычка молодости, с войны. Не люблю и не хочу. Я уже не знаю, что и как — сегодня, чувствую, что реалистической л-ре делать нечего, надобна л-ра другого рода, типа С.-Щедрин, Булгакова, отчасти Достоевского, но кто ее позволит. Эпикой Толстого ничего не возьмешь, не отразишь и части того, что есть. А вообще я думаю, что л-ра скоро отомрет за ненадобностью, происходит мощное, глобальное роение человеческих сил, и все дело будут решать расы, ракеты, идеологии. Искусство будет терпимо лишь как средство пропаганды не более. Впрочем, это уже есть. А что еще будет... Что делать, я пессимист, страстно желающий оказаться неправым в этом своем пессимизме...»

В дальнейшем интенсивность переписки уменьшается. В письмах все больше простой информации о событиях, происшествиях, встречах. В основном содержание исчерпывается вопросами литературно-организационными и редакционно-издательскими.

Личные отношения остаются все теми же. Но определенные изменения в интересах становятся все заметнее. А. Адамович щедро раздает советы: «...хотел бы прочитать, чем ты грозился: детство колхозное и т. д.»; «...вдруг новый Быков, совсем новый по материалу...». В. Быков устало отмахивался: «Конечно, ты прав, с этим надо кончать. Я так и намерился — поставить точку и не только в военной теме, но и вообще. Литература сходит на клин, а тема войны уже сошла, в рамках дозволенного уже ничего не осталось».

В середине 80-х годов вышел в свет фотоальбом «Василь Быков», сделал его Адамович. Он же подбил Быкова на диалог обо всем — о жизни, о литературе, записывая его на магнитофон на протяжении трёх дней (текст сняла с пленки Вера Адамович). В фотоальбом вошла только часть их беседы, вся она была напечатана в журналах «Польмя» (на белорусском языке) и «Вопросы литературы» (Алесь Адамович — Василь Быков. «Мир спасется подвигом духа». Беседа о войне и современности // Вопросы литературы, 2007, № 4, № 5).

Михась ТЫЧИНА



[Москва — Гродно.] [1963]

Дорогой Вася!

Благодарствую за помощь слаборазвитым странам [1]. Ты уехал, так я и не узнал, что решили соломоны в юбках, не очень ли. Валя [2] тоже ничего не знает. Все три дня сидел на пленуме [3]. Теперь мне понятно все, чего еще не понимал: и как начинался 37-ой и всё и вся. Кто поразил меня, так это Мележ [4]. Мне казалось, что знаю его, его пристрастия, какая литература ему нужна. А он вдруг — бэнц! А потом еще искал во мне понимания и сочувствия. Я, озлившись, прямо ему и сказанул: «Пожалуйста, неси ношу свою сам. Сам возложил ее на себя. Никто даже и не принуждал тебя». Ведь действительно, есть в них что-то не укладывающееся в мое понимание, хотя и мы были на войне и то, что они видели, тоже побачили.

Числа 1-го уеду в Минск. Уже здорово влечет нутро мое.

Привет жинке [5] и веселым разбойникам [6] твоим!

Адамович.

1. Адамович благодарит Быкова за денежную помощь.
2. *Оскоцкий Валентин Дмитриевич* (р.1931) — русский литературовед, критик, публицист, журналист, друг А. Адамовича и В. Быкова.
3. IV пленум правления СП СССР (26—28 марта 1963 г.).
4. *Мележ Иван Павлович* (1921—1976) — белорусский прозаик, драматург, публицист. С 1966 — секретарь, в 1971 — 1974 — зам. председателя правления СП БССР.
5. *Надежда Андреевна Кулагина* (1923—1982) — первая жена В. Быкова.
6. Сыновья В. Быкова: *Сергей* (р. 1952) и *Василий* (р. 1957).

[Москва — Гродно.] 8.03.1965 г.

Дорогой Вася!

Встретил вчера Грицай [1], долго шикал: «Чур, чур тебя!», но ржавая борода его не пропала, и это все-таки оказался Гриц. Сказал, что вы приезжали ко мне и не застали. Это жаль, потому что и я тебе звонил и не мог достать тебя никак. На радио сказали, что ты уехал 9-го. И про то, что с повестью [2] начинаются новые «хождения по дуракам». Так оно, к сожалению, и никак иначе, хотя и время другое и люди — тоже. Мне кажется, что ты уже врос в литературу, стал прочно, что можно и не поддаваться тем «благодетелям», для которых твоя новая повесть — лишь зная сумма для них, а что и как — всё равно. Извини, что не в свое полез, но, к сожалению, даже мои студентики [3] очень точно угадывают, что и «Баллада» [4] и «Западня» [5] странно и нарочно как-то кончаются.

Ну да ты крепок, выдюжишь, как любят писать донцы.

Столь близко принимаю эту ситуацию и потому еще, что сам скоро окажусь в том же положении, и тогда подтвердится старая истина, что советовать легче, чем самому... Чужую беду руками разведу!

Но сейчас я в той стадии, когда думаешь: скорее бы расплеваться, вот следующую вещь напишу! И снова о войне. А ты забеги в современность на минутку — поменяемся полками. Не хочешь?

Как там Карпюк? [6]

Привет жене и парням твоим!

Адамович.

1. *Грицай Г.* — аспирант ИМЛИ им. М. Горького, знакомый А. Адамовича и В. Быкова.
2. Повесть «Мертвым не больно».
3. А. Адамович с декабря 1962 г. по 1964 г. учился на Высших сценарных курсах в Москве, преподавал белорусскую литературу в Московском государственном университете (1964—1966 гг.).
4. Повесть «Альпийская баллада».
5. Повесть В. Быкова.
6. *Карпюк Алексей Никифорович* (1920—1992) — белорусский прозаик, жил в Гродно, друг В. Быкова и А. Адамовича.



[Гродно — Москва.] 1 апреля 1965 г.

Дорогой Александр Михайлович!

Спасибо тебе за слова хорошие, и за письмо, и за память. По правде, эти московские поездки сливаются для меня в один сплошной сумбур. Надо бы, конечно, пребывать там дольше, чтобы как-то расчлнить впечатления. Но так не получается: время маловато, а дела поджимают, ну и — чарка. (Не без нее ж!) Вот так и подбегает время отъезда. А здесь Карпюк всегда меня тормозит — что Адамович, как Адамович? А я ничего не могу сказать — попробуй, найди Адамовича!

Завидую твоей жажде творить и трудоспособности. У меня же все пропадает. Подумываю над тем, чтобы годика три помолчать. Во всяком случае, решил писать как можно меньше и печататься реже. Потому что работа моя — все, напечатанная приносит не радость, а нечто напротив. Зачем такая?

С новой повестью [1] нелады. «Юности» [2] и хочется, и колется. Требуют смягчить, просветлить. А я в этот раз решил не уступать. Пусть останется ненапечатанной. Пусть лежит. «Маладосць» [3] тоже не проявляет энтузиазма, видимо, побаивается. Действительно, повесть не для юбилейных лет, — антикультовская и антивоенная. Так что кое в чем я даже сочувствую редакторам. Им тоже не сладко. К тому же еще перевод, в котором черт язык вывихнет. Он отлично охлаждает всякое желание напечатать (это на русском). А на белорусском наши товарищи действуют по принципу: главное — чтоб тихо. А что — неважно.

Читал ли ты Бакланова? [4] Мне очень нравится: так конспективно-сжато и так много сказано. Автор говорил, что первоначальное название вещи было — «Расплата». Это, конечно, очень точно. Неужто перестраховщики из «Роман-газеты» не примут для издания, как не приняли тебя? Я просто возненавижу их тогда. (Между прочим, на днях намаялся я с ними по поводу статьи — на обложку — к роману О. Кожуховой [5], которую они мне заказали. Режут, вытравливают все мои оценки, зачеркивают суждения о романе, войне, о военной литературе. Я уже было дал телеграмму: снять и не печатать. Тогда зазвонили телефоны, начали оправдываться. В конце концов, пришли к компромиссному решению. Но я боюсь, что все-таки они меня объедят. В последний момент, когда уже поправить что-нибудь будет поздно. Просто со страхом жду выхода этого романа с моей статьей.)

А. Карпюк энергично руководит Отделением [6]. Организует в мае совещание начинающих с участием литературных сил Минска и Белостока. Т<ак> ск<азать>, международный форум.

Я усиленно авторизую перевод. М. Г. [7] торопит. Я же не тороплюсь, т. к. знаю — ни к чему.

На том — желаю тебе всяческих благ.

Крепко жму руку — Василь.

Буду в М<оскве> — попытаюсь все же тебя разыскать. В апреле.

1. «Мертвым не больно».
2. Литературный журнал.
3. Литературный белорусский журнал на белорусском языке.
4. Бакланов Григорий Яковлевич (р. 1923) — русский прозаик.
5. Кожухова Ольга Константиновна (р. 1922) — русская писательница. Речь идет о ее романе «Ранний снег».
6. Гродненское отделение Союза писателей БССР.
7. Горбачев Михаил Васильевич (1921—1981) — один из первых переводчиков В. Быкова на русский язык.

[Гродно — Москва.] 28/1-66 г.

Саша, дорогой дружище!

Сегодня прочитал твою «Викторию» [1] и спешу тебя сердечно поздравить. Ты — молодец! Так тонко, нежно, артистически проникнуть в столь сложный мир — это здорово. Все время я читал с интересом, с восторгом, с некоторой завистью, п<отому> ч<то> сам так, конечно, не умею. Теперь я вполне понимаю твое обраще-



ние к русскому языку и целиком оправдываю его. Очень жаль, что Москва медлит с ее публикацией, что же касается белорусской литературы, то тут «Виктория» — драгоценный камешек в ее короне. Правда, возможно, случится так, что не все и не сразу это заметят. Мне кажется, перевод М. Стрельцова [2] безукоризнен. Вообще с русского — на белорусский звучит, не то, что наоборот. Я вот едва привел в божеский вид своих «Мертвых», и то всё это напоминает скорее конспект. К тому же еще в «Новом мире» довольно пощипали и поскубали. Но что сделаешь. Только и радости, что — «Новый мир», а так вроде не печататься бы на русском вовсе.

Желаю тебе на долгие и многие годы столь же блестящего таланта и столь же мудрых и светлых мыслей, какие обнаружил ты давно, но с таким блеском реализовал в «Виктории».

С викторией тебя, дружище!

Твой Василь.

1. Позже название автором изменено на «Асия».
2. *Стрельцов Михаил Леонидович* (1937—1987) — белорусский прозаик, поэт, переводчик, публицист.

[Гродно — Москва.] 15/II-66 г.

Саша, дорогой дружище!

Сегодня я договорился с Богдановой [1], что напишу рецензию на твою «Викторию» [2]. Но Зина говорит, что они хотят иметь в виду полный текст повести, который будет опубликован в «Немане» [3]. Я, конечно, не против «Немана», но думаю, что мне нет смысла ждать выхода этого журнала с повестью. Не знаю, велики или нет у него расхождения с вариантом «Маладосці», если эти расхождения на смысл рецензии не повлияют, то, дабы не тянуть время, я сейчас бы и засел за написание, сославшись на эти два издания. Если же все же стоит мне прочесть «неманский» вариант, тогда, очевидно, придется подождать. Вот об этом я и хочу испросить твоего совета. Можешь позвонить. (Мой кв. тел. 45-45 — это утром до 10 и вечером с 7, и служ. 33-64 — с 10 утра до 6-7 веч^{ера} с перерывом на обед, когда я там не бываю, с 14 до 16). Или напиши.

Как там чувствует себя Москва? На днях туда уехал А. Карпюк. (Ему здесь досталось и еще достанется. Но это между прочим.)

Так я жду твоей весточки.

Жму твою честную руку — твой Василь.

1. *Богданова Зинаида* — в то время сотрудник «Литературной газеты».
2. Быков В. Уроки жизни // «Літаратура і мастацтва». 1966.02.12 (почему рецензия не появилась в «ЛГ» — ясно из текста письма).
3. Литературный белорусский журнал на русском языке.

[Гродно — Москва.] 26/X-67 г.

Дорогой Саша!

Прочитал за один присест, ночью и, как всегда, с наслаждением, с увлечением, с огромным интересом. Психологизм твоих вещей всегда меня удивлял, в этом смысле я не знаю равного тебе в современной рус^{ской} литературе. Мне думается, что старик Фрейд, будь он жив, читал бы твои вещи, как трактаты специалиста-психоаналитика. Глубина твоих чувствований и точность их передачи прямо-таки удивляют. После чтения твоих страниц мне мои собственные кажутся стенгазетой. И тут, если обратиться к давнему спору среди бел^{орусских} литераторов, становится совершенно понятным, почему ты пишешь по-русски. Впрочем, мне это было понятно с самого начала.

Повестушка [1] удивительно ёмкая, насыщенная до предела образами и мыслями, многие из которых по своей точности и глубине — афоризмы. Стиль нелегкий, требующий внимания, постоянного напряжения, но так, видимо, и должно быть. Композиционный прием хорош, он позволил тебе сконцентрировать так много на 75 страницах. Правда, может быть, стоило бы сделать несколько перебивок потока сознания сценками в парке — конечно, столь же осмысленными, философскими, как



и все прочее. Но это уже дело вкуса. Как и в «Виктории», ты сумел и здесь сплавить в одно социальное и камерное, хотя, может быть, и не так искусно. (Там этот социальный фон был как-то, более причинно, сведен с судьбой героев, здесь — меньше.) Тем не менее, «Виктория» мне видится ярче, четче, понятнее, хотя ты ее почти нигде не объяснял. Здесь, может быть, по причине раздробленности этого обряда во времени, Жена как-то не складывается в одно и видится разными людьми: девушка-студентка, счастливая жена, очаровательная любовница и несчастная мать. Что она такое при последней встрече — я не знаю. Хороши все Алексеи, Сталинский стипендиат, — зримо, точно, насыщенно. В изложении приемов и повадок этих людей ты мастер непревзойденный. Я просто пожалел, что о них мало, хотя и все остальное — высокое искусство. Короче говоря, повесть эта из ряда тех книг, которые закрываешь с неудовольствием лишь оттого, что они так скоро оканчиваются.

И, тем не менее, на мой взгляд, есть у тебя и некоторые просчеты. То, как все это написано, я ставлю на самую большую высоту, а вот что, мне думается, нуждается в уточнении. Я не определил еще, как отнестись к главному конфликтному узлу, если таковым считать роковой эксперимент с прививкой. Что это? Научная самоотверженность? Отчаяние неудачника или чисто моральный ход во очищение совести. Если считать типическое законом нашего искусства, то здесь вряд ли он соблюден, этот закон. Это скорее из XIX века, в середине XX да еще у нас вряд ли такое возможно, во всяком случае, сомнительно. Может это и не так важно было бы вообще, но здесь на этом факте лежит очень многое, в том числе и концовка, которая мне кажется совершенно не в духе повести, а скорее в стиле комиссара Мегрэ. Саша, не надо этой смерти поперек чемодана. Правда, там сильный сюрреалистический образ, но всё равно не надо. Пусть лучше будет недоговоренность, неясность, как было в «Виктории». Или просто — обрыв. Только вот это меня немного смущает, хотя может, я и ошибаюсь или при чтении где-то какая-то тонкость от меня ускользнула — такое бывает, читал один раз, а у тебя таких тонкостей подтекстового смысла множество.

Двумя последними повестями ты зарекомендовал себя отличным ремаркистом, и в этом я не вижу ничего плохого. Тем более что в камерном с виду сюжете ты, как никто другой, умеешь поднять (зло и мастерски) глубокий социальный пласт. Предосудительное же, по мнению многих, внимание к отношениям двоих — мужчины и женщины — мне таковым не кажется, скорее наоборот, потому что и тут ты — отличный знаток и мастер-психолог. Так что дай тебе бог, невзирая ни на какие толки. Вообще же трудно чего-либо требовать от маленькой повести, в которой автор и так вывернул, дай бог сколько! Поэтому, как и прежде, я остаюсь с уверенностью в твой высокий прекрасный талант, очень люблю тебя и по-хорошему завидую твоему мастерству, в котором, еще раз говорю тебе это, не знаю равных тебе. Разве что Ф. Достоевский, но он такого эффекта достигал гораздо большей затратой изобразительных средств. Ты же — предел лаконизма.

Вот и все.

Крепко жму твою руку,
дай бог удачи тебе с публикацией.

Твой Василь.

Привет твоей Вере [2], которую мы приветствуем сообща с Надей.

Алексей [3] тебе напишет особо.

Сегодня я повесть передаю ему.

В. Б.

1. «Последний отпуск».

2. *Адамович Вера Семёновна* (р. 1929) — жена А. Адамовича.

3. *Карпюк*. См. примечание к письму от 08.03.1965.

[Минск — Гродно. 1967]

Дорогой Вася!

Сам знаешь, что значит получить первое слово о новой твоей вещи! Тем более такое слово и от человека, которого ставишь так высоко. Хорошо понимая, где преувеличения, идущие от твоего темперамента, тем не менее рад твоему доброму



слову. Тем более рад, что на лучший, чем «Виктория», прием даже от людей близких по ощущению, не рассчитываю. А между тем как-то иначе писать, вернуться к «Партизанам» я уже не могу, как не может взрослый сунуть палец ноги в рот и сосать, хотя в детстве ему это ничего не стоило. Там я тоже выражал себя всего, но я был совсем другой. А себя сегодняшнего могу выразить только так. Никакой это не эксперимент (как мне говорили), до эксперимента ли, до пробы ли голоса человеку в наше время!

Берусь сейчас за повесть про партизан, и тоже будет в том же ключе чувствую.

Вот почему так обрадовался я твоему письму: не все, но примут — и такого.

В конце концов и в чисто-мыслительной литературе может быть поэзия (французы это доказали), если мысль больна своим временем. Если я и не добрался еще до нее, то направление в целом ничуть не страннее других.

Прав ты где-то в отношении «опыта на себе», с которым многое связано в повести. Но ввел я его, чтобы укрепить моральные позиции моего героя в единоборстве его с «Алексеями». Буду переписывать — обдумую заново.

Надеюсь скоро почитать твои новые вещи. И не я один жду. «Стенгазетой» и мне мое кажется и очень часто. Только дай мне бог такую «стенгазету»! И ты знаешь, насколько это искривлено.

Привет славному городу, который каждый день с тревогой вслушивается в честные шаги «неистового Алексея»! [1]

Жене и твоим соловьям-разбойникам привет.

Жму! Саша.

1. Имеется в виду А. Карпюк.

[Гродно — Планерское (Коктебель). Без даты. 1967—1968 гг.]

Саша, дорогой дружище!

Первым делом — приветствую тебя издалека, желаю тебе массу солнца, воды и прохладной тени под коктебельскими акациями. Надеюсь, работается там вам легко и вдохновенно. Нам тут не очень, но жалобы — потом.

Знаешь, Саша, видимо, рецензент (или как ты однажды выразился по телефону — теоретик) из меня аховый, продукт моего творчества чертовски не идет, хоть плачь. Как один остряк сказал: Б., да еще в соединении с А., — непроходимо. Из «Н<ового> м<ира>» Алеша К. [1] ответил вежливо, побожился, что тебя любит, но рецензия ему показалась слишком апологетической. В «ЛіМе» ее почти месяц изучает редколлегия. Сегодня звонил Ничипору [2], сошлись на том, что напечатают, но подверстают и другое мнение, видимо изложенное Герцовичем [3] (или еще кем-нибудь из ему подобных). Я думаю — пусть! Дурака это еще глупее не сделает, а умный поймет что к чему. Так что будем ждать.

На днях тут, в Гродно, виделся с Мих. Павл. Ф. [4]. Говорили о том, о сем и о тебе тоже. Он сказал, что хотят тебя закабалить должностью и уже имеют на этот счет договоренность с начальством. Полушутя-полусерьезно я сказал, что для них это слишком большая честь — иметь в штате А<дамовича>. Но он (М. П.) хорошо к тебе относится и желает добра. Так что, может, и стоит? Только — это тебе мой приватный совет — не вникай в это дело слишком глубоко и слишком серьезно — наше кино сегодняшнего дня этого не стоит. 3/4 себя оставь для литературы, а 1/4 можешь поучаствовать в кино-волынке.

На этом я с радостью обнимаю тебя (хочу обнять) и жму твою руку.

Твой Василь.

P.S. Мой привет твоему соседу, — Турову [5], если ты с ним еще не того... не поцапался. Хотя он парень хороший!

В. Б.

Кажется, там где-то и Гена Буравкин [6]? Обнимаю и его. И возвращайтесь побыстрее, а то без вас Минск — Синайская пустыня. Толя Вертинский [7] — на Балтике, Нил [8] в чужих краях, Миша Стр<ельцов> — в народе. А в столице — ни души.

В.



1. *Кондратович Алексей Иванович (1920—1984)*, литературный критик, в то время — заместитель главного редактора журнала «Новый мир».
2. *Пашкевич Никифор Евдокимович (р. 1924)* — белорусский критик, тогдашний главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва».
3. *Герцович Яков Бенциянович (1909—1976)* — белорусский критик вульгаризаторской школы.
4. *Берёзка (наст. Фрайман) Михаил Павлович (1921—1992)* — белорусский сценарист, кинодраматург.
5. *Туров Виктор Тимофеевич (1936—1996)* — белорусский кинорежиссер, постановщик кинофильмов по дилогии А. Адамовича «Партизаны»: «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой». Сценарий А. Адамовича. Съёмки проходили в конце 1960-х гг., вышли на экраны в 1970 году.
6. *Буравкин Геннадий Николаевич (р. 1936)* — белорусский поэт, публицист, переводчик.
7. *Вертинский Анатолий Ильич (р. 1931)* — белорусский поэт, журналист, критик.
8. *Гилевич Нил Семёнович (р. 1931)* — белорусский поэт, переводчик, публицист, литературовед, фольклорист.

[Минск — Гродно. 17.09.1968]

Дорогой Василь!

Прочел я твою партизанскую повесть [1]. При всей вере в твои возможности брался я за нее с некоторым опасением. Вот ведь автору великой «Жестокости» [2] не удалось стереть налет какой-то вторичности с материала, взятого из вторых рук («Через кладбище»). А тебе это удалось. Вещь получилась ничуть не слабее, чем твои фронтовые. И даже что-то новое ты обрел.

Сильно я этому рад, Вася. Теперь я особенно ощутил, чего не хватает мне: вот этой вещности, неторопливости в деталях предметного мира (при всем твоём лаконизме). (...Пилотка убитого, пыльная сверху и насыревшая снизу и т. п.)

Есть у меня и несколько замечаний.

Понимаю, зачем тебе вставные рассказы, но они все-таки придают несколько дидактический характер главной мысли. То же самое и рассказ, как отоваривали фальшивые карточки — ненужное подчеркивание, а потому и упрощение того, что было уже на мосту.

И вот еще что. Ты, кажется мне, во взаимоотношения партизан перенес чуть-чуть фронтового. На фронте люди рядом живут не долго, большая циркуляция. Партизаны же имели время и возможность сжиться друг с другом до полной дружбы (или, наоборот, неприязни), во всяком случае не должно быть ощущения, что они плохо знакомы друг с другом. Ты оговариваешься, что некоторые из другого отряда и т. д. И все же не помешали бы штрихи какой-то большей близости (хотя бы «старых» партизан) к бедолаге, попавшему в яму. Эта близость «стариков» была очень сильная и даже ревнивая. Все у тебя здорово по части трагедии, но партизаны при всем том ухитрились воевать чуть-чуть веселее, с некоторым хохмачеством. Это вторая сторона правды, и какие-то штрихи только бы подчеркнули главное и создали бы более партизанскую атмосферу. Подумай.

А в целом — дай Бог!

Жму твою трудовую лапу.

Саша.

1. «Круглянский мост».

2. *Ниллин Павел Филиппович (1908—1981)* — русский прозаик, драматург, сценарист.

[Гродно — Минск.] 29 сент. 68 г.

Саша, дорогой дружище!

Делаю вторую попытку достичь тебя с помощью Карпюка. Первая окончилась неудачей: тебя в Минске не было и письмо мое он привез обратно. Надеюсь, на этот раз повезет, хотя есть и сомнение: Алексею будет слишком хлопотно в Минске, найдет ли он время передать это лично или воспользуется почтой...



Саша, ты совершенно и во всем прав относительно замечаний к повести [1]. Лезет через обложку идея, декларативно обнажается замысел, рассказы выглядят вставными. Прав и в отношении партизан. Видишь ли, тема эта для меня новая, материал малознакомый, но была идея, замысел, несколько мыслей, которые я не мог выразить на другом материале. По получении твоего письма кое-что я уже сделал: там приглушил, там выбросил, некоторые места уточнил. Думаю, так будет лучше.

Теперь о твоих совершенно необоснованных стенаниях относительно самого себя. Чего тебе не хватает — этого я не пойму и не соглашусь с тобой совершенно. Ты, как никто другой из мне известных, силен именно вещностью, психологической выразительностью, точностью, глубиной характеристик. Я до сих пор помню многие твои сцены, эпизоды, разные мелочи, детали, которых и в романе и в повестях тьма, и которые меня просто поражали при чтении. Кроме того, сколько там мысли — краткой, сжатой, значительной для нашего времени! Другое дело, что в повестях ты берешь несколько камерные, интимные темы (как в «Виктории»), но и за этой интимностью кроется большая общественная проблематичность. Опять же, даже и там ты, если уж прорываешься в прошлое, так это прорыв на грани шедевра (в той же «Виктории»). Саша, я тебе не льщу, ей богу, нет в этом надобности, но я хочу, чтобы ты совершенно выбросил из головы всякое глупое самоедство и знал, что талант твой всамделишный, большой и в то же время тонкий, а главное оч^{ень} умный, чего у нас, в Белоруссии, недостает многим (м^{ожет} б^{ыть}), за исключением Брыля [2]). И все тобой написанное превосходно, и романы и повести, и если чего-то в них не оценили по достоинству, то в этом не твоя вина, а проклятье нашего холопского времени. Видимо, ты ушел вперед и дальше, и еще не настало твое время. А потом ты же знаешь, что популярность, шумный успех — вовсе не показатель достоинств писателя. Шамякин [3], конечно, популярнее тебя, да и Брыля, но разве это что-либо значит? Мне лично хочется, чтобы ты писал больше (в этой связи я не могу одобрить твоей связи-волокиты с кино [4], которое в наше время ничего общего с искусством не имеет, разве что дает возможность заработать. Но ведь ты прожил бы и без этого заработка). Не знаю как кто, я же просто чувствую в современной нашей литературе твое длительное отсутствие, потому наверно, что твое место некому занять, кроме тебя. Уверен, что написанное тобой будет так же превосходно, как и прежде. И пусть тебя не смущают различные толки, в том числе и определенное отношение к твоим вещам «Нового мира». Я думаю, что причиной тому исключительно тематика твоих вещей (повестей), которая, м^{ожет} б^{ыть}, не совсем ложится на душу во многом консервативного и субъективного А.Тв^{ардовского} [5]. Ведь то же случилось и с Бондаревскими [6] «Родственниками» и даже с Баклановским [7] «Июнем 41». По-моему, всякому очевидно, что позиция «НМ» в этом вопросе — его крайность и ограниченность. А потом стоит ли жалеть о «НМ», который вольно или невольно, но умеет уродовать и ломать произведения, в нем печатающиеся, не хуже, если не лучше многих других журналов. Как это они сделали с моей повестью, в смысле которой не могут разобраться теперь даже отличные писатели-фронтовики, как напр^{имер}, В. Астафьев [8]. Но что ж, кто застрахован от неудачи? Что же касается меня, то я стараюсь, когда пишу, лишь донести в возможной для меня эстетической степени мою мысль, идею, вовсе не заботясь о том, как это будет расценено. Единственно, чего мне хочется, — это быть напечатанным, без чего, как известно, литературный факт не может считаться состоявшимся. Но и это с каждым годом становится все более трудным делом. Видимо, придет (если уже не пришло) время писать в стол, работать впрок. А там будет видно. Но ведь мы белорусы, а значит бояки и лентяи, к тому же честолобцы — нам подавай конечный результат. В этом, каюсь, грешен и я. В столе пусто.

Так вот, Саша, я еще раз хочу просить тебя: не смей и думать даже, что тебе чего-либо не хватает — у тебя вдоволь всего. Ты — честный глубокий мыслитель, ты — отличный художник. ХУДОЖНИК, ты слышишь это? Разве этого мало для одного человека в наш бездумный меркантильный век? И всем этим отмечены все твои произведения — поверь, со стороны это отлично видеть. Пусть они, м^{ожет} б^{ыть}, не в традициях белорусской прозы, ну и что ж? Зато вполне в традициях современ-

ной мировой прозы, и вполне на европейском уровне. И не считай, пожалуйста, что у тебя хуже, чем у Друце [9] (я знаю, ты его очень высоко ценишь, он заслуживает этого, но для меня совершенно ясно, что ты в таком случае заслуживаешь еще большего). Просто вы разные, у вас разный материал, и согласишься, что работать на традиционном для литературы материале крестьянской деревни несравненно легче, чем, напр<имер>, на материале современной молодежи. Поэтому там сплошные успехи в течение многих десятилетий на всем этом фронте: от Лупсякова [10] до Мележа — сплошь удачи в изображении и изобличении мужика-недотепы и кулака-стяжателя. Но где интеллектуальный роман, который давно уже процветает на Западе? Его нет у нас, и начинаешь его некоторым образом ты. Конечно, это трудно, но, видимо, это необходимо. В этом завтра всякой литературы, в т<ом> ч<исле> и белорусской. Сартр говорил, я сам слышал, что экзистенциализм — то самое значительное, что вооружает литературу будущего. Тебе он ближе, чем кому бы то ни было у нас.

Извини, пожалуйста, за столь ненужные, м<ожет> б<ыть>, для тебя наставления, просто меня задела одна твоя фраза в письме и я решил высказаться. И еще хочу добавить к этому, что я давно и очень поверил в тебя и потому не потерплю, если кто-либо, хоть бы и ты сам, будет колебать во мне эту веру.

А пока обнимаю, твой Василь.

Сердечный привет Вере.

1. «Круглянский мост».
2. *Брыль Янка (Иван Антонович)* (1917—2006) — белорусский прозаик, переводчик, публицист.
3. *Шамякин Иван Петрович* (1921—2004) — белорусский прозаик, драматург.
4. Имеются в виду съемки фильма с кинорежиссером В. Туровым.
5. *Твардовский Александр Трифонович* (1910—1971) — русский поэт, общественный деятель, в то время — главный редактор журнала «Новый мир».
6. *Бондарев Юрий Васильевич* (р. 1924) — русский прозаик.
7. *Бакланов Григорий Яковлевич* (р. 1923) — русский прозаик.
8. *Астафьев Виктор Петрович* (1924—2001) — русский прозаик.
9. *Друце Ион Пантелеевич* (р. 1928) — молдавский прозаик.
10. *Лупсяков Николай Родионович* (1919—1972) — белорусский прозаик, детский писатель, переводчик.

(Окончание следует.)



Борис ПОЗДНЯКОВ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ЧЕХИ В СИБИРИ

Если бы молодому аптекарю из г. Шкодера Рудольфу Гейделю до 1914 г. напро- рочили, что будет он генералом, станет командовать почти всем войском диктатора, да не где-нибудь, а в Сибири, он бы наверняка расхотелся, не поверив. Однако так именно и случилось. Чех по отцу, мать из Черногории, он родился в 1892 г. в черно- горском городе Котор. Потом семья переехала в Австро-Венгрию, где наш герой подрос, выучился на фельдшера, открыл аптеку и женился. И так бы ровно и долго протекала жизнь провинциала, если бы не мировая война. В австрийскую армию его призвали в 1914 г., служил фельдфебелем. Но вскоре военная служба на благо импе- ратора Франца-Иосифа ему надоела. Из патриотических побуждений он сдался в плен черногорцам, назвавшись при этом поручиком. Приняли его с распростерты- ми объятиями, как родного. Через короткий срок он уже воевал на стороне земляков против австрийцев. Однако сербам и черногорцам в тот период не везло, австрияки наступали. Гейделю же (который сразу по возвращении на родину назвался на сла- вянский манер Радолой Гайдой) попадать в плен было не резон: его немедленно расстреляли бы за измену по законам военного времени. И потому через Францию он отправился воевать в Россию, где в феврале 1916 г. под Одессой поступил на русскую службу сначала в сербский, а затем во второй чехословацкий стрелковый полк. Служил он исправно, даже героически, получал за доблесть русские кресты и уже в 1917 г. при Керенском стал капитаном и командиром одного из полков Чехос- ловацкого корпуса.

Но тут грянула Великая Октябрьская революция. Большевики в марте 1918 г. заключили Брестский сепаратный мир с немцами. И чехословацкий корпус, кото- рый специально создавался для помощи русским в войне, оказался не у дел. Как, впрочем, и вся разложившаяся и небоеспособная царская армия, которую больше- вики распустили, заменив отрядами красногвардейцев. Чехословаков не тронули, они в это время уже считались находящимися на службе Антанты (у Франции), как иностранный легион, а значит вне юрисдикции России.

А теперь вернемся к истокам. Как так случилось, что в период Первой мировой войны в России оказалось такое большое число чехов и словаков? Дело в том, что Богемия и Моравия уже несколько веков принадлежали Австрийской империи, и этими народами остро ощущался австрийский гнет. В период войны империя тре- щала по швам. Мечтой всех национальностей, прежде всего славянских, было само- определение и выход из государства Габсбургов. А помочь славянам, по их мнению, должна была Россия — как самое большое славянское государство. Идеи «пансла- визма» витали в воздухе. Вот почему чехословаки по одному, группами и даже целы- ми полками сдавались в плен русским в надежде, что смогут помочь России освобод- ить их родину и сделать ее независимой. С 1915 г. по октябрь 1917 г. около 50000 чехословацких солдат оказались в российском плену и содержались в лагерях для военнопленных под Киевом и Самарой, где их активно вербовали в чехословацкие



подразделения. Целый корпус был создан и даже успел повоевать на германском фронте на стороне русских. И вдруг — сбой. Кому же они теперь нужны? Если их не хотят большевики в России, то, может быть, они пригодятся Антанте, которая продолжала войну? И ответ пришел: конечно же, такие боевые ребята нужны для подмоги в Бельгии и под Верденом, где французы потерпели неудачу. Оформим ваш корпус как французский иностранный легион и, договорившись с Советами, вывезем вас в Европу из Владивостока на своих пароходах. А Масарик (эмигрант в Париже, будущий первый президент Чехословакии) дал такую установку: во-первых, ехать в Приморье, и на кораблях французов — на фронт; во-вторых, считать врагами немцев, австрийцев и большевиков. Но не Антанту! На совете корпуса так и решили поступить. 15 января 1918 г. корпус стал составной частью французских войск. И превратился в иностранный легион.

Троцкий, будучи военным комиссаром в Москве, не возражал против выезда чехов через Дальний Восток. От имени Совнаркома договор подписал Сталин. В апреле 1918 г. тридцать пять тысяч вооруженных солдат (у них было только стрелковое оружие) погрузили в вагоны и отправили на восток; составы растянулись от Пензы до Владивостока.

На 20 мая 1918 г. эшелонами с частями легиона от Пензы на Сызрань и Самару командовал поручик Станислав Чечек. Составами между Петропавловском через Курган на Омск — Ян Сырова. Челябинск — Миасс — С. Войцеховский. Ново-Николаевск — Тайга — капитан Р. Вайда. Во Владивостоке — генерал Дитерикс.

Далее случилась этакая фантасмагория, разобраться в которой до конца не могут даже сейчас. Почти одновременно три части легиона: центральная, западная и восточная подняли мятеж против Советской власти, установившейся пятью месяцами раньше в городах и весях по Транссибу, свергли ее и передали властные полномочия белякам. Почему? Ведь еще совсем недавно чехословаки подчеркивали свой нейтралитет и нежелание вступать в разборки между белыми и красными, заявляя, что их интересует лишь скорейший выезд из России в Европу. В действительности они остались в Сибири еще на целых два года, в течение которых натворили столько дел, что последствия исчислялись несколькими сотнями тысяч погибших и убытками в более чем один миллиард долларов!

Говорят, что поводом для мятежа послужила какая-то драка на станции Челябинск между мадьярами-красногвардейцами и чехами, проезжавшими мимо по железной дороге. (Эти нации и до войны не ладили между собой, хотя обе входили в состав Австро-Венгрии.) В результате был убит один чех. Другие заверяют, что причина была серьезней: телеграмма Троцкого всем Совдепам по линии Транссиба. Под угрозой наказания им немедленно предписывалось разоружить чехословаков и по возможности вернуть назад. Видать, ему расхотелось сориться с немцами, с которыми в марте заключили мир. И он решил выдать «предателей» «германцам». На некоторых станциях составы с чехами стали задерживать. Но кто бы по-настоящему смог выполнить тот приказ? Чехословаки были в основном выдавшие виды солдаты, которые воевали на фронте по 2-3 года, а красногвардейцы — это в большинстве своем необстрелянные рабочие с красными повязками на руках. Современные дружинники. И хотя, например, в Ново-Николаевске и уезде тех и других было примерно поровну (по тысяче человек), перевес оказался на стороне будущих мятежников, тем более что выступили они внезапно и вкуче с беляками.

А может быть, большевикам захотелось спровоцировать полномасштабную гражданскую войну, которая никак не хотела разгораться по прошествии полугода после Октябрьского переворота? С тем чтобы выявить и расправиться со всеми инакомыслящими, буржуазией. Чехи же могли стать своеобразным запалом в этой войне. Чем, собственно, они и стали.

Как бы там ни было, легионеров не устраивала выдача их как предателей немцам и австрийцам на расправу. И потому они так дружно выступили. Но это плохо походило на стихийный мятеж: уж слишком отчетливо была видна чья-то организаторская рука. Чехи очень быстро связывались с местными подпольщиками-белогвардейцами. И выступили почти одновременно на большом участке от Волги до Байкала. То есть существовал какой-то обширный план, и его привели в действие. И первым действующим лицом оказался Радола Гайда.

Вечером 25 мая 1918 г. в Ново-Николаевске в красивой каменной гостинице «Метрополитен», что по улице Дворцовой (Революции), № 4, в номере, занимаемом приезжей актрисой, собралось тайное совещание. Чехословаки были представлены



офицерами: капитаном Гайдой, штабистами Гусариком и Кадлецом. От подпольщиков прибыли офицеры из распущенных большевиками воинских частей: полковник Ясныгин, капитан Серебрянников, поручики Травин, Лукин, Старков, Новиков и Зеналов. Договорились выступить совместно и немедленно в ту же ночь, имея опознавательные нарукавные повязки бело-зеленого цвета, хотя поначалу у офицеров и оружия-то почти не было.

Дело в том, что по первоначальному плану белые хотели поднять восстание против большевиков в нескольких городах Сибири только через месяц, о чем их руководитель Гришин-Алмазов как раз в тот день договаривался с подпольщиками Томска. В случае удачи власть передавалась русским, а чехи получали возможность ехать дальше во Владивосток.

С арестом Совдепа больших затруднений не было. В здание Дворца революции (раньше это был «Коммерческий клуб», а сейчас — театр «Красный факел»), где круглосуточно заседал Совдеп, ворвались заговорщики. Арест всей советской власти в Ново-Николаевске произошел всего за 40 минут и практически бескровно. Были убиты лишь трое из нападавших. И это несмотря на охрану и четыре пулемета, которые имелись у Совета. Правда, уже через 10 дней, 3 июня, все руководство Совдепа было расстреляно без суда прямо на улице при переводе из одного тюремного помещения в другое. Распорядился, как говорят, начальник конвоя, ненавидевший большевиков за притеснения его близких родственников. Избежал тогда смерти только председатель Романов, бывший в то время в отлучке, но найденный и расстрелянный колчаковцами в ноябре 1919 г.

Другой небольшой большевистский отряд — интернационалистов — в Ново-Николаевске в ту же ночь был атакован чехами в казармах на Владимирской. Мадыры, китайцы и немцы сопротивлялись недолго.

В течение полутора месяцев Гайда с небольшим отрядом забирал один город за другим от Омска до Иркутска (7 июля), расправляясь с Советами и передавая власть белогвардейцам. То же самое происходило на Волге, Урале и Дальнем Востоке. Вскоре в Уфе установилась власть Директории и Комуча, который собрали из нескольких делегатов Учредительного собрания, разогнанного в Петрограде еще в январе отряда матроса Железнякова. Затем это Сибирское правительство переехало в Омск.

Омские властители считали себя революционерами, даже отмененные в 1917 г. погоны у них в армии не носили! Проповедовали поначалу идеи правых эсеров и областников. (Последние ратовали за демократию и отделение Сибири от России.) Хотя в борьбе с большевиками от помощи кадетов, казаков и монархистов не отказывались. Сформировали «Народную армию», в которой, как ни странно, основной боевой силой оказался Чехословацкий корпус, вовсе не спешивший тогда к Тихому океану. И перешли в наступление на Западном фронте. Чехи взяли Саратов, Екатеринбург, Челябинск, дошли до Казани.

В октябре 1918 г. в Омск из Америки через Японию и Харбин привезли царского адмирала Колчака, который стал военным и морским министром Временного сибирского (потом российского) правительства. Однако уже 18 ноября 1918 г. Колчак, опираясь на казаков и офицеров-монархистов, организовал путч, объявив себя Верховным правителем России. (Считалось, что захват Сибири — только начало.) Прежние руководители пошли служить диктатору, в том числе и Радола Гайда. Буржуазия и офицеры все надежды на «восстановление порядка» стали возлагать на «твердую руку».

И действительно, на первых порах Колчак имел успех. Армия в 400000 штыков, мобилизованная из сибирских крестьян и тысяч царских офицеров, которые тоже были вынуждены служить адмиралу, шла от победы к победе. Чехи же сдержанно отнеслись к фигуре адмирала на троне. Прежние «демократы» в Омске им более импонировали. Вдобавок изменились обстоятельства. Во-первых, большевиками была организована боеспособная Красная армия. В нее для военных действий на всех фронтах мобилизовали больше миллиона человек, а дееспособность ей придал институт «военспецов», внедренный Троцким. В качестве военных специалистов стали набирать боевых офицеров, которые с помощью комиссаров вскоре покончили с анархией в советских войсках, ввели дисциплину и научили воевать грамотно. К весне 1919 г. красные перестали отступать, а кое-где перешли в контрнаступление. По-настоящему же воевать с серьезным противником чехи не любили и потому, впрочем, как и русские солдаты армии Колчака, стали дезертировать с фронта. И потом, за что им было теперь воевать? Мировая война в ноябре 1918 г. закончилась



без их участия. Образовалось независимое Чехословацкое государство, куда они рвались теперь всей душой. На помощь Колчаку, которому вовсе не хотелось терять самую боеспособную часть своей армии, прибыл чехословацкий эмиссар Павлу и французский генерал Жанен. «Уж если вы здесь, господа, поработайте на благо законного правителя России. Победа не за горами. И вскоре вы вернетесь на родину». Тем не менее с линии фронта их пришлось забрать. Военный министр Чехословакии Милан Штефанек издал приказ: покинуть фронт, передав позиции русским. К весне 1919 г. корпус был полностью переброшен в тыл на охрану Транссибирской магистрали от Омска до Иркутска, на что чехи с радостью согласились. Однако Гайда, наоборот, с энтузиазмом вызвалась служить Колчаку. И вот он уже генерал-майор, а вскоре — генерал-лейтенант! Карьера почти наполеоновская! С 24 декабря 1918 г. Сибирская армия на северо-западе подчинена ему. Он — победитель, «Сибирский лев», как его именуют в печати. За взятие Перми получает французский и английский ордена. Но все это продолжается недолго. Летом 1919 г. красные решительно стали наступать на юге. Штаб колчаковской армии начал перебрасывать части с севера на Южный Урал, резко ослабив позиции фронта Гайды. Его тоже стали теснить красные. Отношение русских генералов к «высочке» всегда было отрицательным. В июле Гайда поехал в Омск выяснять отношения с Колчаком по поводу начальника штаба Лебедева, переставшего реагировать на его предложения. При встрече «Сибирский лев» и Верховный правитель поссорились, наговорили друг другу кучу гадостей. «Вы не можете командовать армией, не имея элементарного военного образования! — кричал Колчак. — Как будто вы раньше этого не знали! — отвечал Гайда. — Вы ведь тоже сухопутный адмирал. Что вы-то смыслите в стратегии сухопутных войн?» В результате 19 июля 1919 г. Гайда был снят с должности; вскоре лишен чинов и вычеркнут из списка российских войск. В августе он уже снова числится в составе Чехословацкого легиона, а в ноябре приезжает во Владивосток.

Ну а «охранители» Транссиба? Они вдруг осознали, что представляют большую силу, им теперь все дозволено и никто не указ. Легионеры решили, что в роли интервентов и «завоевателей» Сибири они могут покуражиться над населением совершенно безнаказанно и набить себе карманы перед выездом. Вкупе с бандами белых карателей, польскими регулярными частями и казаками легионеры стали заниматься разорением сел и городов близ железной дороги. Под предлогом защиты магистрали от партизан совершали набеги на села, сжигали деревни, пороли, расстреливали и вешали крестьян, заподозренных в симпатиях к Советам. От Ново-Николаевска их конные разъезды рассыпались по всему Алтаю. «Красноштанники» (в их обмундирование входили френчи и суконные красные штаны — на зависть всему оборванному колчаковскому воинству) вовсе не думали об идейных разногласиях с большевиками. Их больше занимали имущественные и финансовые дела. Возвратиться домой они хотели обеспеченными. Потому грабили и убивали эти «демократы» и «просвещенные посланцы Европы», как они себя называли, очень квалифицированно. Их стали ненавидеть в конце концов как сибирские крестьяне, так и красные с белыми в равной степени, называя их «чехособаками».

И чем больше они лютовали, тем мощнее становилось сопротивление народа. Алтай, например, был освобожден партизанской армией Ефима Мамонтова от белогвардейщины и интервентов задолго до прихода регулярных частей Красной армии.

А в истории осталась народная песня: «Отец мой был природный пахарь». Текст ее был сочинен когда-то известным поэтом пушкинской поры Веневитиновым. Он часто менялся. И вот в Гражданскую в Сибири появились новые слова. Вместо: «На нас напали злые люди» — пелось: «На нас напали злые чехи, побили всю мою семью. Отец погиб в жестокой схватке, а мать живую в избе сожгли».

Некоторые заявляют: чем уж так особенно выделялись легионеры на фоне бесчинств, творимых другими интервентами в Сибири: поляками, румынами, американцами или японцами? Все так делали, и белые, и большевики (на стороне красных тоже были иностранцы: мадьяры, латыши, хунхузы-китайцы и другие, которые также не миловали русский народ). И почему не воспользоваться было бессильем Российского государства, если уж так все сложилось? И что доказывают 38 пароходов, на которых легионеры эвакуировались из Владивостока со всем награбленным скарбом? Как и открытие в Праге своего «Легионербанка», где хранилось привезенное ими из Сибири золото? Легионеры — герои! Они защищали демократию, воюя с большевистскими варварами! Так по крайней мере утверждалось в чешской печати.



Теперь о другом чехе, чья судьба тоже была связана с Сибирью и Ново-Николаевском. Это знаменитый писатель Ярослав Гашек, который родился 30 апреля 1883 г. До начала Первой мировой войны он был в Праге журналистом, писал язвительные фельетоны и рассказы, славился как весельчак и завсегдатей пивных. Но убеждения его были прочны: анархизм и желание видеть свою родину свободной, а свой народ счастливым и богатым. И когда в феврале 1915 г. его мобилизовали в австрийскую армию, вольноопределяющийся Гашек при первом удобном случае сдался в плен к русским. Это случилось 24 сентября 1915 г.

В плену, несмотря на скверные условия содержания в лагере и болезни, он приложил максимум усилий как журналист, чтобы оказать помощь в организации Чехословацкого корпуса, и уже в его составе воевать на стороне русских за независимость Чехии. Он писал прекрасные статьи в газеты, издаваемые тогда на чешском языке в России. А когда появлялась возможность, занимался творчеством, продолжая начатую до войны серию рассказов о бравом солдате Швейке — «Швейк в плену». (Изданы в середине 1917 г.) Однако у него очень быстро не заладились отношения с руководством легиона. Гашека даже пытались судить судом офицерской чести за оскорбления в печати. Как ни странно, но и с анархистами он быстро разошелся. Но зато лозунги пролетарской революции в октябре 1917 г. заворожили его: «Земля крестьянам, фабрики рабочим!» И он разразился множеством статей в выходивших тогда на Украине, а затем в Самаре газетах на чешском языке, где полностью встал на сторону большевиков. Он убеждал собратьев по оружию не ехать во Францию, а остаться в России и вступать в Красную гвардию. Потом бросил корпус, уехал в Москву, познакомился там с видными членами партии большевиков, в том числе со Свердловым, видел Ленина, слышал его выступления на митингах.

Ходил воодушевленный; результатом стало его вступление в РКП (б), в иностранную ее секцию. Тут же по поручению партии выехал в Самару, чтобы агитировать земляков переходить на сторону революции. У него это отчасти получилось, свыше полутора сотен бывших военнопленных набрал он в свой отряд.

Однако все пошло не так, как планировалось. И когда в мае 1918 г. внезапно случился белогвардейский мятеж, ему пришлось бежать из города, скрываясь от разрездов казаков и белочехов. Бродил по губернии, выдавая себя за придурковатого немца-колониста. Наконец, перейдя фронт, он явился в расположение красных, где, проверив, его снова взяли на службу в Красную армию. В грамотных людях тогда была большая нужда, а он доходчиво объяснил, почему остался вне партийной организации. Долго работал в политотделе 5-ой армии рядовым, а с сентября 1918 г. стал руководить иностранной секцией политотдела, благо был полиглотом, знал немецкий, русский, венгерский и польский языки, писал на них статьи, выпускал газеты, выступал на собраниях и митингах. И всегда находил общий язык с красноармейцами, особенно с бывшими военнопленными. Он потом пытался даже бурятский и китайский языки постичь! Но без больших успехов. Долго жить пришлось в Уфе, где Гашек работал в местной типографии и выпускал красную периодику и агитационную литературу. Рабочие типографии любили и уважали «Ярослава Романовича». Здесь он познакомился и сошелся с печатницей Александрой Львовой, «Шулинькой», с которой был неразлучен потом до самой смерти. Зарегистрировали брак они позднее уже в Краснорске.

А в Ново-Николаевск из Омска приехали 15 декабря 1919 г., на следующий день после взятия города частями 5-ой армии. И тут Ярослав тяжело заболел возвратным тифом (сыпняком он переболел двумя годами раньше, еще в лагере). И не удивительно! Полгорода лежало в тифу, народ умирал тысячами! Около сорока тысяч солдат-колчаковцев «подарил» (по причине тифа и нехватки вагонов для эвакуации, захваченных для собственных нужд чехословаками) Верховный в Ново-Николаевске большевикам, сбегав из города десятью днями раньше. Даже бывший Дом Революции был тогда занят тифозными больными. Наследие Колчака оказалось страшным: голодный и холодный Ново-Николаевск, забытый беженцами и деморализованными солдатами, не успевшими уехать на восток, скученность и антисанитария, — и сотни трупов расстрелянных и умерших от тифа, которые валялись прямо на улицах.

А Гашек? Благодаря заботам Шулиньки, он быстро выздоровел. Не думаю, что, будучи в Ново-Николаевске, он был занят литературным трудом и писал своего Швейка. Во-первых, болезнь, во-вторых, наброски и рассказы о Швейке в плену, как и очерки о том, как он был комендантом Бугульмы, датируют более ранним периодом. В-третьих, короток был срок его пребывания в городе. Уже 16 января 1920 г.

супруги оставили Ново-Николаевск, и выехали к месту службы в штаб 5-ой армии, который тогда дислоцировался уже в районе Красноярска. И еще надо учесть, что большую часть того, что Гашек написал в Сибири, он потом оставил в Иркутске и в Москве, поскольку в сентябре 1920 г. получил партийное задание выехать на родину к поднявшимся восстание рабочим города Кладно. А переезжать границы приходилось не всегда легально.

Впоследствии при подготовке полного собрания сочинений писателя выяснилось, что из 16 томов его произведений четыре тома написаны были Гашеком в период его пребывания в Сибири. Только вот собирать все это приходилось по крупицам. А многое не найдено до сих пор.

Иркутск был отмечен еще и тем, что там Гашек познакомился с будущим сибирским писателем В. Зубцовым (Зазубриным). И даже читал его первые наброски романа «Два мира».

А где в это время были его земляки? После побед Тухачевского под Челябинском легион бежал из Сибири, не задерживаясь надолго ни в одном городе, в том числе Ново-Николаевске. Для своих нужд эти интервенты реквизируют по праву сильного более 20000 вагонов — половину всего подвижного состава Транссиба! Хотя вагоны были тогда небольшими, двухосными («40 человек или 8 лошадей»), но для транспортировки 31 тысячи чешских солдат, даже со всеми их штабами, скарбом и лошадьми достаточно было иметь три тысячи.

Спрашивается, а что они везли в остальных? Конечно же, награбленное. По некоторым данным, ими было вывезено ценностей и денег на сумму до одного миллиарда долларов! Это не считая 70 тонн серебра, которые им подарил Колчак из доставшейся ему царской казны за свою охрану в пути следования на восток. Потом часть золотого запаса империи, оставшегося после Колчака, атаман Семенов отправил в Японию, часть захватили большевики и вернули в Казань. А остальное? Вывезли чехи. По прибытии на родину у многих легионеров появились счета в банках.

Но сейчас о том, как они добились до Владивостока.

Много конфликтов разгоралось между отступающими белыми и легионерами по поводу паровозов. Умножая неразбериху на станциях и полустанках, чехи забирали все паровозные бригады, топливо и исправные паровозы, отцепляя их даже от эшелонов с ранеными и беженцами, которые обрекались в брошенных нетопленных вагонах на верную смерть. По воспоминаниям бывших красноармейцев, на всех полустанках от Омска до Ново-Николаевска стояли до двухсот брошенных составов без паровозов с трупами замерзших «беляков» — плод деятельности чешских легионеров. По этой же причине десятки тысяч колчаковцев зимой отступали пешком («ледовый поход») по бесконечным дорогам Сибири, замерзая в пути. Жертвой стал даже прославленный генерал Каппель. Выброшенный чехами из вагона где-то в районе Красноярска, он, проходя с отрядом через озеро, попал в полынью и отморозил себе ноги. После чего умер от гангрены.

Отступление проходило по правилам, которые ввел французский генерал Жанен, единственный, кто мог отдавать приказы в это время для всех отступающих. Первыми едут чехословаки, потом — сербы и румыны, затем, если хватало вагонов, русские. Ну а тыл, на случай прорыва красных, прикрывали поляки. Такие стычки бывали. Хотя в основном интервенты и белогвардейцы споро катились на восток и опережали красных на полторы-две недели.

Неприятный эпизод: под Иркутском местный эсеровский «Политцентр» потребовал выдачи Колчака, взамен на возможность каравана двигаться дальше до Владивостока. Нисколько не сомневаясь в порядочности этой бартерной сделки, генерал Жанен и руководство легиона немедленно сдали его и тут же получили возможность проезда. А Колчак вместе со своим председателем правительства Пепеляевым были переданы «Политцентром» большевистскому ревкому. После чего в феврале 1920 г. их расстреляли без суда на льду Ушаковки, притоке Ангары.

А Радола Гайда? Тот значительно раньше оказался во Владивостоке. Авантюрист в очередной раз предал своего очередного хозяина и в ноябре 1919 г. устроил путч против Колчака, ратуя за установление мира в гражданской войне. И это человек, который слыл поджигателем гражданской войны! Путч немедленно был подавлен войсками местного гарнизона, и разжалованному экс-Наполеону стала грозить «вышка». Заступились французы. Радолу посадили на пароход и отправили в Европу.

Дома в Чехословакии его сделали героем. Высокие чины в армии, а потом с 1926 г. — ссора с президентом Масариком. Вскоре стал чешским фашистом, руково-

дителем местной фашистской организации, потом подозревался в сношениях с Советской Россией и в связях с немецкими оккупантами. Умер в 1948 году. Предполагают, что в тюрьме.

Итоги Гражданской войны. Она на всех фронтах унесла около 13 миллионов жизней русских людей. И виновником в этой бойне можно отчасти признать чехословацкий легион, а также «льва Сибири» Радолу Гайду. Потери легиона — четыре тысячи убитых и пропавших без вести.

Были разорены, сожжены и разграблены десятки городов и сел, подорвана экономика России, царил голод, эпидемии и разруха.

Победили красные. Но, несмотря на вынужденный уход из страны, интервенты, то есть французы, англичане, чехи и другие, были довольны. Во-первых, они вволю пограбили Сибирь. Во-вторых, они и не думали всерьез помогать Колчаку: в случае победы сильная Россия под его руководством была им не нужна. А в руках большевиков, считали они, эта страна покатится дальше по наклонной и никакой конкуренции другим странам составлять не будет.

Приехав в Чехословакию, Гашек так и не смог установить контакты с коммунистами и левыми. Кладно, где недавно бушевало восстание, было усмирено, руководителей его бросили в тюрьму. Приятели, знавшие Гашека с довоенных пор как кутилу и короля богемы, тянули Ярослава в кабак. Ни работы, ни денег не было. Но тут пришла спасительная мысль, и друзья его в том поддержали: надо вновь заняться Швейком!

Около двух лет практически без черновиков он писал этот объемный роман, чему вовсе не способствовала обстановка вокруг. Его травили в печати, называя комиссаром-палачом героев-легионеров. Никто не соглашался печатать его роман. Пришлось организовать с друзьями собственное издательство, выпускать роман частями.

Первые тонкие тетрадки вышли в свет в 1921 году. Друг — художник Иозеф Лада на их желтых обложках изобразил добродушного человека, покурывающего трубку среди разрывов снарядов и гранат.

Успех романа оказался огромным. Его немедленно стали переводить за границей на другие языки. Но закончить свое главное произведение писателю не удалось. Швейк по сюжету даже до фронта еще не добрался. А ведь задумывалось отправить его не только в бой, но и в долгий русский плен! Гашек умер 3 января 1923 года в Липнице, что неподалеку от Праги. Сказалось пятилетие войн, плена, последствия тяжелых болезней.

Итак — авантюрист, заговорщик и предатель Гайда и его почти ровесник великий всемирно известный писатель Гашек. Земляки. Волею providения долгий срок были в Сибири. Сначала одновременно служили в одном и том же чехословацком легионе, потом оказались по разные стороны баррикад. С возвращением на родину почти в одно и то же время закончился их анабасис. Однако какие разные судьбы! В жизни они, возможно, и встречались, по крайней мере до 1918 г. Но близкими людьми, людьми «одной крови», никогда не были.



САЮ ВАЮ*

Нет, не хочу сейчас говорить о друзьях по СМОГУ. Не время. Да и не место. Сами они придут в книгу мою — потом. Сами они напомнят о себе. Достаточно света в мире скорбей и гроз.

...В шестьдесят восьмом? Да, пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. Где-то в самом конце ноября, полагаю. Однажды вечером.

Ворошилов зашёл в квартиру, как герой, вернувшийся с фронта, после многих сражений, с видом победителя, с грудой работ на картонах, в обеих руках, — и швырнул их на пол, сказав, приказав, скорее, призвав сразу всех, к немедленным действиям, тоном маршала:

— Выбирайте!

Собралась у меня тогда, по традиции прежних лет, вечеров скоротать, стихи почитать, большая компания.

Все — как будто бы пробудились. Налетели, толкая друг друга, на картины, сюда принесённые Ворошиловым, новые, свежие, сразу видно, что очень хорошие, даже больше, просто чудесные, и шедевры есть, посмотрите-ка, ну и ну! — и давай выбирать.

Я сказал:

— Что ты делаешь, Игорь?

Ворошилов:

— Пусть выбирают!

Выбирали. Через минуту разобрали работы, все.

Я сказал:

— Человек — трудился. Что ж вы — так? Налетели, как хищники, на картинки — скорей, скорее, схватить для себя, урвать!..

Но богемная публика эта даже ухом не повела. Получили работы, задаром, — и прекрасно, и все довольны. Пьют вино, дымят сигаретами, говорят о своём, картинки, между делом, с видом прожжённых знатоков, спокойно рассматривают. Как их много! И все — с претензией на свою особенность, все — с самомнением, с гонором, с хваткой, на поверку, быстрой и цепкой.

И тогда я сказал всей компании:

— Расходитесь. Мне надо работать.

Поворчав, компания стала расходиться.

Сказал я Игорю, громко, твёрдо:

— А ты — оставайся.

Дверь захлопнулась за последним из богемщиков. И квартира опустела. Стало просторней. И спокойней. Открыл я дверь на балкон, чтобы всё проветрить. Сигаретный дым, как туман, полосой потянулся на улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл холодильник. В нём было пусто почти. Но я приготовил два бутерброда. И позвал к себе Ворошилова:

— Игорь, где ты? Иди пить чай.

Ворошилов, с книгой в руке, — это был им любимый Хлебников, — длинный, тихий, в домашних тапках, в брюках, красками измазюканных, старых, рваных, коротковатых, в мятой, старой рубашке, задумчивый почему-то, пришёл на кухню.

Пили чай мы. Вдвоём. За окном различить, напрягая зрение, можно было два старых тополя, облетевших, тех, о которых я сказал Ворошилову как-то, что один из них — мой, а другой — ворошиловский. Игорь с этим согласился тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, он искал вначале глазами, в законную шурясь хмарь, эти старые тополя.

* Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2013, № 7, № 8, № 9.



Эти старые тополя — сохранились. Во всей округе — всё снесли, деревья спилили, понастроили новых домов. Только два этих старых тополя, мой — один, другой — ворошиловский, словно память о прежней эпохе, да и память о дружбе, — стоят. Всё на том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели грустных лет, овеванных славой нынешней. И листвою — сквозь боль — шелестят...

...В середине семидесятых. Мы — в квартире зверевской, в Свиблове, или в Гиблове, так его Толя называл обычно, и это подтвердилось — в этой квартире он потом, через годы, и умер. Или, может, погиб. Всё могло с ним случиться. Ходил он по краю бездны некоей, хорохорился и бравировал этим, но знал, очевидно, всегда наперёд, что с ним всё-таки произойдёт.

Мы — вдвоём. «Ты, Володя, с портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в Москве, намного спокойнее!» — приговаривал Зверев частенько. Я — бездомничал. Зверев — маялся, тяготился своим одиночеством, при его-то обширных знакомствах, находится боялся один и на улицах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоём, по Москве. Ночевали всегда — где придётся. Там, где пустят нас на постой. Я — стихи читал. Он — рисовал. Отрабатывали ночлег. Утром — снова куда-то ехали или шли. И так — месяцами. И годами даже. Привык я к жизни трудной своей, кочевой. А вдвоём — веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. Двое — сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он — художник, я — поэт, надёжной была. Мы дружили — как на войне. Шли геройски — сквозь все сражения. Фронт — повсюду был. Приходилось — воевать. Он — кистью, я — словом. К неприятностям быть готовым приходилось. К невгодам. К бедам. И тянулся за нами следом приключений длиннющий шлейф, и событий, и происшествий непредвиденных. Но вдвоём было проще нам выстоять. Выжить.

Мы сидели в квартире зверевской, словно в крепости неприятельской. Зверев то к чему-то прислушивался, словно чуял близких врагов, то смотрел за окно. Из ванной доносился запах противный. Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, наполнена отмокающей в ней одеждой. Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся — мол, пусть, так надо.

Я достал из портфеля бутылку припасённого мною вина, половину буханки хлеба.

Зверев, жестом лукавого фокусника, тут же вынул откуда-то, может — из-за пазухи, может — из шкафа, ну а может — и прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. И принёс два гранёных стакана. Постелил на столе газету. Положил на газету хлеб — нашу с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил стаканы, аккуратно, до половины. Мы степенно с ним чокнулись, выпили. Закусили хлебом. Потом — закурили, я — сигарету, он — сигару. Стало теплее. За окном — шёл осенний дождь. Мы курили — и говорили. Для бесед неспешных всегда было тем у нас предостаточно.

Помню, речь шла о том, что осень скоро кончится. В этом Свиблове застревать надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо было что-то придумать. Поискать надёжней пристанище. Остаться здесь нам — опасно.

И спросил я тогда то ли Зверева, то ли, может, силы небесные:

— Что потом?

— А потом — зима! Снег выпал, а я взял и выпил! — Зверев шурился на меня, улыбаясь, хитрющий, весёлый. Взял бумагу и акварель, набросал на листке кого-то с бородою: — Вот Дед Мороз!

Я сказал ему:

— Да, похож.

Зверев быстро взглянул на меня. Набросал акварелью, быстро, мой портрет:

— Посмотри. Это — ты.

Я взглянул:

— Да, очень похож.

Со стола на мои колени, покотившись, упал карандаш. Я успел его удержать, положил обратно на стол.

Были джинсы мои разорваны на коленках. И Зверев это — разглядел. Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы шкафа. В нём висели костюмы, брюки, пиджаки, совершенно новые, заграничные сплошь. Гардероб у художника был солидным. Всё — добротное, прозапас, впрок. Потом, глядишь, пригодится.

Зверев краешком глаза взглянул на меня. Выбрал серые брюки. Протянул их мне:

— Вот, надень. От Костаки. Английские. Крепкие. Подойдут как раз. Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю.

Вышел я в коридор. Натянул эти брюки, прямо на джинсы. Возвратился, в обновке, в комнату:

— Ну, спасибо, Толя. Подходят.

Отмахнулся Зверев:

— Шмотья предостаточно у меня. За картинки мои дают. Я — беру. И ношу. Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон какая погодка на улице! Так и хлещет холодный дождь.

За стеной раздалось какое-то подозрительное шуршание.

Зверев сразу насторожился:

— Надо сваливать. Поскорее!

Я спросил:

— Почему?

И Зверев мне ответил:

— Везде — враги!

Он достал из шкафа пальто заграничное — и одел его на себя, на грязный пиджак, заграничный. Достал ботинки, заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. Захлопнул шкаф, на котором, сверху, лежали, громоздились, до потолка, вперемешку, его работы разных лет. Солидный резерв. На продажу. На всякий случай. Пригодятся небось, потом.

Я набросил куртку:

— Пойдём. Но куда? На улице — дождь.

Зверев, кратко:

— Поедем к старухе.

Потихоньку, словно разведчики, два героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей из гиблого дома этого — прямо на улицу. Там хлестал разгулявшийся дождь. Мы нашли телефон-автомат. Зверев в будку зашёл. Позвонил. И сказал:

— Мы скоро приедем.

Я спросил:

— На метро поедем?

Зверев поднял бровь:

— На такси!

Сунул руку к себе за пазуху — и достал толстенную пачку четвертных, десятирублёвок и пятёрок. Сунул обратно, да поглубже. Заржал довольно. И, торжественно:

— Деньги — есть!

Я пожал плечами. А Зверев ухмыльнулся:

— Хорэ, хорэ!

Впереди — огонёк зелёный замаячил. В таком районе захудалом — и вот, пожалуйста, приближается к нам такси.

Зверев быстро махнул рукой. И машина — остановилась. Мы залезли вовнутрь. Поехали. На вопрос шофёра: «Куда?» — Зверев кратко ответил:

— В центр!

(Старухой Зверев обычно называл Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, одну из сестёр Синяковых, в которую был влюблён. Мы со Зверевым навещали иногда её. Но обычно приезжал к ней Толя один. Дорожил он этой любовью. Необычной. Ведь всё у него необычным было, особенным. И, конечно, его любовь. Была Оксана Михайловна старше Зверева лет на сорок. Но разве возраст — преграда для любви настоящей? Нет. Пять сестёр Синяковых были знаменитыми. Встарь — дружили с футуристами. В Красной Поляне, что под Харьковом, в их имении, всё когда-то и началось, там истоки всего авангарда, позже так набравшего силу, что питают его отголоски и доселе подлунный мир. Хлебников, показав на Оксану, сказал Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане сразу женился. Жили супруги вместе почти половину столетия. Асеев умер. Оксану полюбил неумный Зверев. Началась такая любовь, что о ней вся Москва говорила. Зверев, пьяный, рвался в квартиру и выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, причитая: «Дорогие милиционеры, вы не бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я прошу, он великий художник!» Менты увозили Зверева — и, разумеется, били. Он опять приезжал к любимой. И она — впускала его. Рисовал он её — непрерывно. Были сотни её портретов, на которых Оксана — сияла несравненной своей красотой. Толя Зверев о ней заботился. Он любил готовить. Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она отказалась. Толя — вылил кастрюлю горячего борща на

Оксану. Потом взял свою любимую на руки — и понёс её в ванную, чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана ещё больше с тех пор любить стала Зверева. Он хранил у неё работы свои. Много папок. Оксана Михайловна продавала их постоянно и тем самым ему помогала. Продавала — по триста рублей. Вместо всем привычной тридцатки. И висели на стенах асеевской, в самом центре Москвы, квартиры изумительные портреты драгоценной зверевской женщины, златовласой Оксаны Михайловны. И любовь была небывалой, расцветающей всеми красками, пылкой, страстной, с криками, с драмами, с поцелуями и с объятиями, обоюдной, — такой и останется, полагаю, она — в веках.)

Мы приехали в центр. Пришли, оба — выпив слегка, но трезвые, по тогдашним нашим понятиям, в гости к зверевской даме сердца, драгоценной Оксане Михайловне. Поздоровались с ней. Она рада нам была. Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на неё глазами влюблёнными. А потом и сказал:

— Володе негде жить!

Всплеснула руками в тот же миг Оксана Михайловна:

— Как же так?

Зверев — ей:

— Он бездомничает.

— Ах! — сказала Оксана Михайловна. — Что же раньше вы мне не сказали? Почему вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший поэт. И, выходит, вам негде жить?

Я сказал:

— Да, так получилось.

Зверев буркнул:

— Володя — гений! Как и я. Мы с ним оба — гении.

— Ах! — сказала Оксана Михайловна — Понимаю, всё понимаю. Постараюсь что-то придумать.

Позвонила она кому-то из знакомых:

— Ольга Густавовна! Добрый день. Это я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У меня здесь Володя Алейников. Он хороший поэт. Толя Зверев говорит, что Володя — гений, как и Зверев. И вот, представляете, он бездомничает. Да, Володе негде жить. Совершенно негде. Может, вы приютите его у себя? Ну, хотя бы на время. Что? Согласны? Даю ему трубку.

Протянула мне муза зверевская телефонную трубку. Сказал я, по возможности вежливо:

— Здравствуйте!

И услышал:

— Володя, здравствуйте! Говорит с вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия Карловича Олеси. Оксана Михайловна рассказала мне всё. Приезжайте ко мне. Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у меня. Да подольше. Потом будем думать, как дальше вам быть. Жду. Сегодня же — приезжайте!

Я сказал:

— Спасибо огромное. Постараюсь приехать к вам.

Положил я трубку. Смущение вдруг нахлынуло на меня.

А Оксана Михайловна, радуясь, что помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей удалось, на клочке бумаги писала адрес Ольги Густавовны:

— Вот. Вы найдёте, Володя. Держите.

Взял я адрес.

А Зверев мне:

— Поезжай. Поживи, в нормальных, человеческих, то есть, условиях. Отдохнѐшь. Наберѐшься сил. Может, что-то напишешь новое. А потом я тебе позвоню. Мы ещё, и не раз, увидимся.

Чай был выпит. Я стал прощаться.

И сказала Оксана Михайловна:

— Приходите ко мне почаще!

И сказал мне Зверев:

— Хорэ!

Вышел я из подъезда. Шѐл нескончаемый, сильный дождь.

Я всё думал: поехать, что ли? — или, может, не ехать? Что-то останавливало меня. Если честно, то я стеснялся. Ничего поделать с собою я не мог. Неловко мне было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, что делать, ах, извините, пожилую, хорошую женщину, да ещё и вдову Олеси, мне собою обременять. И решил я тогда — не ехать к ней. Поплѐлся куда-то, в слякоть, в дождь, промок, но упрямо шѐл, вдоль



наспуленных улиц, вперёд. Где-то я отыскал пристанище. А потом ещё, и ещё. Так и жил, скитаясь, бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел.

А Ольга Густавовна долго ждала меня. Так мне сказала, позже, Оксана Михайловна. А Зверев, мне показалось, взглянув на меня внимательно, даже одобрил меня — молодец, мол, не стал стремиться поскорее в тепло, в уют, пересилил себя, отважился на бездомную жизнь, и — выстоял, даже, можно сказать, победил, — слава Богу, жив и здоров.

Где былые года? Позади. Что там дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, без прикрас, можно. Так я скажу сейчас...

...В конце шестьдесят шестого слух по Москве прошёл — в журнале «Москва» напечатают великий роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Половину романа этого — напечатают в декабре, половину другую — позже, в январе шестьдесят седьмого.

Все гадали: когда же точно, в декабре, и в какие числа, выйдет в свет и сразу появится в киосках «Союзпечати» долгожданный, желанный, двенадцатый номер журнала «Москва».

Ждал и я. И вот, в декабре, все узнали: двенадцатый номер напечатан — и завтра, с утра, он уже поступит в продажу.

Встал я рано. Позавтракал наспех. И отправился сразу — на поиски журнала. Вот ближний киоск «Союзпечати». Бегу к нему. Спрашиваю — о журнале. Отвечают: «Уже купили». Вот следующий киоск. Спрашиваю. Купили. Третий киоск. Журнал был, но его купили. Четвёртый киоск. Журнал только что был. Купили. Пятый киоск. Журнал — все экземпляры — купили. Обошёл я так всю округу. По проспекту Мира шагал одержимо — и спрашивал, спрашивал. И везде — купили, купили. Оказался на Рижском вокзале. Но и там — купили журнал. На трамвае поехал. Сходил там, где видел киоск заветный этой самой «Союзпечати». До Бутырского вала добрался. К Белорусскому шёл вокзалу. И вот там, в угловом, незаметном киоске «Союзпечати», наконец, купил я журнал. Единственный экземпляр. Как я рад был — не передать. Я читал роман, перечитывал. Понимал, что есть в нём купюры, и большие. Так все говорили. Все редакцию осуждали: на уступки пошла цензуре. Все редакцию одобряли: молодцы, мол, не побоялись, напечатали, несмотря на препятствия, этот роман. А потом, в самиздате, конечно, появились фрагменты романа, не пропущенные цензурой. Все читали их, перепечатывали. И январский номер журнала, с окончанием «Мастера», вышел. И его повсюду искали. И — читали, читали, читали. Вот какая потребность была у людей, в годы прежние, в чтении. Был успех романа огромным. Не сравнить его нынче ни с чем. Это был — настоящий триумф. Долгожданная — всех — победа, над засилием зла, над безвременьем. Стал роман булгаковский — знаменем. Или — знаменем. Чего? Нашей общей, грядущей свободы? Да, наверное. Может, и так. Знак судьбы. И — вечности знак.

А потом поэтесса Наташа Горбаневская мне сказала:

— Володя, есть у тебя двенадцатый номер журнала. У меня — только первый номер. Подари мне журнал, пожалуйста.

И я свой двенадцатый номер — всё равно ведь первого номера не было у меня, не нашёл я его тогда в киосках «Союзпечати», и только брал, ненадолго, у друзей, почитать и вернуть, — подарил Наташе. Решил приятельницу — порадовать. Она была искренне счастлива. Прижала журнал к груди. И чуть ли не танцевала на месте, донельзя довольная щедрым моим подарком.

И остался я — без половины булгаковского романа.

А потом — был издан роман, отдельной книгой. И снова искали все эту книгу, везде, порой находили, покупали — и рады-радешеньки были этому приобретению. Или, может быть, обретению настоящей литературы.

И дорога к достойным изданиям — всем казалась уже приоткрытой.

Вот какая была история — с «Мастером и Маргаритой».

Кто ты? Где? Почему сейчас вспоминаешь снова былое?словно слёзы текут из глаз, ночь стечёт прозрачной смолою в море. Ветер сюда придёт, принесёт дыхание влаги. И, наверное, сам найдёт, полон мужества и отваги, через годы воздушный путь тот, кто пел на пути тернистом. Время высветлит солью суть. Сердоликом и аметистом замерцают вон там, вдали, знаки памяти и печали. Жили — трудно. И петь — смогли. Что же было, скажи, вначале? Слово. Да. Было — слово. В нём — продолженье всего живого. Даже в этой игре с огнём — дорогого, навек родного — с тем, что вырваться норовит, словно чуждый призыв, из лада, чей изменчивый



внешний вид разглядеть и в потёмках надо, чьё лицо под маскою скрыть не удастся на карнавале всем, кто искренне, может быть, верил в то, что понял едва ли, — даже в том, что за словом есть, вырастает новое слово, слово-знание, власть и весть, что добраться сюда готова, слово-тайна и слово-знак для мгновенного пробуждёнья чувств и мыслей, щедрот и благ, дней продленья и книг рожденья.

...Было это — в семидесятых. Я приехал к Володе Яковлеву. Он показывал мне свои удивительные работы. А потом посмотрел на меня, очень пристально, словно видел всё на свете внутренним зрением, и сказал мне внезапно:

— Володя! Ты, наверное, хочешь есть.

Я не стал ничему удивляться. И ответил ему:

— Да, хочу.

Был я голоден. В годы бездомия я не ел порой по два дня. Денег не было вовсе. Жилья, своего, никакого не было. Ничего из того, что в жизни человеку необходимо, ничегошеньки, — вовсе не было. Разумеется, я держался. Виду часто не подавал, что устал, что голоден, даже у знакомых своих в гостях. И усилий немалых стоило мне тогда не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я твердил про себя. И, как мог, старался продержаться ещё, и ещё, хоть немного, потом подольше, так и длилось всё это, и я понимал, что нужно мне пристанище, где бы мог я собраться с силами, успокоиться, отдохнуть. Но была полоса такая, что пристанище не находилось. И поэтому я продолжал, вопреки невзгодам, держаться.

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у меня, распрекрасно, мог любому я из друзей и знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он лучше других понимал. Всё он видел, полуслепой, но иным одарённый зрением, небывалым, особым, — насквозь.

И сказал мне Володя:

— Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и вкусно, и дёшево.

Собрались мы — и вышли, вдвоём, из квартиры. Потом — на автобусе мы куда-то, недолго, ехали. И зашли в известную Яковлеву, на каких-то задворках, столовую.

Там Володя заказывать стал — на двоих, да побольше, еду. По два супа. И по два вторых (две котлеты с гарниром картофельным — вот второе блюдо, и стало по четыре котлеты на каждого плюс картофельные гарниры). По два сока томатных, на каждого. И капустных по два салата. И солидную горку хлеба. И на каждого — по два компота.

Дотасили мы всю еду, на подносах, до столика. Сели в уголке за столик. И — съели всё, что Яковлев заказал.

— Ты наелся? — спросил Володя.

Я ответил:

— Наелся, конечно. И тебе — спасибо огромное. Накормил ты по-царски меня.

И сказал мне Яковлев:

— Брось! Накормил я тебя — по-своему. Потому что в этой столовой иногда отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. Понимаешь?

Я сказал:

— Понимаю, Володя!

— Хорошо, что ты — понимаешь. А другие — не понимают. Вечно прячут меня в психушки. Будто что-нибудь я натворил. Правда, там я рисую, помногу. Но врачи картинки мои почему-то быстро растаскивают. А потом — помещают в свои, о болезнях, учёные книги. А какой я больной? Я — здоров. Просто — жизнь у меня сложилась, непонятно мне — почему, не такой, как у прочих людей. Вот, со зрением плоховато. Даже скверно совсем. И всё же вижу я — не так, как другие, вижу — то, что за каждым предметом, словно тень его, молча стоит, только это не тень, а суть. — Тут Володя громко вздохнул, погрустнел и спросил: — Понимаешь?

Я ответил:

— Да, понимаю.

— Слушай, шумно здесь очень. Посудой непрерывно гремят. Давай-ка поскорее отсюда уйдём.

И сказал я Володе:

— Пойдём.

Вышли мы, из паров кулинарных этой шумной, дешёвой столовой, где наелись мы до отвала, на сомнительно свежий воздух.

Подышали. Потом закурили. Шли вдвоём по асфальту, к метро.



— Если я буду снова в психушке, ты меня навестишь? — спросил, морща лоб свой высокий, Володя.

Я сказал ему:

— Навещу.

— Ты куда сейчас?

— Я не знаю. Ну а ты?

— Ну а я — домой. Там — такая же точно психушка, даже хуже. А я — терплю.

— Понимаю тебя.

— Ну, пока. До свидания.

— До свидания.

Мы пожали друг другу руки. Повернул Володя — к автобусной остановке. Шёл, черноглазый, в куртке слишком широкой, маленький, словно странный цветок в столичной, хаотичной, густой кутерьме. Шёл — и листья, с деревьев слетающие, устремлялись за ним, и кружились за фигуркой его полудетской шелестящим, багровым шлейфом, словно так вот, совсем по-осеннему, провожая его в сияние возрастающее листопада, ну а может, и прямо к звёздам, — всё могло на пути случиться, всё могло ведь в итоге — быть...

Настоящее. Состоящее из былого и тех мгновений, что проходят прямо сейчас. Настоящее. Предстоящее пред грядущим. Сущее. Спящее. С чудесами — и без прикрас. Пробуждающееся. Живое. Шелестящее днесь листою. Говорящее: кто бы спас? Настоящее. Вновь таящее что-то важное. И молящее: не забудь меня! Поздний час.

Кто-то вышел из темноты. Ночь окутывает растенья свежей влагой. За каждой тенью вырастают, толпясь, цветы. Как их много! Любой цветок — откровение и отрада. Мирозданья встаёт громада. Север, запад, юг и восток ждут, когда же напомним им о таком, что откроет шлюзы всем, плывущим туда, где музы прячут лица от новых зим.

...Города приморские, крымские. Города, городки, посёлки. Нет, не точки на карте, не пятна, не цепочки ночных огней. Так случилось, что керченский светлый, чуть крошащийся камень, ракушечник, и струящийся из-под земли, невесомый, прозрачный огонь, так случилось, что лица идущих в порт куда-то, к себе, моряков, так случилось, да, так получилось, что и город, со всем его, южным и восточным, прибрежным, заморским, вроде близким, на деле далёким, обволакивающим туманом, — отодвинулся, сник, а потом возвратился решительно вспять, — и остался — конечно же, тем, столь знакомым, тогдашним и днешним, да и вечным, — таким, каким его я, скиталец, ещё не отшельник, вдохновляясь, давно уже ждал. Ведь и я там бродил когда-то, пел о чём-то, смотрел на море, и сказать не мог, что же всё-таки, если что-то всё же возможно, хоть когда-нибудь да прояснится, хоть когда-то произойдёт. Было море, на нём — корабль. Было то, что почти навсегда уходило уже, уплывало. И в безбрежности этой незнаемой, в этой чёткости, ясности строгой каждой, пусть и мельчайшей, детали, видел я неизбежный покой. Ничего, что под крышей и даже во дворе, повсюду лежали обломки античных, подлинных и совсем не имеющих, вроде бы, прочной связи со всем окружающим, отрешённо белеющих мраморов. Ничего, что дожило, и сухость, сухость в горле, всегда оставалась. И гора Митридат оставалась, как и прочие горы, горою. Может, в ритмах времён растворились отголоски мелодий знакомых, — но, однако, оркестр зазеркальный вдруг, неведомо где, заиграл. И уже то ли вверх поднимались, к неизменно высокому небу, сразу все корабли, и флотилии, и эскадры, и всех их армады, то ли вниз опускались, куда-то к беспокойно молчащим глубинам, то ли вдаль уходили, но были, несмотря на причуды зрения, или, может, воображения, сквозь кристалл магический изредка высветляясь, повсюду рядом. И огни на холмах, и звучащие мерным гулом пространства раковины, и густые, косматые водоросли, и медузы, и крабы, и рыбы с отраженьями звёзд на чешуйчатых, серебристых, скользких боках, и дорожная пыль, и птицы, и далёкое всё, и близкое, и плавучее, и плакучее, и тяжёлое, и воздушное, и такое, чему названия не придумал ещё никто, — всё клубилось и вдруг свивалось в шар, в клубок впечатлений, чувств, ощущений, прикосновений к неизбежному, оставалось несомненным, живучим, крепким, долговечным, — я это знал. Может, в тихой феодосийской полудрёме дневной, когда обвисает листва на деревьях от жары, и вода журчит приглушённой, и в море штиль, может, вечером, в час, когда начинают мерцать цветы фосфорическим отраженьем отдалённых огней, когда мягче звуки и знаки чего-то назревающего поодаль притягательнее, чем днём, я услышал слова о



несбывшемся, и запомнил их, и храню где-то в памяти, глубоко, но звучат они и сейчас. Может, в Ялте, в порту, когда провожал я там корабли, я увидел глаза нежнейшей и вернейшей из всех, кого знал потом я, прекрасной женщины, — и остался её внимательный, понимающий, чуткий взгляд и доселе в сердце моём. Или, может быть, в Севастополе я почувал дыханье пространства. Или времени ход ощутил в Херсонесе. А может, в Гурзуфе различил протяжное эхо дальней музыки. Что мне сказать? Берега — мою речь берегут. Да и речь — всегда берегиня. Надо будет — вновь призовут. Ведь живому — не до гордыни. Ведь живое — сама благодать. Радость, с грустью в дружбе давнишней. Для живого — никто не лишний. Остальное — не передать...

... Кто — проситель, а кто и спасатель в беспросветной людской маете.

Венедикт Ерофеев, писатель, возлежал на широкой тахте.

Ложе классика было просторным. Понимал он уже, без труда, что назвать можно белое — чёрным, чёрным — белое. Как и всегда.

Ложе классика было обширным, непомерно огромным, надмирным, так могло показаться кому-то, потому что на нём помещалась вся фигура длинная Венина, а такую фигуру непросто на обычной тахте поместить.

Ложе классика напоминало иногда футбольное поле, на котором желающим всем можно было в мяч поиграть, — или даже аэродром, пустоватый, провинциальный, на который мог приземлиться и с которого мог взлететь небольшой самолёт спортивный.

По тахте, на которой Веня возлежал, покатиться могла бы голова Олоферна, если бы отрубил её Юдифь, свой народ тем самым спасая от нашествия ассирийцев. На неё могла прилететь стрекоза. Или птичья стая.

Вот какая была тахта. И на ней, головой к одной, в тускловатых обоях, стене, а ногами — к другой стене, возлежал Венедикт Ерофеев.

Справа — тумбочка, а на ней — папиросы, спички и пепельница, и, конечно, стакан с коньяком, и бутылка, уже початая. И ещё лежали на тумбочке записная книжка и ручка.

Иногда, на фоне окна, появлялась Галя, жена ерофеевская. Смотрела, по привычке, с участием, на классика. Головой качала, вздыхала. Удалялась куда-то, в глубь их квартиры, чтоб вскоре снова появиться, вздохнуть и уйти.

В дверь звонили. Дверь открывалась то и дело. В квартиру входили, непрерывно, один за другим, почитатели ерофеевского, дорогого для них, таланта.

Каждый — нёс бутылку спиртного. И бутылки шеренгой выстраивались, или, может, когортой стеклянной, алкогольной, необходимой всем и каждому, вдоль стены.

Параллельно шеренге бутылок, вдоль стены, шеренгой стояли, или, может, когортой, Венины обожатели-посетители.

Все они — смотрели на Веню. И ловили каждое слово, или взгляд, или вздох уставшего от своих поклонников классика.

Веня изредка отпивал из стакана глоток коньяка. И закуривал папиросу. А потом изрекал вполголоса золотое, видимо, слово.

Почитатели у стены — это слово тут же записывали.

Иногда, кивком, подзывал Веня, классик живой, к себе одного какого-нибудь почитателя. Предлагал почитателю — выпить с ним. Почитатель — балдел от счастья. И, конечно же, выпивал. Остальные — смотрели на это ритуальное Венино действо с неизменным почтением. Им, разумеется, тоже хотелось выпить с Веней. И закусить. Но они понимали: рано. Это надо им — заслужить. И они терпеливо ждали той минуты, когда Ерофеев призовет к себе хоть кого-то из шеренги гостей-почитателей. А потом — ещё одного. А потом — и другого, и третьего. Так, глядишь, выпьют все почитатели, принимая из рук ерофеевских, словно царский подарок, стакан с водкой или же с коньяком. И останутся все — довольными. Говорить будут позже — мол, пили, между прочим, с самим Ерофеевым.

Иногда — замолкал Ерофеев. Брал свою записную книжку, ручку брал — и записывал что-то. Видно, мысль приходила в его удалую голову классика, непростая, это уж точно, с заковыринкой, с парадоксом. Афоризм? Вполне вероятно. Ну а может быть, чья-то фамилия. Или чей-то, для памяти, адрес. Или чей-нибудь телефонный, чтоб потом пригодился, номер. Важен был — сам процесс писания.

Почитатели замирали от восторга — и, не дыша, навсегда запомнить стараясь этот самый процесс писания, восхищённо, все вместе, смотрели, как, вот здесь, у них на глазах, что-то пишет классик живой.



Веня книжку свою записную водружал обратно на тумбочку. Брал стакан с коньяком. Отпивал, со значением, новый глоток. И потом, с ещё большим значением, из гостей смотрел. А потом что-то скупое, но твёрдое, по-царски, со значением, изрекал.

Гости всплескивали руками, дружно, громко, восторженно ахали — и старательно славили классика.

Веня морщился — мол, достаточно, что вы, хватит, не надо восторгов, артистично вполне, но ему это всё, разумеется, нравилось.

Шла — подпитка чужой энергией. Веня этим владел блестяще. Виртуозно. Это его и поддерживало, годами.

Автор книжки в сотню страниц — выжал всё из неё, что мог. Даже — больше, чем всё. С запасом золотым — на годы вперёд.

И, на склоне семидесятых и в начале восьмидесятых, Веня славен был, как никто из писателей — и в Москве, и в других городах Союза, и, конечно же, за границей, да везде, — кого ни спроси, Ерофеева знали все.

Вот что, мой возможный читатель, в нашей бывшей стране, из сказок афанасьевских, из абсурдных, может — чеховских, может — других пьес, из лет алогичных, в которых Веня жил, и творил, и пил, разумеется, — раньше бывало.

...Представьте себе огни — вдали, и вблизи — огни: цепочки, скопления, россыпи, и — тёмные очертания приближающегося неспешно, продолжающегося — и вправо, и влево, и вглубь, туда, где угадывается гряда крутолобых гор, а за нею — ещё гряда, и ещё, раздвигающегося, как веер, завораживающего зрение, обостряющего — да так, что становятся вдруг слышны все оттенки малейшие звуков, составляющих нечто единое, неразрывное, неизъяснимое в красоте своей непостижимой, но родной и знакомой, — слух, раскрывающего какие-то потайные оконца в памяти, заставляющего внезапно биться громко и часто сердце, — очертания крымского берега. Приближение берега — с моря. С корабля. С любого судёнышка. Вид на берег. Вхождение в порт. Возвращение. Но — куда? Может — в юность. А может — в этот южный, крымский, роскошный вечер. Может — в сон? Я не сплю, поверьте. Это Ялта? Неужто? Да. Пальмы, набережная, платаны, галереи, балконы, ярусы нависающих друг над другом, словно спелые гроздья невиданных, экзотических, ярких плодов, сквозь листву, то резную, то плотную, сквозь прозрачные струи воздуха, лёгких, светлых, узорных домов. То ли есть в этом что-то испанское, то ли пенится, как шампанское, жизнь на южном, с приезжими толпами отдыхающих, берегу. Вечер пышет энергией бурною. Изумрудное и лазурное — вперемешку, как хвост павлиний. И соблазны — на каждом шагу. И — глаза, широко открытые, женщин, шествующих со свитою карнавальной, своей защитой от реальности — там, где им предстоит обитать, уехавшим после отдыха в города свои, где волшебных чар не доищешься посреди бесконечных зим. Это — Ялта, сплошная блажь, наваждение, сон, мираж, южный вечер, входящий в раж, дрожь в коленках, азарт, мандраж, чушь, фантастика, бред, просвет в гуще серых, безликих лет, сказка, притча, легенда, вздох всех традиций и всех эпох по надежде и по любви, счастье, радость, огонь в крови, свежий ветер, тоска, жара, холод лунный, провал двора, завихрение белых стен, стон из парка и кровь из вен, серебро, золотистый блеск, горя омут и моря плеск, балюстрада, цветущий круг, запах роз и ключи из рук на асфальт, и горячий след поражения всех и побед, кипарисы, рискованный ход, гул элегий и рокот од, нашей жизни крутой замес, ожидание любых чудес, обещание любых щедрот, шелест листьев, струенные вод, лепет губ, восклицания, смех, дерзость, грех, доброта, успех, обаяние и беда, расставание навсегда, обретение новых мук, встреч случайность, клубок разлук, нить, протянутая вперёд, шаг тревожный за поворот, взгляд усталый на всё вокруг. Это — Ялта, и это — юг. Почему я вспомнил её? Потому что вело — чутьё. И — наитьё. В который раз! Рай, мелькнувший у самых глаз...

...И когда я открыл глаза, то увидел, что ветка шиповника, по которой вверх поднималась, обхватив её цепко, плеть незаметно за лето разросшегося во все стороны, тёмно-зелёного, жить желающего плюща, за моим окном покачнулась под напором довольно свежего, налетевшего ветерка, но потом, чуть помедлив, снова, точно вдруг спохватившись, выпрямилась.

И тогда я вспомнил о том, что давно, так давно, что это слишком долго дремало в памяти и проснулось только сейчас, шёл я в бухты под Кара-Дагом, по тропинке узкой, петляющей, то сбегаящей вниз, то вверх поднимающейся, чтобы там, отдышавшись слегка, опять, вниз и вверх, упрямо бежать — и меня потом привести, наконец-то, прямо на место.



Полагаю, что этого, нынче, так, по вспышке, как я привык приговаривать, воспоминания мне, седому, вполне достаточно, чтобы стало мне с ним, возникшим вмиг, случайно, из ничего, показаться может кому-то, а на самом-то деле — из утреннего, мне глаза приоткрывшего света, сразу как-то теплой и светлее в мире этом, на склоне августа, в Коктебеле, в доме пустом.

...Жаль, что лето снова проходит. Что же было нынешним летом? Я работал. Был всем обетам — верен. В сердце рвалась тоска. Я старался держаться. Было мне несладко. Не потому ли мне запомнился день в июле — и стрекозы, и облака?

Вот и запись об этом. Пусть мне и нынче развеет грусть.

Облака — надвигаются с запада, заволакивают синеву, густеют в горячем небе, клубятся, меняют окраску, и цвет переходит в цвет: белёсый — в чуть синеватый, молочный — в бледно-лиловый, сметанный — в туманный, сквозной, — и вся эта масса движется, и вся эта зыбкость дышит, и вся эта гуща бродит, ворочается, встаёт и крепнет, как будто брага, — и видеть ли в этом благо? — и ждать ли дождя? — не знаю, по мне — так пускай придёт.

Стрекозы — повсюду, их множество, глазастые, гибкие, маленькие, недавно вдруг появившиеся, — летают среди ветвей, сидят, как из воздуха сотканые, загадочные создания, на листьях и на цветах, на бельевых верёвках, взлетают, вибрируя крыльшками, смотрят вокруг с любопытством, по-детски, — им, видно, нравится вживаться в июльский мир.

Подобие марева в небе. Обрывки музыки. Ветер. Простор над Святой горою. Стрекозы и облака.

И день в середине лета особым наполнен смыслом. И вечер придёт, прохладный, означенный полнолунием. И мысли взлетают — к птицам, стрекозам и облакам.

Не тебе говорить, что город, этот гриновский город приморский, незабвенный, не существует, ибо вымысел он, — он есть. Не тебе говорить, что это плод фантазии, да и только, — надо просто упрямо верить в то, что можно в пути обрести.

У меня что ни шаг — то радость, у меня что ни взгляд — то новость, что ни день — то новая повесть о неведомом и родном. Нет причины — забыть об этом. Так отрадно дружить со светом, находить, и зимой, и летом, то, что рядом, в раю земном.

Этот город расскажет о море, о медузах и рыбах, плывущих в синевато-зелёной воде, в завихрениях плещущих волн. Этот город расскажет о небе надо мной, неизменно высокою, где созвездий скопленья сияют драгоценным, далёким огнём.

Неизбежность и невозможность, несомненность и непреложность, простота, за которой — сложность, риск, сменяющий осторожность, непрерывно связаны здесь меж собою, здесь всё — в единстве, прочном, давнем, неистребимом, всё — в гармонии, навсегда.

Пой, скиталец, о том, что видел, пой, затворник, о том, что слышал, пой, отшельник, о том, что знаешь, что открылось тебе, когда прозревал ты чудес истоки днесь, в часы своего труда.

На своём, а не чьём-нибудь, личном, собственном, трудном опыте, в молодые годы свои, я узнал, тогда-то — впервые, и запомнил я, как сочувствуют на Руси у нас пострадавшим. Особенно, если они пострадали за правое дело. Со мною — так всё и было. Выгнали из МГУ. Намучился из-за СМОГа. Бездомничал. Мне — сострадали. Это была давняя отечественная традиция. Спасибо всем этим людям. Помню их всех и сейчас.

А бывали такие люди, которым — уж так устроены они — безразлично было, что сложное у меня положение, просто аховое, что в жизни моей нескладной — тяжёлый период тянется.

Лучше всего об этих современниках, отъединённых от ненужных переживаний бетонной стеной равнодушия, сказал покойный поэт Олег Григорьев, в своём стихотворении «Яма», напечатанном в восьмидесятых, в книжке его для детей:

« — Яму копал? — Копал. — В яму упал? — Упал. — В яме сидишь? — Сижу. — Лестницу ждёшь? — Жду. — Яма сыра? — Сыра. — Как голова? — Цела. — Значит живой? — Живой. — Ну, я пошёл домой».



Выбирался я не единожды из таких вот, явно подстроенных для меня в годы прежние ям, — с большим, признаюсь, трудом. Но всё-таки — выбирался. Не сразу, конечно. Порою приходилось мне и помучиться. Ничего. Я учился — выстаивать. Как умел. Уж как получалось.

Был я молод, упрям и крепок. Весь — в поэзии, весь — в полёте, пребывал на земле, как в небе. Приходилось и приземляться. Защищаться. Все вещи в труде. И поистине — так. Доставалось всё — и жизнь, и стихи, — трудом.

Над минувшим — скопление гроз.
Надо мною — Чумацкий Воз.
В небесах. Семь высоких звёзд.
Предо мною — воздушный мост.
Что ж, пойду. Ведь найду я — суть.
И эпохи своей. И жизни.
И событий — в своей отчизне.
Над грядущим — вселенский путь...

И всё же... Да что это, право, такое?
Нет мне от времени СМОГа покоя.
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова — смог.
Значит, придётся. Свидетелем — Бог.

Что сказать, если столькое сказано в предыдущих книгах моих, в книгах изданных и неизданных, да и в тех, что ещё в работе?

Что мне нынче вам говорить?
Что мне делать сейчас? Как быть?
Нет ведь прошлого и в помине.
Или — есть? Не ушло никуда?
Вижу: в небе горит звезда.

Здесь, пожалуй, нужен Феллини.
Выручавший меня с давних пор.
Появляется он, режиссёр.
Не даёт никаких советов.
Говорит:
— Галерея портретов.
Да, портретов. Твоих друзей.
В этой книге — создай музей.
Свой. Особый. Средствами речи.
Ты сумеешь. Действуй, собрат!
До свиданья. Встрече я рад.

И тогда — запылала свечи.
Засияли — здесь и везде.
И Феллини — ушёл. Сквозь время.
Сквозь горенье в моей поэме.
Улетел — к высокой звезде.

Спohватившись, ему вослед я сказал: «Но ведь в этой книге — есть портреты друзей. Немногих. Неужели их недостаточно?»

Оглянувшись, Феллини с улыбкой сделал жесты — влево и вправо. Мол, пусть раньше в книге — портреты. Ну а позже — тоже портреты.

Помахал мне рукой. Завернулся в звёздный плащ. Словно маг и волшебник. Или фокусник. Или творец небывалых, новых миров. И ладонями, появившимися незаметно из-под плаща, выразительно, артистично сделал плавные, странные знаки.

И тогда рядом с ним появилась — вся в сиянье — Джульетта Мазина, с грустной, доброй, светлой улыбкой, со своєю трубой серебряной. Джельсомина из фильма «Дорога»? Или ангел? Трубу серебряную вдруг прижала она к губам — и раздался призывный звук. За которым пришло неясное, нарастающее звучание — отовсюду, с земли и с небес. Посулившее вдосталь чудес.



И растаяли в небе супруги.
Звон раздался по всей округе.
И рокошущий, мерный гул.
Вот и в зеркале явь отразилась.
И в него я и сам заглянул.
Сердце сразу сильнее забилося.
Волшебство? Желанный ответ.
На вопросы. Голос и свет.

И тогда — различил я музыку. И звучала она повсюду в мире этом, таком трагичном и прекрасном, куда ни взгляни.

И вела меня эта музыка за собою — и с нею было мне так светло на душе — и сызнава стали явью былые дни.

Закружились огней рои.
Темнота исчезла ночная.
Новый век. И — юдоль земная.
Где вы, где вы, друзья мои?
Те, кого считал я друзьями.
Те, кто дружбе верны поднесь.
Приходите. Все вместе. Сами.
И останьтесь надолго — здесь.

И они появились. Встали предо мною. Лица их, давние и теперешние, и глаза их, вижу вновь я. Пристально вглядываюсь. Различаю черты знакомые. Голоса их слышу — из прошлого, настоящего и грядущего. Память высветлила слова. По чутью, по нایتю, строятся лад звучащий — и здесь освоится, — ведь, в извечном единстве с музыкой, речь жива — и всегда права.

У того, кто знал свой удел, взгляд был ясен и голос смел. Был храним он своей звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явью, прочно вошедшей в речь, был ведом по дорогам встреч и прощаний. Запретов нет в дни невзгод для живого слова, потому что спасти любого слово может, оно готово приходить всем на помощь снова, быть предвестьем такого зова, что приметыв земного крова станут звёздам родней родного. Величанский Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутол немного. Стоек. Дар у него — от Бога. Пил — как все. Да побольше многих. Не держался он правил строгих в жизни бурной. А верным — был. Честен был. И друзей любил. Написал всё, что был обязан написать. Был духовно связан с миром всем. Со злом — на ножах был он. Числился в сторожах. Переводчиком был. В кино поработал. В его окно луч свободы врвался вдруг, чтобы зорче смотрел вокруг, чтобы резче строки легли, от увиденного вдали, на бумагу, на чистый лист, в дни, где воздух был сыр и мглист. Величаем его теперь. Многовато у нас потерь. Сплошь — зияния. Рвётся нить. Больше некому позвонить. Смотрит Саша из-под земли на живущих: а вы — смогли? Он-то смог состояться. Свет пусть приходит из прежних лет в новый век. До сиянья — шаг. Белый снег, словно белый стяг. Алой кровью отмечен путь всех, идущих туда, где суть жаждут сызнава отыскать. Будет время волной плескать в берега, где стоим порой, где редет неровный строй легендарной богемы. Что ж! Каждый был в те чертоги вхож, где до чуда рукой подать. Неизбежность и благодать были рядом — и вместе им быть в грядущем под небом сим. Ветер крепнет. Куда нам плыть? Песням — длиться. Легендам — жить.

Петя Шушпанов. Цыганистый, с тонкой костью, поджарый, худой. Независимый. Гордый. С характером. Образованный. Даже очень. И отменно талантливый. Пил. Запивал, бывало, по-чёрному. На карьере — махнул рукой. Кем он только и где он только не работал и где не бывал! Помотало его по свету. Жил в Москве. А потом — в Ленинграде. А потом, уж так получилось, жил он в разных местах страны, но подолгу нигде не задерживался. Возвратился в Москву. И стал обитать в столице. Ведь был коренным москвичом. Знал свой город, как никто. Выходил на прогулки после долгой, упорной работы. Был поэтом крупным. Прозаиком перво-классным. Хорошим историком. Был надёжным, верным товарищем. И — соратником. Он годами, одержимо, работал над текстами. Написал он — действительно много. Но его почему-то долго, как нарочно, не издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, как и все мы, лучших времён. Понемногу начал печататься в периодике. Вышли и книги. С запозданием, разумеется, преизрядным. Но всё-таки — вышли. Стал хворать он. Упрямо держался. Запивал — и опять работал. Постарел. Как-то ссохся,



сжался. Только нос вперёд выдавался на лице его измождённом да сверкали огнём, который погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, как мог, с публикациями. Никто больше Пете не помогал из приятелей и знакомых. Иногда я виделся с ним. Петя стоек был и вынослив — но сказало всё напряжение сумасшедших минувших лет на здоровье его. Лишь голос был таким же, как в молодые, золотые года его. Умер Петя. Его жена еле выжила — так страдала. И однажды, восьмого марта, через год после Петиной смерти, вдруг раздался звонок его телефона мобильного, долго, целый год доселе молчавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, вернее сказать — вдова, разбирать его вещи, одежду. И нашла — восемьсот рублей, приготовленных ей на подарок, пусть и скромный, к восьмому марта, по традиции, год назад. Он напомнил ей, позвонив неизвестно откуда, об этом. То-то дружен был с белым светом, жизнь любил. Значит, Петя — жив.

Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. Актёр. Художник. Человек талантливый, умный. И в богеме — незаменимый. Он родился и вырос в Питере. Ну а после войны семья его оказалась в Москве. Учился. А потом какое-то время поработал на Сахалине, далеко от столицы, в театре. Возвратился в Москву. Стал работать художником-оформителем в Ленинской библиотеке. Проработал он здесь — до пенсии. Обаятельный, тощий, высокий, с характерным шляхетским носом, с острым взглядом светящихся глаз, появлялся он в мастерских и в квартирах друзей и знакомых. И всегда — был душой всех компаний. Он писал отличную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с чистой речью, с лицом своим и своим, таким узнаваемым, хорошо поставленным голосом. Знал прекрасно музыку. Знал основательно литературу. И, конечно, живопись знал. Был достаточно образован. Публикаций в отечестве — не было. Иногда появлялось что-то в заграничных изданиях. Он, как и все мы, известен был — в самиздате. И этого было предостаточно, чтобы люди знали тексты его. Мы дружили. Был он старшим другом моим. Приходил на помощь всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. Круговая порука в годы прежние, непростые, золотые, была у нас обязательной и всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпивал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом — не пил. Незаметно — вышел на пенсию. Постарел. Стал хворать. Держался. Занимался всё чаще живописью. Реже стал появляться в компаниях. Замыкался в себе. Трудился. Время вдруг изменилось. К лучшему? Непонятно было. Но книги стали те выходить, которые невозможно было издать раньше. Книгу стихов помог ему я издать. Очень сильную книгу. Был он рад ей. Пошли болезни чередой. Он боролся с ними. Приезжал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Москвы, поработать, сил набраться новых, зимой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горькой была утрата. Друг, собрат, соратник — ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, рядом, — в том, что он создал. Долговечны его творения. Всем живущим — навек — дарение. Вне забвенья и забытья.

Это кто, высоченный, длинный, в пиджаке, замызганном красками, в старых брюках, рваных ботинках и в пальто не по росту, коротком, с искривлённым забавным носом, из кашне торчащим, с глазами, устремлёнными не на то, что вокруг него, рядом, близко, не на явь отнюдь, а в грядущее, где приют обретёт он вечный, да и должное понимание, да и славу, конечно? Игорь Ворошилов. Художник великий. И поэт, настоящий, крупный. И мыслитель. И друг мой давний. Он шагает сквозь времена, как всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. Идёт — в сияние. Из невзгод, из нелёгких лет одиночества и печали, где спасался он лишь работой, сберегая от бед бесщётных свой светлейший, им созданный мир, он идёт напрямиком в блаженный, впереди обещанный рай. Или — в тихий уральский край, где любовь его ждёт. Он смел. Несмотря на мученья — цел. Несмотря на утраты — полон светлых, разом нахлынувших сил. Говорить ли о нём — он был, жил, работал, страдал, бродил от приюта и до приюта, ночевал, где придётся, пил, попадал в ментовки, в дурдоме выживал, вопреки всему, был воителем, только так, по казацкой своей природе, рвался к свету, к воле, к свободе, к озарениям, к лучшим дням, где не будет ни прежних драм, ни трагедий, где радость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и прежде, вперёд. Когда умер он, то жене приснился. Та спросила его: «Ну как ты?» И ответил он ей: «Борюсь!» В этом — весь он. Он — здесь. Он — есть. В том, что создал. В легендах. В чуде, сотворённом им. В том, что люди называют — благая весть. В том, что жить помогает им. В том, что дар его был — от Бога. В том, что ныне светла дорога, на которой он Им храним.

Юра Каминский. Поэт. Бронзоволицый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг мой с юных лет моих. Был он старше лет на восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не

хотел уезжать. На Чукотке служил он в армии. Был единственный раз в Средней Азии. И в Москве. В Коктебеле бывал дважды — в давних шестидесятых и в начале псевдосвободных какбывременных девяностых. Вот и всё, пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В доме старом он обитал, за которым был двор, просторный, весь наружу, типично южный. Был — мечтателем. И романтиком. И отчаянным фантазёром. Книгочеем был он заядлым. Гору книг прочитал. Писал постоянно стихи. Поэтому был, конечно же, настоящим. Он печатался иногда — среди безвременья. Был упорным. Ждал с надеждой — лучших времён. Твёрдо верил в своё призвание. Выходил погулять в одиночестве вдоль реки, по знакомым с детства сплошь зелёным улицам, паркам, загорелый, кудрявый, лёгкий на подъём, от всех отрешённый, вдохновенно шептал стихи, потому что работал — с голоса. Переехал из дома старого он в квартиру, потом в другую. Ни привычкам своим, ни чаяниям никогда он не изменял. Другом был — небывало надёжным. Смело можно сказать — вернейшим. Положить мог я всегда на него. Был он честен и смел. Он дождался — изданий. Книги выходили, одна за другой. Стал при жизни — легендой. Скрамность оставалась его врождённой, безусловно, главной чертой. Как и гордость, впрочем. И — вера. В путь свой, избранный им когда-то. В правоту свою. В слово. В речь. Он любовью был озарён. Жил — неистово, пылко, смело. Без оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, светло. Выжил он — в былую эпоху. Состоялся в ней, как поэт. А в начале столетия нового — умер он. Тяжела утрата — для меня, для всех земляков. Но стихи его — вместе с нами. Жизнь встаёт — за его словами. Речь — жива. Во веки веков.

Алик Хмара. Олег. Потомок, по отцовской линии славных запорожцев, древнего рода, а по линии материнской — тоже славных донских казаков. С Украины он. Вырос, учился в институте — в Днепропетровске. А в начале шестидесятых он работал и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, навсегда подружились уже тогда. Позже он в Подмосковье, в Люберцы переехал. Мотался часто по различным командировкам. В основном, по шахтам, поскольку инженером горным он был. Мы общались всё время в Москве. В Коктебеле порою бывали. Был он другом таким, какого не найти мне, пожалуй, теперь. Хмара был настоящим поэтом. Написал он не так уж и много. Но и этого предостаточно, чтобы жили эти стихи. Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, обаятельный, искренний, добрый, рассудительный, скромный, честный, дорожил он друзьями своими. Очень нравился женщинам. Был с ними прост и открыт. Любил он природу, рвался всегда к ней из города. То по Днепру и Самаре ходил на катере, на любимой своей Украине, то позднее, в России, по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о реках, с которыми сжился. Говорил негромко. Держался неизменно спокойно, естественно, что бы ни было с ним, но с достоинством. В нём была — порода казацкая. Благородство врождённое. Выдержка. И своё понимание чести. И поэзии. И людей. Перенёс инфаркт. Знать, сказались напряжение, перегрузки на работе, к которой он относился очень серьёзно. Стал прихварывать. Приезжал в Коктебель ко мне — попрощаться с морем, югом, привольем, свободой, с ясной молодостью своей. Умер он. А стихи — остались. Завещал он похоронить себя там, где предки его лежали век за веком, в селе старинном украинском, казачьем, — Вольном. Так вернулся он, поскитавшись по просторам страны, которой нет на картах теперь, на родину. И лесная река Самара помнит голос его, и помнит Днепр, и Волга помнит, и помнят все подруги его и друзья. Голос жив, потому что живы все стихи его. Все порывы — в даль зовущую. Все прорывы — к тайне. К сути. Костёр горит. В котеле уха закипает. Вечер исподволь наступает. О минувшем река вздыхает. И звезда с ним вновь говорит.

Дима Борисов. Друг мой давний. Вадим. И — Димка. Для своих. Для нашего круга. Все любили его. Дорожили дружбой с ним. Он был уникальным человеком. Очень московским. Образованным, умным, живым. Остроумным, добрым, отважным. Наделён был чутьём особым — на поэзию, на искусство. Понимал несравненно лучше многих прочих людей, что к чему. Видел — суть. Прозревал — грядущее. Был вынослив. Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолюбив. Был высоким, худым, кудрявым, сильным, быстрым в движениях. В очках. За которыми — полные жаркого, золотого огня, — глаза. В них — душа его раскрывалась. Но не всем. Далеко не каждому. Был он гордым и независимым. Да и вся его жизнь была непрерывным сражением. Так уж всё сложилось. Блестящий историк, был лишён он властями возможности заниматься делом своим. Был известным правозащитником. Всё прошёл — и гонения, и беды. Надрываясь, работал. Брался за любую работу, лишь бы прокормить большую семью. Никогда ни на что не жаловался. Терпелив был. Упо-



рен. Упрям. Выбирался из разных драм и трагедий. Всё время держался. Проявлял непрерывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. Но — восстал. И вернулся к жизни. Наваждение псевдосвободы принесло ему раны душевные и страдания. Пил. Но вновь оживал — для новых идей, для трудов. Энергия в нём возрождалась сказочным образом, чтобы всё озарить вокруг, всем доставить радость и счастье. Светоносным был человеком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним из лучших людей столь любимой им с детства России. Умер странно. Где-то в Прибалтике он уллыл, на отдыхе, в море, в одиночку. И — не вернулся. Через сколько-то дней нашли, наконец, его тело. Возможно, он ушёл сознательно. В море. Или — в вечность. От бед. От болезней. От мучений вечных мирских. Но огонь, горевший в глазах его, пламень жаркий, остался с нами, здесь он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, он жив. А величие человека — оторвать невозможно от века, для потомков легендой ставшего, дух и свет для них сохранив.

Володя Брагинский. Друг мой старинный. Отличный прозаик. И крупный востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш общий чудесный друг, да ещё одноклассник Володин, что очень Володя похож не то на апостола Павла, не то на Петра. Не помню, на кого конкретно их них. Был похож он, скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын известного востоковеда. Сам пошёл по стопам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, просто. Но взгляд — с тайным жаром. Со школьных лет он писал и стихи, и прозу. И прозаиком был — настоящим. Но пришлось заниматься — наукой. Написал он множество книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. Всё — по науке. Работа непрерывная, многолетняя. Только прозу свою, которую он любил читать нам когда-то, не издал он. А мог бы издать. Да, он ездил по разным странам. Побывал на Востоке, в Европе. Много видел. Много знал. Стал он верующим человеком. Стал он кумом моим. Порою мы встречались с ним, говорили, как и встарь, по душам. Потом — он уехал. Внезапно. Вдруг. Навсегда. Для всех — неожиданно. Поселился в Лондоне, вместе со своей семьёй. Стал профессором. Написал ещё больше книг, чем в России. Другам — не писал ни единой строки. И долго. Почему? Спросить у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, поскольку интернет существует в мире, ну а с ним электронная почта сразу стала привычной для нас, иногда он пишет мне. Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А теперь вот — вышел на пенсию. Фотография: домик, садик. Дети выросли. Внуки есть. Ну а я вспоминаю Володю — молодого. Умного. Доброго. И талантливого. Звучит столь знакомый голос его. Он читает свои рассказы. В них — живые слова и фразы. И за явью в них — волшебство. Всё — его. И судьба, конечно. И труды. На земле извечно человек выбирает — Путь. Дружбы прежние — всё дороже. Может быть, нам удастся всё же повидаться — когда-нибудь.

Саша Морозов. Друг мой — почти половину столетия. Высокий. Когда-то был — худым. Теперь — погрузил слегка. Поседел, конечно. Борода — по-прежнему пышная. Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. Долго в отечестве не печатался. В девяностых — начал печататься. Даже Букера получил. В шестидесятых жили мы друг от друга довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в гости ходили — пешком. Он любил чудачества разные. Собирал стихи о кузнечиках. Предлагал всем друзьям и знакомым рисовать кикишу какую-то. Собрал на руинах Останкина, в деревянных домах, снесённых и сожжённых к очередной годовщине советской власти, большую коллекцию старой посуды и прочих, разнообразных, весьма интересных предметов. Хорошо понимал он поэзию. Обладал своим, незаёмным и достаточно тонким юмором. Был к друзьям внимателен. Знал цену дружбе. И — цену слову. Годы шли. Он писал статьи. И сценарии, для кино. Привозил священный огонь, из Иерусалима, в Россию. Летом — жил на даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает — и живёт подолгу. Находит на дороге дмитровской старой то монеты древние, то что-нибудь ещё, из диковин. Он давно привык увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так — интереснее жить. Дети — выросли. Внуки — есть. Да и тексты — изданы. Он звонит мне порой, когда я бываю в Москве. И я иногда звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. Вновь — беседуем. Оба — седые. Вспоминаем лета молодые. А потом, оба — в разные стороны, разъезжаемся — по домам.

Слава Горб. Старинный, особенный, золотой, с юных лет моих, друг. Половину столетия мы дружим с ним. Навидались — всякого. Съели соли немало пудов. Несмотря на сложности, выжили. Встарь мы вдосталь наговорились. И сейчас го-



ворим порой. Хоть и видимся слишком уж редко. Но зато — конечно же, с толком. Говорим — словно не было вовсе промежутков в общении нашем. Нить духовную — невозможно разорвать ни драмам, которые и со мною, и с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни утратам, слишком тяжёлым для души и для сердца, ни ставшему очевидным и беспощадным, как война, разобщению людскому, ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни злу, — ничему. Время — с нами. И память — с нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но зато — прозревает суть вещей и явлений. Умён. И талантлив. И друзьям верен. Коренастый, прочно стоящий на земле своей. Сын Украины. Безусловно, хороший сын. Солнце любит он с детства. Приволье. Море любит. И степи родные. Мой земляк. Соратник. В Москве не прижился он. Переехал в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Коктебеле. Знает, что всегда ему здесь я рад. Написал он вещи такие, что поэзия в них — стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна в них, поющий лад — неизменны и драгоценны. Издают их, пусть — постепенно. И — читают. Они — живут. Говорить об этом я вправе. Сколько писем писал я Славе, сколько писем он присылал мне! Уцелели. Смирненно ждут — и вниманья, и пониманья. Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих в легенду лет, — может, пламя свечи полночной, может, отсвет зари бессрочной, может, звёзд негасимый свет. Ветер запах принёс полынный, чтобы дух оживал былинный в том, что создали мы. Слова стали ясными. Солнце в мире светит ярко. Пространство — шире. Время — дорого. Речь — жива.

Коля Боков. Племянник поэта-долгожителя Виктора Бокова. Едкий, резкий, голубоглазый. Словно кость — поперёк ли горла, поперёк ли всех и всего, что мешало ему, раздражало и временно не устраивало. Саркастичный? Да как сказать! Ироничный, скорее. С юмором характерным, чёрным весьма. И достаточно образованный. Был — таким. Какой он сейчас — я не знаю. Столько ведь лет миновало с тех пор, когда он уехал на Запад. Был он в молодые годы свои, здесь, на родине, интересным, самиздатовским, разумеется, но печатавшимся потихоньку за границей, ярким писателем. И стихи писал. Издавал свой журнал под названием «Шея», на машинке перепечатанный. Он имел отношение к СМОГУ. Но старался быть независимым. Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он издавал свой журнал — известный «Ковчег». А потом — пошли неприятности, осложнения в жизни. Судьба оказалась довольно сложной. Он отшельником жил в пещере, много лет. Путешествовал много по различным странам. И стал вроде даже религиозным человеком. Потом, в Париже, сочинил роман о клошарах, ставший там бестселером. Начал вновь работать усердно. Книги появлялись одна за другой. Не видались мы слишком давно, чтобы знать мне о нём побольше, — чем он жив, как живёт, и так далее. Существует — и в книгах своих, и в поступках своих, порою необычных, парадоксальных, и в моей, хранящей всё то, что с эпохой былою связано и с людьми этой трудной эпохи, нас возрадившей, единой для всех, возрождающей, воссоздающей всё, что видел, что знаю, памяти.

Марк Ляндю. Поэт. А в прошлом — геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсовод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. Жил в Томилино, в Подмоскowie. Посещал, с усердием редкостным, всевозможные литературные — вдосталь было их — объединения. И везде — читал, с выражением, артистично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мясистый нос. Близорукий. Очки сверкали. Завывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил, молчал. Было много в нём молодой, диковатой слегка, энергии, несмотря на возраст. Потом он женился, в который уж раз. Погрузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солиднее. Остепенился. Но его прорывало — и он становился всё тем же, прежним, странноватым, бурным, восторженным, — лишь посверкивали глаза с озорною искрой за стёклами запотевших его очков да взлетали руки, то вверх, к небесам, то куда-то в стороны, и сквозь гул, издаваемый им, прорывались строки стихов. Был он добрым? Думаю, в меру. Но поэзию — страстно любил. И особенно — символистов. Да и сам был — таким вот, нынешним, запоздалым слегка, символистом. Стал печататься. Выпустил книгу. Говорят, интернетчик заядлый — есть какой-то собственный блог у него, там он что-то пишет. Приезжал в Коктебель он, бывало. Навещал меня, вместе с женой своей. Бурный, грузный, очкастый, в берете. И — с тетрадью стихов под мышкой. Но — подвижный. Ходил по окрестностям коктебельским довольно часто. И гудели над всей долиною и над морем — его стихи. Полагаю, гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, громко, на подъёме, по-символистски, по-смогистски, сейчас и в Москве.



Генрих Сапгир. Вальяжный, усатый, слегка под хмельком. А иногда — и крепко выпивши. Так бывало. Но никто никогда почему-то не говорил о нём осуждающе: вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор детских стихов, драматург. В компаниях — демиург. В застолях — руководитель. Хандры и тоски победитель. Ко всему относился — легко. Лишнее — отметал, за ненадобностью. Оставлял только то при себе, что было и удобнее, и надёжнее. Так — спокойнее. Проще жить. Не мешает ненужный груз чьих-то текстов или вопросов надоевших, о смысле творчества или бренности бытия. Он умел работать. Но знал меру. То есть — не перерабатывал. Оставлял себе в досталь времени — для прогулок, пиров, ресторанов и поездок — благо была у него такая возможность. Жил — размашисто, широко. Словно год за годом навёрстывал то, что в детстве недополучил. Был талантлив. Ревнив к соратникам — иногда. Дружелюбен. Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в поэзии нашей. Заводил романы. Менял жён. Готов был помочь друзьям, если надо. Мы долго с ним, с явной пользой для нас обоих и достаточно крепко дружили. Написал он довольно много книг стихов. Не печатался долго. Но зато его детские вещи издавались всегда на ура. Шли спектакли в детских театрах непрерывно, по пьесам его. Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги охотно. Потому что на смену истраченным приходили новые деньги. В перестройку — стал издаваться он в отечестве. Начал бывать за границей. Остепенился? Нет, остался собою, прежним. Только несколько погрузнел, поседел. Но улыбка, часто появляясь из-под усов, говорила всем окружающим, неизменно: всё хорошо! Стал писать он и прозу. Книги выходили, одна за другой. Молодёжь его мэтром считала. И росла известность его. Умер он внезапно, в автобусе, отправляясь на выступление. После смерти — пришла и слава. Даже книга воспоминаний выходила потом — о нём. И осталось в памяти — дождь, Коктебель, приволье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль моря, смотрит он с интересом вокруг, говорит привычно: «Понятно!» — и улыбка его приятна встречным всем, да и жизнь отрадна, и, конечно, радостен юг.

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, может быть, недоволен? Тем, что был он встарь недозволен, а теперь — давно вседозволен? Всё равно ему. Смотрит молча из-под стёкол очков, седой, длинный, бритый, сухой, худой, неизменно — невозмутимый. Публикация? Хорошо. Ну а книги? Да пусть выходят. Был он притчею во языцех при советской власти. Подпольным, необычным, барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился у Евгения Леонидовича Кропивницкого. Стал известным — в андеграундных, узких кругах. Он прошёл войну. Не любил никогда говорить о ней. Он работал официантом. Фарцевал по крупной. Писал для детей. Сочинял сценарии, между делом, для телевидения. Жил — без лишнего шума, закрыто. Не любил впускать посторонних он в свою, какая уж есть, как сложилась, ровную жизнь. Не любил открывать, даже выпивши, даже близким, душу свою. Мы нередко с ним виделись. Он относился ко мне дружелюбно, даже с явной симпатией. Знал и ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, в гости. Вёл спокойные разговоры — то о жизни, то о знакомых, то о старости, то о судьбе. Умер летом он, после болезни, в девяносто девятом году завершающегося столетия. Издан был двухтомник его сочинений, стихов и прозы. Изучают его наследие литературоведы нынешние. Только в памяти — он встаёт, весь прямой, как римский сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли военной, чтобы к свету выйти опять.

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудреватый. В очках. И в кепке, называемой «аэродромом». Он — из Харькова. Прибыл в Москву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. К нужным людям сразу прибиться. Там, где надо, вмиг появиться. Создавать о себе молву. Тихий, вроде бы. С виду — скромный. Чинный. Вежливый. Нежный. Томный. Но себе на уме он был. Помогала ему богема. Все решали его проблемы. Он об этом потом — забыл. Голос вкрадчивый стал нахальной. О судьбе своей эпохальной заявлял он ещё давно. Самомнение — нарастало снежным комом. И маска стала — главным в жизни. Но всё равно привечали его повсюду. Шил он брюки разному люду. Зарабатывал. Сочинял непрерывно стихи и прозу. Злобу долго растил, как розу. Жизнь по-своему изменял. Надоело ему в столице. Стал мечтать он о загранице. И уехал туда. И там приживаться по-новой начал. Ничего собою не значил. Шёл за случаем по пятам. Был упорным. Стал издаваться. От амбиций — куда деваться? И в политику он полез. И — прижился в ней. Разгулялся. Побывал на войне. Вписался в журналистский лихой ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску он сменил. И придумал сказку, изуверскую, на крови. Создал партию. Стал заметным. Знаменитым. С кличем победным рвался к власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писаниной всю



страну. Не агнец невинный — натуральный фюрер. Герой. Посидел в тюрьме. На свободу — победителем вышел. С ходу занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё — в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём — говорили. А потом — что будет потом? Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болотная. Тьма ночная. Да бурьян — на месте пустом.

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бахчанян. Художник. Из Харькова. Но приехавший жить — в Москву. Потому что была столица для людей божемных в далёкие и уже невозвратные годы чем-то вроде недосыгаемого и манящего всех Парижа. Невысокий. В костюме джинсовом. Острослов. Армянин, на двести, как любил говорить он, процентов. С ним — жена его, Ира Савинова, очень верная, волевая и с характером, тоже художница. Был поистине он королём грандиозного чёрного юмора. Был художником очень ярким, авангардным. В Москве — прижился. Был душой любой компании. Зарабатывал в «Литературке» и во многих других изданиях. Все любили его. Казалось бы, жить да жить супругам в Москве. Но жилья своего у них, столь известных, в столице не было. Постоянно они снимали для себя какие-то комнаты. Стал народ разъезжаться вдруг — кто в Европу, а кто в Израиль, кто в Америку, кто куда. И супруги — тоже уехали. Оказались они — в Америке. Поселились они — в Нью-Йорке. Бахчаняна все звали — Бахом. И в Америке, на чужбине, он остался — самим собою. Непрерывно работал. Был — в эмигрантской среде — известным человеком. Душой компаний. Выставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформлял какие-то книги. Пристрастился в центральном парке, на пруду, от людей подальше, на природе, рыбу ловить. Говорят, что Ира устроилась на работу в солидную фирму, зарабатывала нормально, даже стала вскоре начальницей. Бах — беседовал по телефону со знакомыми. Рисовал ежедневно. Седел, лысел. Стал хворать. И весьма серьёзно. Побывали супруги в Москве, состоялись у Баха выставки. Вышли книги его на родине. Только он — уже угасал. И однажды — покончил с собою. Горевали о Бахе — все, и на родине, и за границей. Вспоминали о Бахе — все. Колоритный был человек. Уникальный. Очень талантливый. И осталось — великое множество первоклассных его работ. И осталась — Ира, которой что-то делать с этим наследием, поступать разумно придётся. И осталась — память о Бахе. Память светлая. Навсегда.

Слава Лён. На самом-то деле он — Епишин. Лён — псевдоним. Но со временем к этому все, как бывает у нас, привыкли. Лён так Лён. Согласны. Пусть — так. Хочет — будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, удалённым, за ненадобностью, во мрак. Вижу Славу Лёна — радушным, всю богему к себе зазывающим, спирт, на корках лимонных настоенный, в рюмки крохотные наливающим. Он — хозяин салона домашнего. Голова не болит со вчерашнего у него. У гостей — болят. Похмелиться гости велят принести. Приходят в себя, всё вокруг всё больше любя. Соловьём Слава Лён заливается. Всем гостям напоказ улыбается. Галстук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. Полёт. В эмпиреи. Потом — на лёд. Пируэт. А потом — за стол. Всем, кто нынче сюда пришёл, будет снова стихи читать. Будут мысли гостей витать над графином со спиртом. В нём — смысл собраний. «Когда кирнём?» — каждый думает. Все — тихи. Лён — читает свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На любые затеи — гож. Он придумал «Бронзовый век». Был активен сей человек. И теперь он — везде. Куда ни придёшь — там и Лён, всегда. Постарел. Но былой задор — не угас. Он скользит, позёр, на фигурных коньках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени быть. Он рвётся — на яркий свет. Что-то пишет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. Куда? Лёд растаял. Везде — вода. Исчезает фигурный след. За болотом — дороги нет.

Кто это там — из прошлого? Или, может, — из настоящего? Бородатый. Довольно высокий. С виду — вроде спортивный, подтянутый. Ну конечно — играет в теннис. Голос — низкий. Глаза — горят. Он уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын академика. Он — учёный, химик. Серьёзный. Автор множества разных статей. Компанейский парень. Володя Сергиенко. Поэт. Отчасти — Дон-Жуан. И — доктор наук. Он, конечно же, книголюб. Автор книги стихов, единственной. Выступает на вечерах, в том числе — и памяти СМОГа. В девяностых он, отдохнуть, приезжал ко мне в Коктебель. А в Москве мы с ним редко видимся. Занят он вплотную — наукой. Давним друзьям — верен доньне. Жив. Работает. Полон сил. Несмотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И стихи ведь — есть. И — живут. Из былого века — речь хорошего человека. Из бесчасья — потомкам — весть.



Дима Савицкий. Крепкий. Невысокий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирийскою бородою — в молодые свои года. Прозаик. Поэт. Журналист отличный. Надёжный друг. Мы работали с ним когда-то в газете «За доблестный труд». И в этой газете Дима печатал свои рассказы. Почему-то учился он в Литинституте. Повесть написал. Из-за этой повести — не получил диплом. Я знакомил его с людьми из нашей среды богемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раздаривал сборники самиздатовские свои. В трудный его период я отправил его в Коктебель благословенный, к Марии Николаевне Изергиной. И там — возродился Дима. Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил обеды. И написал роман. Потом он влюбился. Был, видимо, очень счастлив. Потом он опять влюбился. В парижанку. Уехал в Париж. Всё бросил в Москве. С собою взял — пишущую машинку. В Париже его ожидали неисчислимые сложности и драмы, и даже трагедии, связанные с любовью. Он — выстоял. Выдержал — всё. И решил остаться — в Париже. Навсегда. Изучил язык французский. Знал и английский. Он стал издавать свои книги. Зарабатывал много. Ездил по экзотическим странам. Работал и как журналист. Стал вести передачи о джазе, на радио, на «Свободе». Был знатоком джаза. Сразу стал знаменит. Его передачи слушали миллионы людей. Он сбрил ассирийскую чёрную бороду. С виду стал вполне парижанином. Годы шли. Облучился он в армии, на секретных объектах, в молодости. И сказалося это потом. Стал хворать. Стал бороться с хворобами. Побеждать. Изучил медицину. Прочитал всё, что было написано на французском и на английском языках. Писал свою прозу. И стихи. В девяностых годах вышли книги его и на родине. Дима — лучший знаток Парижа. Он по городу этому ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт вино в знакомых кафе. Иногда — запивает, бывает. А потом — прекращает пить. Он — живучий. С корнями крымскими. С коктебельской хорошей закваской. И с московской. Он — свой. Из того же, что и все мы, друзья его, теста. Настоящий, крупный писатель. Человек выносливый, стойкий, волевой. И новые книги он напишет ещё. Впереди — свет, который ведёт его к цели. Он докажет, что жив, на деле. Бури — вроде, давно отгремели. Сердце щедрое — бьётся в груди.

Вадим Делоне. Потомок коменданта Бастилии. Внук академика. Парень приветливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. Поэт. И прозаик. А также — известный правозащитник. В шестьдесят восьмом, вместе с прочими, в знак протеста против введения войск советских в Чехословакию, был на Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и долго. Но — достаточно, чтобы об этом, позже, книгу свою написать. Помню встречи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи читал. Помню наши беседы давние. Он уехал в Париж. На родину предков. Жил там, тоскуя по родине, им оставленной, той, где вырос, где остались его друзья. Пил. Метался. Страдал. Издавался. Написал он немного. Был и в Париже общим любимцем. Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, на пластинке, им поставленной, для настроения, или, может быть, от тоски, вдруг нахлынувшей, от печали безысходной, или в подпитии сильным, песни Алёши Хвостенко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча на ветру отшумевшей былой эпохи.

Володя Эрль. Был — Владимиром Ивановичем Горбуновым. Стал — Владимиром Ибрагимовичем. Захотел однажды — и стал. Эрлем быть — непросто. Он вжился в этот образ. Как вновь родился. Колобродил. Чудил. Творил миф, который — сам говорил за него. Бородой оброс до колен. Как немой вопрос — к небу поднятая рука. Взгляд, ушедший за облака. Мир абсурда — велик и мил. В нём прижиться — хватило б сил. Обошлось. Алогичен путь, где поглубже нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолевал перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. Залив из окна созерцает. Скрыв одиночество и тоску. Повидал на своём веку многовато. В молчанье — крик. По созвездию — ясно, Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же сказке такой конец? Да нигде. Продолженье впрямь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А может быть, всё же, в боль? В боль, скорее. Такая роль. Есть отрада. И есть — игра. Что же будет — потом? Пора призадуматься? Маску снять? Как ни тщишься, не вернуться вспять. В май, где в СМОГ записался он. Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он в явь. Оторвать — нельзя. Мифотворческая стезя привела его в новый день, чтоб легенды вставала сень над его головой седой, чтоб над невской стоял водой странным знаком судьбы своей эрлекин петербургский сей.

Володя Бродянский. Старинный друг мой питерский. Режиссёр театральный. Но это — в прошлом. А теперь он — самый таинственный человек, из всех, кого знаю. Был — худым, даже тонким. Лёгким на подъём. Повидал немало разных мест в



отечестве нашем, прежнем, нынче не существующем. Путешествовал — автостопом. Временами — ездил на поезде. Жил он раньше — в любимом Питере, в самом центре. Учился в Москве. Познакомил меня со многими интереснейшими людьми. Познакомил и я его, в середине шестидесятых, со своими друзьями тогдашними. Был на редкость он обаятельным. Светлый, странный. С глазами эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им взаимностью он отвечал. Создал он свой детский театр, знаменитый, в Лодейном Поле. Создал он университетский, ленинградский, известный театр. Испытал на себе гонения и преследования властей. Стал работать питерским дворником. У него были жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. Научился там выпекать удивительный чёрный хлеб. Продающийся нынче в Питере. Всем известный «бродянский хлеб». Обладал чутьём фантастическим — на достойное, настоящее, — и в поэзии, и в искусстве. Собирал годами серьёзную и большую библиотеку. А потом — всё роздал. Имуущество, книги, живопись, и жильё своё. Роздал — всё. От всего стал — свободным. Опростился — до невозможности. Ел капусту и чёрный хлеб. Стал — целителем. Помогал стать здоровыми людям. Тихий, весь какой-то светящийся. Взгляд — словно луч. Говорил спокойно, рассудительно. Приезжал он ко мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом пронзительном взгляде, в каждом слове, со свёртком в руках, в свёртке — хлеб и капуста. «Кушай!» — говорил. Улыбался кротко. Мы беседовали часами. А потом он — вдруг уходил. И — надолго. Думаю, так было надо. Ему виднее. А потом — он исчез куда-то. И не просто надолго — на годы. Где он был? Появился — сам. Оказалось, он путешествовал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. И работал грузчиком. На себе, в одиночку, носил пианино. Откуда силы? Были силы. И воля была. К жизни. В самых невероятных, самых разных её проявлениях. Находил он по всей Земле удивительные места с энергетикой необычайной. Был не раз и не два в горах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимался на Килиманджаро. Поднимался на Эверест. За морями и за океанами находил он то, что ему было, видимо, необходимо. Жил однажды на острове Пасхи. Где он только не побывал! Познавал он мир. Прозревал что-то в мире совсем особое. Что-то важное знал. Спасительное и целебное — для человечества. Просветлённости он достиг на путях-дорогах земных. Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С виду — волшебник. Борода — ни разу не стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И на редкость скромно одет. Не нужны ему лишние блага. Духом жив он. И светом жив. Как всегда, на помощь придёт, если надо. Вернейший друг. Изумительный человек. Даже больше того — редчайший. Прочно связаны судьбы наши. Продолжаются наши встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть нечасто. Пусть иногда. Время — с нами. Творчество — с нами. Негасимое с нами пламя. В прошлом — друг он. И ныне — друг он. И останется им — всегда.

Коля Недбайло. Художник. Рисовал он — левой рукой. А стихи писал — правой рукой. То есть, с пользой всегда использовал, в дело нужное сразу пускал, со сноровкою, обе руки. Был задирист, самоуверен. Чуб — на лоб. Напускная бравада. Прибаутки. И поговорки. Сам придумал — сам и сказал. Глаз прищурен. Язык острый. Невысок. В одежде поношенной. Да и брюки коротковаты. Но зато — берет или шляпа — знай, мол, наших! — на голове. Гонор был завсегда при нём. Зарабатывал он прилично. Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог работать — ночью и днём. Рисовал. А потом — гулял. Широко. Подолгу. С размахом. С нищетой был знаком, со страхом, — с детских лет. Дурака валял понарошку. Ведь был — хитёр. Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вытворял такое, что похмелье — сплошной костёр. Но потом, в мастерской своей, он работал, закрывшись, много. Ждать чего-то и жить убого не желал он. Вперёд, скорей! Жить — сейчас. Выставляться. Быть на виду. Так даёшь успехи! Что запреты и что помехи? Жизнь — одна. Значит, надо жить. Вот и жил. Всем властям — назло. Почему-то ему везло. Постарел. Растерял друзей. Вроде, жаждал отдать в музей он холсты свои. Кто возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он занят? Да всё равно. Я не виделся с ним давно. Был он в СМОГе — да сплыл. Берет мокнет в глуби минувших лет.

Лёша Курило. Так называли его мы раньше. Вообще-то он — Леонид. С Украины родом. Художник. Настоящий. Учился в Строгановке. Но тогда уже — состоялся. Был всегда он — самим собою. Независимым. Работящим. Компанейским. Приветливым. Добрым. Был он в СМОГе. Был верным другом. А потом — отошёл от СМОГа. Открывалась пред ним дорога — для трудов его постоянных. Он работал — и за границей, и в отечестве. Создавал витражи. И холсты. Выставлялся. Стал художником официальным. Но зато — превосходным мастером. Годы шли. Мы не виде-

лись долго. А потом — повидались. Он отыскал в архиве своём фотографии наши давнишние. И теперь они — многим известны. Бородатый, с короткой стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, вспоминал Курило — о прошлом. О своём. И — нашем. Хорошем. В настоящем он жив — работой. И храним он — своей звездой.

Боря Кучер. Худой, высокий, даже длинный. Слегка прихрамывал — подорвался на mine в детстве, в Севастополе. Там он вырос. А учиться приехал — в Москву. Вместе с Лёшей Курило и прочими, из смогистских времён, художниками, был он тоже студентом Строгановки. Был он — с юмором. Настроение неизменно всем поднимал. Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим художником. Чудом сохранились его работы у меня. Время было сложным. Раскидало ребят из Строгановки, получивших свои дипломы, из столицы — кого куда. И не знал я лет сорок пять — где Борис обитает, где отыскать его? И недавно оказалось, что он живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него персональные выставки. Значит, много работает. Видел я в интернете его рисунки — словно тёплые воспоминания о былых смогистских годах. И на этих рисунках — все мы, вдохновенные, молодые. Значит, помнит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он жив, полон творческих сил. Даст Бог, побеседуем. Вспомним СМОГ.

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, худющий, очкастый, угловатый — в юности. Ныне — солидный, степенный, спокойный, но — со взрывчатостью, возникающей неожиданно. В СМОГе был — вместе с нами, на вечерах знаменитых. Надёжный друг. Верный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он учился. Стал журналистом-международником. Занимал высокую должность в АПН. Потом это крупное заведение — упразднили. Поселился он в Бухаресте. Там активно, много работает по своей специальности. Пишет и на русском, и на румынском языке статьи, репортажи. Переводит с румынского — прозу и стихи. Наконец-то издал свою книгу стихов. Путешествует. Приезжает в Москву постоянно. Приезжал и ко мне в Коктебель. Привозил с собою вино, чьё название удивило и заставило призадуматься всех поэтов — «Слеза Овидия». Угощал им друзей. Читал, громко, чётко, свои стихи. Презентацию книги провёл на волошинском фестивале. По душам со мной побеседовал. И на старенькой «Волге» своей укатил в Бухарест. Но в Москве — появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. Присылает стихи. Публикуется нынче в журналах. Человек он талантливый. Добрый. И внимательный. И порядочный. Слово держит всегда. Умеет и работать, и отдыхать. Слава Богу, что временами пробуждается в нём вдохновение, оживает снова горение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда — стихи возникают. На него самого похоже. Внешне — вроде простые, сдержанные. Но внутри — негасимый свет. Испытаний — вдосталь. Минувшее чаще тянется к настоящему, чтобы нить протянуть грядущему в чистой музыке наших лет.

Марк Янкелевич. Автор текста «Метапсихоз». Остальных его сочинений, к сожалению, не припомню. Худой, оживлённый, с прядью седой среди тёмных волос. Был в СМОГе довольно деятельным. Участвовал в демонстрациях. Писал ли прозу — не знаю. Мы дружили в шестидесятых. А потом женившийся Марк отошёл от всего, что было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а позже — долго не виделись. На закате восьмидесятых и в начале лихих девяностых занялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел на открывшемся поприще. Сын его — за границей жил. Гнал ему «Мерседес» оттуда. И разбился на гололёде. Марк страдал. Много пил. И умер. Прядь седая осталась в памяти — да весёлый голос. Из прошлого — глаз лучистых Марковых взгляд.

Валера Басков. Из Рыбинска родом. Постарше нас, но всё же из нашей компании. Книгочей. Собиратель книг раритетных. Позже, в Москве, где стал он со временем жить и работать — театровед. Немного сумбурный. Восторженный иногда. Порою — печальный. Но — искренний. И отзывчивый. Поэзию — понимал. Очень верно, всегда независимо от прочих мнений, по-своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и пил. Закрываясь от людей, у себя в квартире. Появлялся всё реже, реже на виду. Исчезал — надолго. Как-то тихо он растворился за чертой междувременья нынешнего. Не желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем он жил? Как он жил? Никто и не знает. Умер он, добродушный, улыбчивый, с чуть заметной хитринкой во взгляде, но простой в общении, увалень, одинокий, не понятый, замкнутый в сохранённом им мире своём, вход в который закрыт был для всех. И осталась — тайна. И — память. И ещё различим иногда голос, тающий постепенно, исчезающий вдале-





ке. Только ветер ненастный снова прилетит, прошептавший слово, столь знакомое, из былого, да цветок шевельнёт в руке.

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой земляк. И друг мой давнишний. Голова точёная. Спину держит прямо. Ходит размашисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, с грустью тихой и светлой, глазами повзрослевшего разом ребёнка или старца, на белый свет. Он работал годами в редакциях самых разных местных газет. Был хранителем наших — всей группы молодых криворожских поэтов из начала шестидесятых — текстов, им же тогда, на машинке, вечерами, перепечатанных, да и прочих материалов. Может быть, когда-нибудь он обнаружит их, покажет современным людям? Хотелось бы вновь увидеть всех нас, героев, правдолюбцев и смельчаков, полных сил, вдохновенья, задора, в том, что прежде мы сочиняли. Жил он близко совсем от меня. Так что виделись мы постоянно. Говорили мы часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам нашей Гданцевки, густо заросшей тополями, лиственной шелестящими на ветру, то в его квартире, небольшой, но такой уютной, где врывался в открытую форточку свежий воздух весны, или осени, или лета, или зимы, где покой был предвестьем воли, ну а воля — началом доли, где ненастные знаки боли возникали вокруг, — обо всём, чем когда-то жили, дышали, что потом случайно узнали, что теперь вернётся едва ли, что в себе сквозь годы несём, как огонь, для других незримый, но для нас-то необходимый, неизменный, неукротимый, очевидный, как ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, неизбежных свершений ждущий и прозрений в жизни грядущей на юдольном нашем пути. Он потом переехал, стал жить в другом, далёком районе. И не видимся мы подолгу. Но старинная дружба — жива. И стихи наши прежние живы, и души дорогие порывы, и над всем, что с нами навеки, молодая шумит листва.

Алик Учитель. Друг, с юных лет моих, криворожских. Старший друг. Мудрый друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. Внимательный. И надёжнейший. Светлый друг. Золотой. Александр Давидович. Словно с давних холстов прославленных, всем известных испанских художников к нам сошедший, в нашу не только непростую, но слишком уж сложную, но зато и доселе прекрасную, потому что дарована всем, чтобы жить и работать в ней, явь. Небольшой, но пластичный, стройный, крепкий, сильный и духом, и телом, фантастически просто выносливый, небывало работоспособный. Как он всё успевает? Да так вот. Потому что он прозорлив, образован, умён, талантлив, смел, упорен, внимателен к людям. Он учёный известный. Профессор. Создаёт институты. Бывает постоянно в командировках. Помогает всем, кто к нему обращается. Помнит — всё. Всех поддерживает, опекает. Он — творец. И жизнь его — творчество. Созидает. Миры творит. Он, как Хлебников говорил, из творян. Хорошо разбирается и в искусстве, и в литературе. Он всегда — в работе, в движении. Ну а дома, когда, бывало, прихожу я к нему, повидаться, побеседовать, он — чудесный собеседник, радушный, приветливый, чуткий, очень гостеприимный и внимательный друг. И с ним — Соня, светлая фея из сказки, изумительно добрая, искренняя, вся в полёте, порою восторженная, увлечённая и поэзией, горячо любимой, и музыкой, неизменно красивая, верная идеалам, его жена. Разговоры наши и встречи — незабвенны. Во имя речи и во имя свершений новых мы живём. В который уж раз убеждаюсь я: дружбы — святы, годы наши — давно крылаты, люди есть особые в мире. С нами он. И время — за нас.

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. Настоящий волшебник. Давний друг мой. Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В былые годы — путешественник страстный, бывавший в самых разных местах страны — той, которой на карте нынче нет, которая всё же — с нами, в нашей памяти, в наших снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём — когда-то, давно, в дни, когда он был помоложе. Сквозь очки — жарчайший, ярчайший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, земной поклон — кручам киевским и ярам, паркам, улицам и дворам. Здесь — отчизна его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из болезней. Он — волевой. Несмотря ни на что — живой. Будет жить он и впредь. Всегда. Есть над градом — его звезда. Сберегает его судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот лишений, страданий, зол. Не случайно он в мир пришёл. Словно вестник добра. Для всех, с кем знаком он — и чей успех был предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, вглубь и ввысь. Встаёт свет над ним, чтоб сиянем стать. Призван он, чтоб любить и знать, в жизнь, в юдоль. С чередой лет ярче стал несказанный свет. Крепче — дружба. Верней — слова. Зеленой и шумней — листва над его головой седой. И душою он — молодой.



Мудрый. Искренний. Книгочей. Смысл событий и суть вещей прозревающий. Зрячий. С ним — хорошо мне. Ведь он храним высшей волею. Что-то в нём от пророка есть. Словно днём, даже ночью светло, когда рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгновенья. Снег или дождь, и разливы рек, и в пучине мирской ковчег, век минувший и новый век тоже — рядом, и жизнь — светла. Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И — Мери, его жена. Словно в непогодь, вдруг, — весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь — и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в новый день. За оградой, в глуши, — сирень. За порогом — небес простор. Вдосталь — музыки. Лад. Костёр. Несгорающая свеча. Отсвет солнечного луча. Отзвук песен — с высоких звёзд. Над пространством — воздушный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над минувшим — комет рои, восходящих светил следы. Продлеваются их труды, чудеса бытия дая. Над грядущим — горит заря.

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изобретатель всевозможных чудес технических. И не счесть различных дипломов и патентов, которыми встарь до предела была завалена вся квартира его. Но средств это раньше не приносило. И работал он — инженером. Словом, творческий человек. Совершенствовался. И жил, по привычке, скромно и просто. Он любил свой Киев. Он был совершенно своим — в богеме. Круг его знакомств был широким. Круг друзей его — тесен был. Тонкий, стройный, — струнка, звучащая на ветру весеннем, когда расцветали вокруг акации и каштаны, цвела сирень, и в Днепре, на просторе водном, словно в дивном, текучем зеркале, отражались и чайки белые, и плывущие облака. Или — осенью. Или — зимой. Или — в летнюю пору. Всегда в нём звучала волшебная музыка бытия. Был он честен и стоек. Был надёжен. Знарок поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. Знал он — многое. Жил — свободно, независимо, чтобы мешало ему. Он мог отстраниться от всякой всячины надоевшей. И просто — жить. Но — по-своему. Без подсказок. Знал он сам, как ему поступать. Он уехал, давно, — в Израиль. Вместе с Олей, женой своей, замечательной, тонкой художницей. Оказался он там, на новой, обрётённой вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом возрасте, сердцем искренне принятой родине, и востребованным, и понятым. Дом в пустыне. Работа. Средства к жизни — в общем, вполне достаточные, чтобы ездить по разным странам, путешествовать, принимать и гостей, к нему приезжающих, и действительность, всю, и мир, весь, и всё в этом мире — таким, как сложилось, как вышло. То есть, принимать всё — как дар. Порой приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. Совсем седой. Но — звучащий всесильной музыкой бытия, которое всюду, где бы ни был он, сквозь пространство и сквозь время идущий, — с ним.

Вот он машет рукой — издалёка. Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В инвалидном кресле. Но в пространстве — сквозь время — движется. Неизменно — сюда, ко мне. Из бывшего — навстречу грядущему. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье ночных созвездий. Крупный, крепкий, чернобородый, с сединой сизовой. Гена Бессарабский. Скульптор. И рядом — ангел. Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. Он доволен: гости пришли. Навестили его — в мастерской. А работа — пусть подождёт. Взгляд лучистых, добрейших глаз — из немислимых лет — на нас. И — на каждого. И — на всех. И — улыбка. И — взлёты рук. Вверх. И в стороны. И — навстречу. Всем он рад. Привечает — всех. Говорит — о высоком, важном. И для каждого, и для всех. Длинный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голоса молодые наши остаются надолго здесь. Даже, может быть, навсегда. Остаются — в памяти нашей. Превращаются в изваянья. Так он вылепил и меня, молодого, худого, стройного, вдохновенно стихи читающего, руки, словно в молитве, раскинувшего в обе стороны, с головою, запрокинутой в небеса, в трансе явном, в порыве, в полёте, но и здесь, в юдоли земной.

Было всех вас когда-то много, из бывшего, из круга СМОГа. Поредели друзей ряды. В небе — свет путевой звезды. Тишь да глушь над приморским кровом. Перемолвиться не с кем словом. И уходят в тексты слова. Да и память с ними — жива.

Шумит над вами жёлтая листва, друзья мои, — и порознь вы, и вместе, а всё-таки достаточно родства и таинства — для горести и чести. И празднества старинного черты, где радости нам выпало так много, с годами точно светом налиты, и верю я, что это вот — от Бога. Пред утренним туманом этажи нам брезжили в застойные години, — кто пил, как мы? — попробуй завяжи, когда не всё ли в общем-то едино!



Кто выжил — цел, — но сколько вас в земле, друзья мои, — и с кем ни говорю я, о вас — в толпе, в хандре, навеселе, в беспамьятстве оставленных — горюю. И ветер налетающий, застыв, приветствую пред осенью свинцовой, немолчаливый выстраивая мотив из лучших лет, приправленных перцовой. Отшельничать мне, други, не впервой — впотьмах полын в руках переминаю, седеющей качая головой, чтоб разом не сгустилась мгла ночная.

Что-то вроде пунктира. Наброски. Или, может, штрихи. Или краткие, из минувшей эпохи, истории. Или попросту — то, что вспомнилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло — говорю об этом. Благо время — в родстве со светом. И поэтому — в добрый час!

Вот и вышло — ушла эпоха тополиного пуха ночью, в час, когда на вершок от вздоха дышит лёгкое узорочье. Над столицей сень сквозная виснет маревом шелестящим — и, тревожась, я сам не знаю, где мы — в прошлом или в настоящем? Может, в будущем возвратятся эти шорохи и касанье ко всему, к чему обратятся, невесомое нависанье. Сеть ажурная, кружевная, что ты выловишь в мире этом, если дружишь ты, неземная, в давней темени с белым светом? Вспышка редкая сигаретки, да прохожего шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь ветки, да бездомницы выбор гордый. Хмель повыветрит на рассвете век — железный ли, жестяной ли, где-то буквами на газете люди сгрудятся — не за мной ли? Смотрит букою сад усталый, особняк промелькнёт ампириный, — пух сквозь время летит, пожалуй, повсеместный летит, всемирный. Вот и кончились приключения, ключик выпал, — теперь не к спеху вспоминать, — но влечёт мученье — тополиного пуха эхо.

Где в хмельном отрешении пристальны дальнорюкие сны, что служить возвышению призваны близорукой весны, в обнищанье дождя бесприютного, в искушенье пустом обещаньями времени смутного, в темноте за мостом, в предвкушении мига заветного, в коем — радость и весть, и петушьего крика победного — только странность и есть.

С фистулою пичужью, с присвистом, с хрипотцой у иных, с остроклювым взерошенным диспутом из гнездовой сплошных, с переключкою чуткою, цепкою, где никто не молчит, с круговою порукою крепкою, что растёт и звучит, с отворённою кем-нибудь рамою, с невозвратностью лет начинается главное самое — пробуждается свет.

Утешенья мне нынче дожидаться бы от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнава мне повидаться бы, оглядеться вокруг, приподняться бы, что ли, да ринуться в невозвратность и высь, встрепенуться и с места бы вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять на своём, насобачиться обходиться без слёз, но душа моя что-то аркачится — не к земле ль я прирос?

Поросло моё прошлое, братие, забытьём да былъём, и на битву не выведу рати я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-таки выстою в глухомани степной, словно предки с их верою чистою, вместе с речью родной, сберегу я родство своё кровное с тем, что здесь и везде, с правотою любви безусловною — при свече и звезде.

... Так вернусь к началу всего, что явилось мне в детстве, чтобы слышал я звучащие Вселенной, что раскрылось в грядущем, — к музыке.

В понедельник шёл снег, и во вторник шёл снег, и в среду шёл снег. Да, снег шёл в эти дни, — и в четверг было в округе белым-бело, и в морозном, звенящем не то колокольцами, пусть и незримыми, но зато хорошо различимыми там, в глубине синевато-молочной, в томашей дали, в поднебесной крутой высоте, не то электрически-резкими вспышками, торопливыми блёстками, искорками, прозрачном и чистом, вернее — опрятном, не будничном — праздничном воздухе, пронизанном чувством, единым для всех в это утро, и поэтому радостным, даже немного пьянящим, — обретения сказочной воли — стояли дымы и деревья, и под ними стояли дома, и стояли у каждого дома наметённые за ночь сугробы, и тянулись от скользких крылечек тропинки в глубоком снегу, разбегаясь на улице в разные стороны, соединяясь и опять ответвляясь, чтоб встретиться вновь за углом, и в садах прилетали к кормушкам пушистые птички, щёбеча о своём, и зима начиналась уже за окном, чтобы там продолжаться, где сердцу была она так бесконечно мила — то ли в тихих мечтах, то ли в снах, то ли в детстве моём.

Нет конца и начала мечтам, да и снам, да и детству — моему, разумеется, лично-му, кровному, — это уж точно, потому что мечты в нём и сны заодно с той поистине дивной, распахнутой настезь для зренья и слуха, для сердца, для чистой души, нескончаемой новью и явью, что всегда приходила сама, каждый раз открываясь какою-то свежую гранью, небывалым доселе наплывом любви и тепла, изумленьем, а там и познанем, ясным опытом, знаком из будущих лет, за которыми — свет, до которых непросто сейчас дотянуться, да и надо ли? — то-то и так хорошо мне дышать в драгоценном былом, где зима за окном, где огонь полыхает в печи, где светло в нашем доме, и никто никогда не посмеет нарушить всего, что в единстве своём называется просто — гнездом, называется — кровом, называется — счастьем, да, именно так, потому что истоки — вот здесь: черепичная кровля, белёные стены, двор, сад, небосвод над заречным густым чернозёмом в снегу, ветви, лозы, стволы бесконечных растений, движение зимнего дня прямо в бездну пространства, где время — всего лишь условность, имя, прозвище, обозначенье чего-то такого, которого вдосталь хватает для всех — даже, может, с избытком его — ну куда его нынче девать? — вот и плещется там, за стеной, за оконным стеклом, разливается вдоль, далеко по степям, поднимается ввысь, приближается валко, подходит вплотную, обдаёт ветерком, залетевшим из форточки, вкось убегает, чтоб сразу вернуться ко мне и остаться со мной навсегда — в детстве, в тайнстве, в празднестве, в мире, в кругу постиженья вселенной огромном, — в том раю, где я рос, — и отнюдь не в грядущем бездомном.

Не было, что ли? Было! Было — ещё и как! Так было, что — вот оно, рядом. И не думало уходить. Наоборот — осталось. Навсегда. На потом. На сейчас. То есть — попросту живо. Дышит. Продлевается — сквозь пространство. Ну а время — давно с ним в родстве. Существует. Выжило. Длится. Постоянно напоминает — о себе. Но в нём-то я весь. До сих пор. С той поры. Доныне. И, надеюсь, — на весь мой век. Просто — знаю. И — твёрдо верю. И люблю. Потому что — так, только так — и никак иначе можно жить. Говорить. Творить. Да, творить. Ибо жив я — в речи. В той стихии, чей свет храню. В той материи, что в единстве со вселенной. Как, впрочем, и время. Потому что из детства — всё: и судьба моя, и писания, и характер, и даже самое сокровенное, дорогое. От рождения. От земли, на которой я вырос. От почвы, на которой возрос мой дух. И покуда я жив, покуда говорю я, покуда слово наполняется смыслом, знаю: да, со мной она, родина речи. Здесь. В душе. И, конечно, в сердце. В каждом дне — и мгновенье каждом. Здесь. Но всё-таки — и повсюду, где бы ни был я. Всё равно не расстанусь я с ней. Так надо. Так — достойнее жить. Светлее. Так — привычнее мне. Покоя, да и воли — не занимать, если родина — прежде боли, выше славы и глубже тайны. Это — память. И это — песня. Это — музыка. Это — явь. Это — правь. Это — древность наша. Почитание предков. Сила, что питает меня. И верность той традиции, что одна справедлива и непреложна в мире нынешнем, в годы смуты, у истоков нового века, на заре счастливых времён и каких-то иных знамён, где в слиянье людских племён грустный отсвет наших имён отразится, быть может, в чём-то, что иметь отношенье будет и к духовности, и к искусству, где, конечно же, прозвучит светлый отзвук того, что было нами создано — или, может, всё же музыка разрастётся, — да, конечно, — быть по сему, — только музыка, только с нею мы останемся, — я останусь, — как и родина речи — там-то всё когда-то и началось, — не случайно над нею снова край спасительного покрова прозреваю — и крепнет слово — и сияние поднялось.

2012 г.



Александр ЧЕХ

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ: ГРАНИ ПОЭЗИИ, ИЛИ РЕВНОСТЬ МУЗ

Настоящий мастер всегда образован. Скажем, кажущаяся площадность Высоцкого обманна — он читал и читал Бальмонта, Цветаеву и современных мастеров.

А. Вознесенский

Удивительное дело, слово «феномен» в связи с жизнью и творчеством Владимира Высоцкого возникает очень часто, но встретить какие-либо основательно аргументированные точки зрения на это явление трудно: их практически нет¹. Высоцкий был и поныне остаётся феноменом; о нём говорят и пишут с крайней субъективностью, с острой пристрастностью. И это как нельзя лучше свидетельствует, что как явление культуры сделанное им несколько не потеряло актуальности, хотя за прошедшие после его смерти тридцать лет изменилось многое: развалилась страна, в которой он жил, разобшился советский народ, для которого он пел и играл, канули в лету неисчислимые поэты-современники и реалии его песен, выросло не заставшее его поколение...

Вдобавок, как считал А. Ф. Лосев, «за последние сто лет художественно образованная публика интересуется искусством не просто как отражением жизни, хотя бы и

очень глубоким, а больше интересуется рефлексией над самим искусством...» [1]. Поэтому гораздо охотнее говорят и пишут о том, кем был и что значил «Володя» в чьей-то жизни — тогда как сделанное им обсуждается во вторую очередь.

Замечательная формулировка, прозвучавшая на воронежской конференции 2011 г.: «последний общенациональный поэт» — задаёт главный вектор осмысления роли Высоцкого в советской культуре, но, в свою очередь, ставит немало вопросов.

Задача этого доклада² — ответить на некоторые из них, не претендуя на установление каких-либо окончательных истин. Замечу, что я не принадлежу к высококоведам или горячим поклонникам творчества поэта и заранее готов признать свою недостаточную осведомлённость. Однако же и в моём окружении — семейном, университетском, профессиональном — всегда были люди, по-настоящему любившие Высоцкого, да и сам я назову десяток-другой его песен, которые слушаю снова и снова. А в удалённости моей точки зрения заключено и некое преимущество: со стороны порой возможно заметить нечто такое, чего «лицом к лицу не увидеть...»

Итак, что по существу представляет собой феномен Высоцкого? Действительно ли

¹ И это притом, что по Высоцкому защищается немало диссертаций — в разных странах и на разных языках! Здесь, впрочем, сказывается известный парадокс Бернарда Шоу: «Узкий специалист узнает всё больше о всё меньшем и так до тех пор, пока не будет знать всё ни о чём и ничего обо всём». Литературоведы и культурологи исследуют отдельные сектора в общей раме, охватывающей жизнь и творчество поэта, и устанавливают достоверные сведения о многих частностях — но избегают как ненаучных развёрнутых суждений о картине в целом. Среди отрядных исключений можно назвать книги В. И. Новикова (в том числе [2]), обстоятельную работу Ю. В. Шатина [3] и некоторые другие.

² Доклад был прочитан на Межрегиональной научно-практической конференции «Владимир Высоцкий. Точка отсчёта — Сибирь» (Новосибирск, 26—27 января 2013 г.).

он занимает особое место в народном сознании и поздней советской и постсоветской культуре, а если так, то чем оно характеризуется? В чём причина его сохраняющейся актуальности — несмотря на то, что любой моде, любым всплескам популярности давно бы пора сойти на нет?

О поэте и поэзии. Говоря о Высоцком как о поэте *par excellence*, сразу же натыкаешься на явное возражение: не был ли он поэтом в некоем переносном смысле? Книг и журнальных публикаций у него при жизни не было, и известен он был исключительно как автор и исполнитель собственных песен...

Тексты песен — это, конечно, стихи, но всё же особенные стихи, предназначенные для жизни в звуке, а не на бумаге. Могут ли они быть вполне стихами, если даже песни Владимира Семёновича в ином исполнении значительно теряют?

Конечно, за счёт песенной природы в них раскрывается поистине стиховедческое раздолье! Даже не производя подсчётов, можно не сомневаться, что текстами Высоцкого легко заполнить 9/10 антологии тем, метров и приёмов русской поэзии XX в. Разговорная свобода интонаций, поразительная пластичность и психологическая насыщенность слов, исходящих из уст самых разных персонажей — всё это требует для своего воплощения огромного поэтического арсенала.

Здесь скептически настроенный читатель скажет: это всё-таки форма, фактор в поэзии первостепенный, но не решающий. А сущность — что можно утверждать о ней?

Но осознание сущности поэзии сегодня затруднено одной прочно утвердившейся иллюзией. Мы привыкли считать поэзию частью не просто литературы — но именно книжной, печатной культуры.

А это вовсе не так — причём именно по существу.

Сошлюсь на фундаментальный труд по философской культурологии: четырёхтомные «Лекции по эстетике» Г. В. Ф. Гегеля [4, 5]³. Длинные цитаты, приводимые ниже, оправданы удивительно точным соответствием гегелевского дискурса предмету обсуждения.

³ Как известно, чтение Гегеля — нелёгкое дело; его стремление высказываться как можно точнее и как можно полнее нередко приводит к достаточно сложным словесным конструкциям. Я буду цитировать перевод П. С. Попова [4] или А. М. Михайлова [5] — в зависимости от того, где удачнее выражена нужная мысль.

Говоря о специфике поэтического выражения, Гегель пишет: «Но это выражение чувственно воплощается не в дереве, камне и краске, а только в языке, — его стихотворная форма, ударение и т. д. становится как бы жеста́ми речи, при помощи которых духовное содержание получает внешнее существование. Если мы теперь спросим, где нам искать <...> материальное существование этого способа выражения, то речь не является чем-то независимым от художественного субъекта, <...> сам живой человек, говорящий индивид есть единственный носитель чувственной наличности и действительности поэтического произведения. Поэтические произведения должны произноситься, должны петься, декламироваться, воспроизводиться самими живыми субъектами подобно музыкальным произведениям. Правда, мы привыкли читать эпические и лирические стихи, только драматические произведения мы обычно слушаем и созерцаем в сопровождении жестов, но по своему понятию поэзия есть нечто по существу звуковое, и это звучание не должно отсутствовать, если поэзии надлежит выступить вполне в виде искусства...» ([4], с. 223, 224).

Немного перекомпоновав слова, но не смысл гегелевской тирады, получим: если поэзии надлежит выступить вполне в виде искусства, то поэтические произведения должны петься!

Согласитесь, в этом освещении проблема идентификации творчества В. С. Высоцкого выглядит совершенно иначе. Первейший вывод, который приходится сделать после чтения Гегеля, таков: это поэт в самом точном и узком смысле слова. Даже много лет уязвлявшее его самого не-печатание (с одним, кажется, исключением) с этой точки зрения оказывается своеобразной услугой советской цензуры. Выдавливая поэта в звуковую форму бытования, она невольно возвращала ему изначальную истину поэтического бытия.

Чем, как не иллюзией, обусловлена советская тяга к печатной форме слова? Мнимым приобщением к вечности — или по меньшей мере долговечности. Не сегодня, не завтра — но когда-нибудь, в веках, будет оценено поэтическое сокровище, запрятанное в многолетних наслоениях библиотечных полок. Для Цветаевой эта надежда оправдалась, «драгоценным вином» её опубликованных и «разбросанных в пыли по магазинам» стихов действительно «настал свой черёд». А для десятков и сотен тонн рифмованной макулатуры, без единого читательского запроса отлежавшей на библиотечных полках

положенный срок и «в свой черёд» отправившейся на переработку?!

Эфемерность магнитофонных плёнок (о грамзаписях поговорим чуть позже) оказалась несравненно надёжнее книжных залежей, что и немудрено: в этом сказалось не только качество поэзии Высоцкого, но и её близость к первоисточкам — к выражению в форме песни, т. е. к лирике в буквальном — не академическом — смысле слова.

Не-лирик. Здесь нетрудно предугадать другое возражение скептика. Действительно, что ни говори, а в поэзии мы ищем и любим в первую очередь лирику. Совсем не считая поэзию и лирику синонимами, мы всё же при упоминании первой думаем преимущественно о второй. Но попробуйте назвать Владимира Высоцкого великим лириком — и, возможно, почувствуете лёгкую запинку.

Припомним и сравнительная⁴ бледность его песен о любви. И то, что переход из лиризма в буквальном смысле (т. е. пения под гитару) в формат эстрадной песни (точнее, исполнения тех же песен в сопровождении ансамбля «Мелодия» и других оркестров) часто явно усиливает впечатление — невзирая на то, что автор много раз настаивал на противоположном: по его мнению, решающим условием восприятия песен была высоко ценившаяся им атмосфера гитарного концерта [6]. Легко представить, что обратная связь с публикой очень стимулировала его как исполнителя и приносила огромное удовлетворение, а условия студийной записи не позволяли достигнуть подобной отдачи.

На мой сторонний взгляд, грамзаписи с ансамблем «Мелодия» и издание их огромными тиражами были ещё одной услугой со стороны советских худсоветов — услугой небезболезненной, но несомненной. Высоцкий как певец здесь на исключительной высоте; сами песни за счёт качественной гармонизации и аранжировки достигают максимума выразительности; музыканты выкладываются полностью, отлично понимая значение происходящего. Наконец, отбирались для записи вещи из самого бесспорного и художественно состоятельного, будь то песни о горах или о войне, юмористические или экзистенциальные. А ведь именно эти грамзаписи, как и фильмы, становились до-

⁴ Подчёркиваю: сравнительная. Риску настаивать, что многие другие темы выражены Высоцким мощнее и ярче. Песни-признания, песни-исповеди у него наперечёт, а любовь обычно возникает как тема второго плана, т. е. как драматизирующее обстоятельство.

стоянием миллионов, никогда не бывавших ни на концертах Высоцкого, ни на спектаклях с его участием.

Наконец, самое главное. Большинство его песен просто не лирично.

Гегель характеризует лирику так: «Её содержание составляет субъективность, внутренний мир, созерцающая, чувствующая душа — вместо того, чтобы обращаться к действиям, она скорее останавливается на себе как на внутренней стихии, поэтому то, как субъект высказывается, является единственной формой и последней целью лирики» ([4], с. 225). Таких песен у Высоцкого совсем не много. В остальных присутствует иллюзия лиризма, точнее, лиризм привносится в них его неповторимым голосом. Снова сошлюсь на Гегеля: «...Певец должен раскрывать представления и рассуждения лирических художественных произведений как субъективную полноту самого себя, как нечто лично им пережитое. И так как внутренняя сфера должна одухотворить декламацию, то выражение её преимущественно будет определяться — отчасти добровольно, отчасти по необходимости — музыкальной стороной и сделает неизбежными разнообразные модуляции голоса, пение, аккомпанемент инструментов и т. п.» (Там же).

Вот эта «субъективная полнота самого себя», впечатление «лично им пережитого» придаёт лирическую окраску совершенно иным по существу произведениям. Но если не лирика, то — что?

Вне-лирик. Не вызывает сомнения экстравертивная установка текстов Высоцкого. Почти всегда они нацелены не на раскрытие внутреннего переживания — а на рассказ, событие, поступок, подвиг. По всей видимости, автор стремился так подать ситуацию, чтобы чувства героя были самоочевидны; а что не удавалось передать средствами текста, то досказывал голос. Песни Высоцкого — почти всегда драмы. Даже его стартовая точка, «дворовая» тема, легко объясняется полусознанной тягой к драматизации: герой выпадает за рамки социальных регламентов и законов и вынужден принимать решения о жизни и смерти на свой страх и риск⁵.

⁵ В многочисленных интервью В. С. Высоцкий объясняет присутствие этой темы другими причинами: данью времени, потребностью в простом общении с людьми и др. [6] — на мой взгляд, не слишком убедительными. Но к названному стоит добавить и то существеннейшее обстоятельство, что в конце 50-х не так много было людей, у которых среди заключённых не было родных или близких, не говоря уж о тех, кто сам лишился свободы.

Воплотившая собой идеал народного пения Лидия Андреевна Русланова говорила: «Песню я не пою, я её играю. Это целая пьеса с несколькими ролями». А что уж говорить о Владимире Высоцком! Его актёрский дар проявлял себя в сочинении и исполнении этих песен-пьес не в меньшей степени, чем на сцене или перед камерой.

Гегель в своей характеристике драматической поэзии словно бы пишет именно о нём: «Нам предстают как объективное развёртывание, так и его истоки в глубинах души индивида, так что теперь всё объективное представляется принадлежащим субъекту и, наоборот, всё субъективное созерцается, с одной стороны, в своём переходе к реальному выявлению, а с другой стороны, в той участи, к которой как к необходимому результату своих деяний приводит страсть. Здесь, как и в эпосе, перед нами широко развёрнуто действие с его борьбой и исходом, духовные силы выражают себя и оспаривают друг друга, входит запутывающий дело случай, и человеческая активность соотносится с воздействием всё определяющего рока» ([5], с. 419).

Всё творчество Высоцкого насквозь драматично: и песни-комедии, и песни-трагедии, и даже песни-исповеди. На одном из концертов он говорил: «Я стараюсь для своих песен выбирать персонажей, которые рискуют, у которых что-то произошло, которые в каждую следующую секунду могут взглянуть в лицо смерти, — т. е. таких, которые нервничают, беспокоятся... Даже для шуточных своих песен я выбираю персонажей, у которых что-то вот-вот случится» (цит. по [7]).

Однако только драмой дело не ограничивается. Возникшее у Гегеля сопоставление с эпосом, конечно же, не случайно.

Эпос. Он даёт себя знать, если ввести в рассмотрение ещё один фактор: общий объём этих песен-драм, количественный фактор, который вполне по-гегелевски создаёт новое качество. Численные оценки песенного и стихотворного наследия поэта колеблются на впечатляющей отметке «около восьмисот», и в совокупности труднообозримого обилия героев и тем всё оно складывается в эпос жизни советского народа второй половины XX века. Поистине, у Высоцкого «поэзия доводит до внутреннего представления развёрнутую целостность духовного мира в форме внешней реальности, тем самым повторяя внутри себя принцип изобразительного искусства, делающего наглядной саму предметную сторону <...>. Эти

пластические образы представления раскрываются поэзией как определённые действиями людей и богов, так что всё совершающееся или исходит от нравственно самостоятельных божественных и человеческих сил, или же испытывает сопротивление со стороны внешних препятствий и в своём внешнем способе явления становится событием, в котором суть дела раскрывается сама по себе, а поэт отступает на второй план. Придавать завершение таким событиям есть задача эпической поэзии, поскольку она поэтически повествует о каком-либо целостном в себе действии, а также о характерах, которыми порождается это действие в своём субстанциональном достоинстве или же в фантастическом сплетении с внешними случайностями» ([5], с. 419). Заменяв «богов» на «судьбу», а «божественные силы» на «судьбоносные», мы получим вполне убедительную характеристику творчества В. С. Высоцкого в целом.

Завяжем в связи с этой цитатой узелок на память: «суть дела раскрывается сама по себе, а поэт отступает на второй план» — казалось бы, это мало подходит к обсуждаемому, но, возможно, даёт ключ к одной из загадок, к которой я попробую вернуться в конце статьи.

Как поэмы А. Т. Твардовского составляют эпос военного времени, включая до- и послевоенное, так и песни Владимира Высоцкого дают энциклопедический срез народной жизни в «безвременье» 60-х и 70-х. Огромный объём запечатлённых им типов, ситуаций, конкретных реалий и общих черт принимает именно эпический характер. Работая над стихами при включённом телевизоре, поэт избегал столь характерного для «шестидесятников» публицистического уклона, быстро обесценившего их бумажную «вечность». То тут, то там в песнях можно расслышать отголоски политических событий — но лишь в той мере, в какой они оказываются фоном общенародного бытия и чьей-то личной судьбы.

Эта бытийность, поднимающаяся над событийностью, какой бы яркой та ни была, замечательно прозвучала в парадоксальном суждении Ларисы Анатольевны Лужиной, актрисы, снимавшейся вместе с Владимиром Семёновичем в «Вертикали»: главными героями картины стали песни Высоцкого. И это притом, что музыку к фильму написала С. А. Губайдулина!

Лирика. Наконец, нельзя не вернуться и к таким стихам, ради которых в руки берётся лира. Тем более что песни о горных вер-

Нельзя не признать, обе представляют собой существенные приметы становления автора. Но — не только В. С. Высоцкого!

Не раз цитировалось (обычно с негодованием — как это знакомо по Высоцкому!) такое стихотворение Бальмонта (1908):

**Ты хочешь убивать? Убей.
Но не трусливо, торопливо,
Не в односторонности мгновенного порыва,
Когда твой дух — слепых слепей.
Коль хочешь убивать, убей —
Как пишут музыку — красиво.**

От этой апологии убийства (справедливости ради отметим в ней явственный отголосок «Гамлета») поэт через десять лет пришёл к противоположному идеалу («Лишь с ней»):

**Кто хочет жертвы? Её несу я.
Кто хочет крови? Мою пролей...**

Поначалу не вызывал у Бальмонта чувства и Христос; ранний вариант одного из его сонетов⁸ заканчивался так:

**Люблю в мечте — изменчивость
убранства,
Мне нравятся толпы магометан,
Оргийность первых пыток христиан,**

**Весь дикий бред, весь ужас
христианства.
Люблю волну. И только сам Христос
Мне чужд, как влаге моря чужд утёс.**

Зато позже, в стихотворении «Один из итогов», он писал:

**Моя заманчивая доля —
Быть вольным даже и в цепях.
О да, я воля, воля, воля.
Я жизнь, я смерть, я страсть, я страх.**

**Мое певучее витийство —
Не только блеск созвучных сил.
Раз захочу, свершу убийство,
Быть может, я уже убил.**

**Но в должный миг припоминанье
Пронзит внезапно темноту.
И приведёт меня скитанье
К весеннеликому Христу...**

И когда Россия была утрачена окончательно, православие и «простые слова: Христос с тобою!» стали неотъемлемыми приметами Родины. А Христос стал тем, кто «вечно нас ведёт к весне».

С годами ницшеанские «ослепления» Бальмонта, как и «мачизм» молодого Высоцкого, отходили всё дальше...

⁸ Он был опубликован с цензурными отточиями и потому впоследствии был изменён автором (редчайший для него случай!).

В заключение остаётся высказать гипотезу, прямо вытекающую из всего прозвучавшего.

Обращение к Гегелю, основателю феноменологического метода, для освещения феномена В. С. Высоцкого — идея вполне естественная, как естественно и то, что это многое прояснило — по крайней мере для автора этих строк. Заимствуя термин более поздней эпохи, можно утверждать, что Высоцкий оказался самым полным проявлением архетипа поэта в послевоенное время — или, по его собственному выражению, «безвременья». Остаётся гадать, почему он не нашёл достойного лирического героя в те десятилетия, когда, что ни говори, человеку ещё было где и в чём проявить себя; почему только темы гор, войны и отдалённой истории пробуждают в нём рапсоду, а окружающая действительность — в основном, сатирика.

Но тем его современникам, которые в героях не знали недостатка, время вынесло приговор — суровый, но справедливый; пожалуй, его уже можно считать окончательным. А тот, кого они самонадеянно сочли «меньшим братом»⁹, за эти же десятилетия перешёл из авторской песни — так сказать, художественной самодеятельности — в большую литературу, по праву заняв место «последнего общенационального поэта». Какой ценой он заплатил за это право, хорошо известно. Но, прочитав даже часть статей, очерков, интервью, нельзя не задаться вопросом: в чём, собственно, был корень его личной трагедии? Что составляло груз, сделавший неизбежным его внутренний надлом? Ведь его никак не назовёшь человеком обделённым — совсем наоборот, у него было всё, чего только мог пожелать советский человек, и много больше! Что мешало ему — с захватывающей работой, с выдающимися друзьями, с поистине всенародной славой и любовью — быть счастливым?

Вернёмся к Гегелю — и Вознесенскому, как ни странно это сочетание само по себе.

Человек, наделённый лирическим даром вместе с даром драматическим, точнее, актёрским, — как он распоряжается этим двойным бременем? Он пишет песни, в которых отражается жизнь множества людей. Он разыгрывает в этих песнях их горести и радости, драмы и фарсы. И, в итоге, всё по Гегелю: «Суть дела раскрывается сама по себе, а поэт отступает на второй план». Актёрский дар проявляет себя в полном блеске, а гораздо более тонкий и уязвимый лирический оказывается, в лучшем случае, на втором плане.

⁹ Выражение всё того же А. А. Вознесенского.

Но, по свидетельству Вознесенского, лирический идеал Бальмонта и Цветаевой был ему известен и, несомненно, занимал его всерьёз. Но лирик свободен в себе:

**Моя заманчивая доля —
Быть вольным даже и в цепях.
О, да, я воля, воля, воля.
Я жизнь, я смерть, я страсть, я страх.**

Актёр — отнюдь. Сошлюсь ещё раз на Л. А. Лужину, которая вспоминала, как жадно расспрашивал Высоцкий людей редких профессий об особенностях их труда. Конечно, многое из этих расспросов позже использовалось на сцене и в песнях, более того, определяло ту художественную достоверность его образов, которая и дорога нам сегодня. Но... приносило ли это ему самому настоящее, полное, самодовлеющее удовлетворение? Не чувствовал ли он, давая жизнь неисчислимым персонажам, что они оттесняют от микрофона его самого?

А ведь это нешуточная драма... С горькой усмешкой Владимир Семёнович напишет однажды¹⁰:

**Впрочем, я написал-то иначе,
Чем хотел. Что ж, ведь я — не поэт.**

Не будем принимать за чистую монету эту автохарактеристику — но учтём то, что к ней подтолкнуло. Или, как схожую мысль сформулировал Владимир Соколов,

**Быть единственным —
а написать
Совершенно другого поэта...**

Как решил Высоцкий для себя лично первый гамлетовский вопрос: быть или не быть? — очевидно. Но второй гамлетовский вопрос в его случае ничуть не менее мучителен:

Что он Гекубе? Что ему Гекуба?

Актёрский темперамент и артистический дар заставляли его «рыдать над Гекубой» — а себя самого отодвигать на второй план...

Как знать, не этот ли разлом снаedal поэта изнутри?

Не пал ли он жертвой ревности Муз?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лосев А. Ф. Модернизм и современные ему течения // Контекст-1990. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1990.
2. Новиков В. И. В Союзе писателей не состоял: Писатель Владимир Высоцкий. — М.: Интерпринт, 1991.
3. Шатин Ю. В. Поэтическая система Высоцкого // Купола. Литературно-художественный альманах. — 2006. — № 1. — С. 207—216.
4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. Книга третья // Сочинения в 14 тт. — М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958. — Том XIV.
5. Гегель Г. В. Ф. Эстетика в 4 тт. — М.: Искусство, 1971. — Т. 3. — С. 623.
6. Высоцкий В. С. На Большом Каретном: Стихи и песни с нотным приложением. Сост. Р. Шипов. — М.: Локид-Пресс. — 2003. — С. 415.
7. Орловский С. П. Бардовский счёт Владимира Высоцкого // Relga. Научно-культурологический журнал. — 2012. — №1 [239].



¹⁰ «День на редкость — тепло и не тает...»

ПАМЯТИ БОРИСА КЛИМЫЧЕВА

Еще не так давно, в июне 2010 г., отмечалось 80-летие Бориса Николаевича Климычева, и вот уже приходится писать о его кончине. О том, что больше уже не увидим его феерических романов и непринужденных стихов, о том, что это был писатель неповторимого своеобразия, своей, неподдельной интонации, писатель подлинно сибирский, родившийся в самом, может быть, сибирском городе — Томске.

Судьба будущего писателя складывалась нелегко. После гибели отца на фронте в 1943 г. он, подросток, работает на заводе, затем в геологоразведке. Армейская служба забросила его в Туркмению, где он прожил целых десять лет, учился в университете и начал работать журналистом. После возвращения на родину продолжил писать в малотиражных районных газетах. Журналистика, конечно, воспитывала и бойкость пера, и лаконичность слога, расширяла кругозор и знание реальной жизни, но без увлечения поэзией Климычев не стал бы тем оригинальным прозаиком, которого мы знаем.

Поэзия стала для Климычева делом душевным и, как он считал тогда, единственным главным. Первый сборник стихов «Красные тюльпаны» (1958) вышел еще в Ашхабаде, а в «Сибирских огнях» в 1961 г. — появилась подборка его стихов. Дебют совпал с космическим дебютом Юрия Гагарина; это станет хорошим знаком для начала долгого, более чем 50-летнего сотрудничества Климычева с нашим журналом. В 1977 г. в Новосибирске выйдет, хотя и с большим опозданием, его первая книга «Тихий свет»: «тихая» таежная лирика, миниатюры с эпическим замахом, заметки корреспондента, дневниковые исповеди. Известный поэт Н. Старшинов писал, что «наивысшее достоинство» стихов Климычева в том «внутреннем свете, который они несут читателю», несмотря на то, что автор — человек, хлебнувший горя в детстве». В предисловии к первой московской книге «В час зари» (1980) он был назван «сложившимся интересным поэтом».

В 80-е годы у Климычева-поэта выйдут еще шесть книг, но в эти же годы родится и Климычев-прозаик, которого ждет большое будущее. В 1981 г. в Новосибирске выйдет книга «Часы деревянные с боем». «Повесть для среднего школьного возраста», как значилось в аннотации, потенциально была совсем не детской. Это почувствовал земляк писателя Э. Бурмакин, предположивший в рецензии на книгу, что у Климычева «остался в запасе немалый жизненный материал». Соединив этот «материал», свою «историю» с историей отечественной и сибирской, Климычев и напишет, начиная с 90-х годов, целую серию романов особого жанра — авантюрно-исторических, многоплановых и многогеройных, чем-то неуловимо перекликающихся с томскими, автобиографическими. Их можно найти в журнале «Сибирские огни»: в начале 2000-х подряд опубликованы романы «Кавалер Девильнев», о томском градоначальнике XVIII века, и «Надену я черную шляпу...», о писателе с говорящей фамилией «Глебычев», чуть позже — «Прощаль», о Томске начала XX в.

Именно в них — а были еще «Любовь и гнев вора Подреза», «Странные приключения скромного томича», «Томские тайны» («Корона скифа») — рождается тот неповторимый климычевский стиль, который делает его романы грандиозными авантюрами в старинном (фольклорном или даже средневековом) значении слова. В этих романах писатель собирает дружный ансамбль персонажей, порой весьма причудливых, вроде «синьора Бо-Бо», поющего в автобусах арии из опер («Надену я...») или Аркашки Папафилова, вора по рождению и убеждению; в одном романном пространстве — купцы и университетские профессора, Г. Потанин и Вяч. Шишков («Прощаль»). В самодвижущемся механизме этих романов много деталей — подробностей из быта эпохи, жизни людей больших и малых, но в них не тонешь. Потому что все тут работает слаженно и бесперебойно, перипетии увлекают и завораживают.

Не всем, однако, по нраву пришелся этот завораживающий авантюризм романов Климычева. Писали, что он «героизирует авантюристов, людей без чести и совести», что его главный герой — «никакой человек, маргинал», а идеологией таких романов является отсутствие «границ между забавным и отталкивающим, между исторической явью и фантазией», «неуважительное отношение к истории, характерное для эпохи постмодерна». С этой, «традиционалистской», консервативной точки зрения Климычев, конечно, весьма уязвим. Но чего у него не отнять, так это мощной энергетики, динамичности повествования, где положительное и отрицательное, плохое и хорошее слиты так нераздельно, как это бывает только в жизни. Как в сибирской литературе вообще, которую подчас действительно трудно понять, втиснув в «направленческие» рамки реализма, постмодернизма, «грубого натурализма» или утопизма. Еще в 20-е гг. лучший критик эпохи А. Воронский, прочитав прозу одного сибиряка, удивлялся: «Не пойму, что это у вас такое — реализм не реализм... не пойму...». Да и милые сердцу томских «традиционалистов» Г. Гребенщиков или Вяч. Шишков тоже ведь не без греха: первый, можно сказать, героизировал разбойника в своей поэме в прозе «Былина о Микуле Буяновиче», второй — «красного бандита» Рогова в «Ватаге». Может быть, поэтому у Климычева появился роман «Поцелуй Даздрапермы» (2007), словно в укор землякам: главный его герой писатель Мамичев, руководитель лит. кружка, учит людей поэзии как «науке любви», а не вражды или предвзятости. Не так ли и М. Булгаков отнесся к Москве в своем «Мастере и Маргарите», насылая на нее погромщиков, но и воспевая ее? У Климычева тоже есть свои Воланды (например, князь Загорский из «Прощали»), Берлиозы (Лука Балдонин или Иван Осотов из «Даздрапермы»), Иваны Бездомные (Глебычев из «Надену я...»). Томск ведь тоже город тайн и легенд, а Климычев — плоть от плоти своего таинственного города, человек и писатель, остающийся, может быть, до конца неразгаданным и непрочитанным. Как и его герои: они всегда на грани преступления и подвига, они криминальны и героичны, жадны до жизни, не домоседы, а скитальцы, бродяги, все без исключения нужные и интересные автору. Не зря творческим кредо Климычева являются слова: «Каждый человек есть личность необычайная...»

«Сибирские огни» внесли свою лепту в разгадку творчества Бориса Климычева, выдвинув его роман в рассказах «Треугольное

письмо» на соискание престижной лит. премии им. Л. Толстого «Ясная поляна». Высокое жюри премии хоть и не присудило писателю первое место, но отметило его дипломом и признало «несомненные художественные достоинства романа и неповторимый авторский стиль». Климычев, не раз сетовавший на столичное невнимание к его прозе, был, наконец, удовлетворен: «Очень приятно, что меня заметили на таком высоком уровне», — сказал он в одном из интервью.

О Климычеве теперь, увы, по такому печальному поводу, не раз вспомнят, перечисляя вехи его биографии и книги, должности и достижения, награды и звания: с 1996 по 2006 — председатель Томской писательской организации, с июля 2001 г. — почетный гражданин Томска, награжден знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», лауреат областной премии «Мой край родной», единственный из томских поэтов, опубликованный в известной антологии «Русская поэзия XX века» (М., 1999), руководитель с тридцатилетним стажем городского лит. объединения «Родник» и одноименной детской лит. студии... И десятки, может быть, сотни публикаций в журналах России и Сибири — «Юность», «Смена», «Огонек», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Сибирские Афины», «Алтай», «День и ночь», — в альманахах, сборниках, газетах. С «Сибирскими огнями» Климычев не расстался до последних месяцев своей жизни, успев опубликовать в № 8, 2013 главы из нового романа «Мраморная женщина».

Но есть у Бориса Климычева и своя анкета. Вернее, «Анкеты» — стихотворение 1982 года, одно из самых личных, душевных, «программных» стихотворений поэта, открывающее поэтический сборник 2005 г. «Есть ли в Томске медведи?». Оно вне времени и тления, такое, каким Борис Николаевич Климычев нам и запомнится: «Заполняя длинные анкеты, / Не лауреат различных премий, / Я, не избравшийся в советы, / Вспомнил, сколько в жизни было терний. / Вот вопросы: был ли за границей, / Знаю ль языки, имею ль степеня. / Помню, как мороз в Усть-Куте злится, / Как пылают в Казахстане степи. / Много по России пота, крови / Пролил на работах я различных. / Малость понимаю по-коровьи, / Научился понимать по-птичьи. // Воду пил из бочажка, из бочки, / Ночевал по старым баням летом, / В землю я вписал посевов строчки, / Вот анкеты были, так анкеты!.. / Знал добро, и подлость, и наветы. / Шить, варить, стирать и печь умею. / Но пишу покорно я в анкеты: / “Не был, не владею, не имею...”».

СВИТОК МГНОВЕНИЙ, АНАФОРЫ МАГИЯ

Дугаров Б. С. Азийский аллюр. Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2013.

Странно ли, что традиция анафорического стиха зародилась именно в монгольской Азии, на родине Чингисхана? Читая эту небольшую книгу бурятского поэта Баира Дугарова, думаешь, что не только не странно, но и вполне закономерно. Завоеватель мира, положивший начало понятию «Евразия» — прообразу всемирного, глобально-го единства народов, стран, континентов, именно он, Чингисхан, а точнее, чингисова эпоха родила ту «поэтическую традицию, не только устную, фольклорную, но и письменную, которая идет от “Сокровенного сказания монголов” (1240) до наших дней», — пишет Б. Дугаров во вступлении к книге.

В «Азийском аллюре» он, подобно великому монголу, словно заново завоевывает пространства, земные и небесные, ссылаясь на магию анафоры. Которая не просто прием стихосложения, «словесная прихоть», не только «самобытный принцип звуковой организации стиха», а «этнокультурное духовное кредо кочевников Центральной Азии». И, наконец, поскольку Б. Дугаров прежде всего поэт, анафора для него самый глубокий, какой только может быть, вдох, за которым следует выдох, т. е. такое же по мощи стихотворение — «на весь простор», «на всю долготу выдоха». Так делал национальный сказитель, чтобы «начать свой эпический речитатив», долгий рассказ о богах, духах, героях, реках и горах, обо всем мироздании древнего, но отнюдь не канувшего в Лету великого прошлого.

Однако эпос как таковой (раздел «Степные саги») мы находим почти в самом конце книги. Начинается же она с «Протяжных гимнов», где Б. Дугаров совершает кругосветное поэтическое путешествие от гомеровской Трои до Шамбалы, минув по пути та-

кие страны, как Грузия, Латвия, Америка, слагая гимны «крышам Парижа» и «колоколам Кёльна». Тут-то и видишь, что анафора у Б. Дугарова — понятие настолько же азиатское, насколько и европейское, принадлежащее звуковому символизму, а по Б. Томашевскому, «качественной звонии» — «благозвучию» и «выразительности» речи. Т. е. когда анафора является приемом «скрепы» соседствующих строк, плюс звукообраз. Ибо анафоричность каждой строки в том же «Кёльне» отражает звукообразные впечатления поэта, исходящие от звучащего названия этого города: «Клекот времен...», «колоколов перезвон...», «кони небесные скачут...», «клики гуннов...», «к лику святых...», «кленов опавшие листья...» и, наконец, «кёльш — хмелящий напиток забвенья...». То же и в «Латвии»: «лад» — «лавы (воителей)» — «латы» — «ласково» — «ластиться» — «Лайма (богиня счастья)» — «Лачплесис (эпический герой)». Так же и в «Грузии», строящейся на повторах гортанного «гр-».

Столь ли уж далек этот прием, — ибо касается он уже неазиатских пространств, — от рифмы, которую буквально ненавидят приверженцы анафоры, как земляк Б. Дугарова А. Улзытуев? В своем манифесте в честь по-азийски понятой анафоры он пишет: «конечная рифма ради акустики, ради игры созвучий» «зачастую низводит... идею стиха до смыслового эрзаца», «искусственно “дорращивает” эмоцию или мысль, а стихотворца превращает в “наперсточника”» (Новый мир, № 7, 2013). Оправдан ли такой пафос? И ведь действительно оправдан, если исходить из особого восприятия анафористом мира, сущего и не-сущего в нем, близкого и дальнего, в каком-то изначальном единстве, не подверженном течению времени, неочевидном и неявном. А главное, в этом уверен сам поэт, и потому для него «колокола», «кони», «клены», «кёльш» — понятия одного рода, складывающиеся в мозаику целого. Древнее, минувшее при этом неотличимо от современного, и поэт слышит «клекот вре-

Иногда так и хочется сказать, что анафора все же сковывает поэта, и он использует весь свой дар и поэтический опыт, чтобы сделать ее, в отличие от менее артистичного и более догматичного А. Улзытуева, более универсальной и оригинальной. Как это происходит, когда созвучие слов в начале строк превращается в своего рода «азбуковник», «толковый словарь». Т. е. любое открывающее строку слово становится «словарным»: всему дается неповторимое, «авторское» истолкование. Парад таких толкований дан в цикле «Восточный календарь» — своеобразными «портретами» зодиакальных животных этого календаря. Даже если заглавное слово не стоит в начале каждой из десяти строк такого стихотворения-«портрета», анафоричная начальная буква-звук так или иначе характеризует это календарное животное. Например: «Мышь вырастает из травы — подножья неба. / Мысль ветра обретает форму молитвы. / Мир стар, чтоб помнить с детства своего сказанье — / Миф о мышином Аполлоне, ставшем богом света» («Мышь»). Хорош и тигр, достойный быть награжденным «тиарой», а далее, по вертикали анафоры, поименованный «тираном», «терзаемым узвленной гордыней» (в клетке зоопарка), которому «тесна — вольера, у которого «тень тропиков скользит в движении каждом» и который — «трофеей безумного триумфа человека» («Тигр»). Змея — это «заря», «земля», «заветы», это существо «отглагольное»: «звенящие», «зияя» («Змея»); корова — «кобыз» (музыкальный инструмент), «кимвал», «корона», «калитка» («Корова»); овца — «обычай», «Обряд», «осанна» («Овца»). Это и ассоциации, и тождества, заменяющие метафоры, и прочие «средства художественной характеристики», говоря казенным языком, по принципу все того же свитка — скрытого сравнения, уподобления.

Есть, впрочем, и другие «средства». Например, глагольные: «Конь вставал на дыбы, чтоб грозой небеса отзывались. / Конь спасал от забвенья героев и дев волооких. / Конь читал сокровенные мысли царей и пророков. / Конь вращал в своем яростном беге копытами землю» («Конь»). Или существительные, когда о животном напрямую не говорится: «Дол вздрагивает от глухих раскатов грома. / Дрожь пробегает по листе ночного сада. / Дробь капель дождевых гремит тамтамом, / Даль вечности и миг связуя гулким звуком» («Дракон»). К средствам же характеристик можно отнести и обязательное двуступище, так сказать, «от автора» — краткий комментарий, итоговый образ, «мо-

раль», почти басенную: «И кальпы кружатся, земля и небосвод. / И караван веков мышь за собой ведет» («Мышь»); «Весь свет заполнил стального века клик. / В ответ звучит сквозь гул машин тигриный рык» («Тигр»); «Степная ширь, а над холмом / Сверкает солнце золотым руном» («Овца»).

Но подлинного мастерства, вершин в использовании этого «словарного» приема Б. Дугаров достигает в стихотворении «Хадак». Хадак — предмет национальной одежды, шарф, платок. Здесь анафора имеет свое классическое употребление, как «единоначатие, стилистическая фигура» повтора «начальных частей двух и более относительно самостоятельных отрезков речи (слов, полустихий, строк, строф, фраз и т. д.)» («Словарь литературоведческих терминов»), или по М. Гаспарову: «Единоначатие, повтор слова или группы слов в начале нескольких стихов, строф, колонов или фраз», фонетическое, семантическое и т. д.» («Литературный энциклопедический словарь»). Здесь Б. Дугаров в своей стихии истинно восточного красноречия, он тут у себя дома, на родине, в Бурятии, в Азии. Рассказ о пяти цветах хадака становится, по сути, рассказом о своих родных местах, географических, космических, этнических, мифических, духовных «координатах». Об отчизне, о которой поэт готов говорить и писать бесконечно, возвышенно, трепетно. «Белый хадак — белоснежная песнь мирозданья», «серебряный свет поутру», «белая лента Вселенной», «вечности свет сокровенный», благословение жизни, «символ надежды и веры». Синий хадак — символ мужского начала, «Неба-отца», «пожеланье / Счастья, добра и гармонии в жизни земной». Желтый — «дар Солнца и мудрости сутры», «молчание Будды». Красный — «крепости, силы и мужества знак», он «от огня, что в мужчине пылает». И, наконец, зеленый — «облик Земли, материнской силы и нежности, всего растущего и цветущего на земле — «Степь — моей песни зеленый хадак».

Эта степная ширь, даль горизонталь и простор вертикали, слова и смысла заставляет поэта удлинять строку и строфу, давая свободу неспешному речитативу, продолжающему традиции поэтов-сказителей, для которых весь мир, вся Вселенная — Великая Степь. И потому путь степного кочевника: «От крика к голосу, / От сабли к колосу, / От мифа к логосу, / От бубна к лотосу, / От чия к полюсу, / От юрты к космосу» («Путь кочевника»). И от «дуньхуанских теней отшельников» родных мест до парижского Монпарнаса, с посохом «из стебля встревоженной

ветром былинки» и на «поездах и лайнерах серебристых», раздвигающих «шторы миров». Это и есть то самое «этнокультурное духовное кредо кочевников Центральной Азии», рождающее «жажду пространства», которая, пишет Б. Дугаров, «бродит во мне, кочевнике от рождения. / Выдох неба, верится, планиду мою осеняет в круговерти сансары» («Странник»). Это кредо, хранящее дух легендарного Гэсэра, который «семьдесят семь прошел путей, / Семьдесят семь преодолел смертей», победил исчадие зла, многоглавого мангадхая, но не истребил зло вообще. Ибо: «Мир — это зла и добра общезнатье. / Тайны в том нет — / Так мир устроен. // Велено быть / Ветру ветром, / Велено быть / Вепрю вепрем» и т. п. («Стрела Хухэдэя»). «Нет мангадхаев — / Не будет героев, / Не будет Гэсэра», — такова мудрость великого сына бурятских степей и гор.

И, заметим мы, без Гэсэра, Бурятии и Азии, «азимута веры, искавшей в пустыне опору и храмы в душе воздвигавшей», не было бы и поэзии Б. Дугарова. Не было бы ее и без Европы, давшей в античности великую «Илиаду», «трижды запоем» прочитав

которую, он «трижды на миг становился бессмертным» («Троя»). «Гомеры степные» смотрели на него при этом «с укоризной», но сам поэт в итоге и стал таким «Гомером» в своем «Азийском аллюре», сделав анафору — слово древнегреческое, означающее «единоначатие», «вынесение» (вверх, в начало) — словом и бурятским, и восточным. И, как тонко добавил А. Улзытуев, «выражением торжества бесконечного сознания над конечным, “смертным”, над потребительским императивом».

А в целом — словом евразийским, где живет память всего мира, если развернуть «мгновения свиток», и где эпос слит с лирикой. Неслучайно Б. Дугаров завершает свою книгу лирической миниатюрой: «Неба лазурь окропила лужайку — / Незабудки бегут по траве, / Нежность будят во мне — / Необъяснимую, / Невыразимую...» Так же и читатель этой книги, склоняясь перед мудрой ее эпичностью, живо откликается на «необъяснимую, невыразимую» лирику, слегка ироничную, но хрупко-тонкую, разнообразно живую душу поэта-кочевника, странника с «жаждой пространства».

Владимир ЯРАНЦЕВ



АВТОРЫ НОМЕРА

Алейников Владимир Дмитриевич родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер литературного содружества СМОГ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Даvida Бурлюка, других литературных премий. Член ПЕН-клуба. Член Союза писателей Москвы. Живет в Коктебеле и в Москве.

Гаммер Ефим родился в 1945 г. в Оренбурге, окончил отделение журналистики Латвийского госуниверситета, уехал в Израиль в 1978 году. Автор 14 книг стихов и прозы, лауреат Бунинской премии. Публиковался в литературных альманахах и журналах США, Европы, России, Израйля.

Измайлова Виктория Викторовна родилась в 1964 году. Автор поэтических книг, в разные годы выходивших в Чите и Петербурге. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Сибирские огни» и др. Живет в Чите.

Козодой Иван Михайлович (1924 — 1992) — родился в с. Ермолаевка Убинского района Новосибирской области. Ушел на фронт в 1942 г., уволен в запас в 1947 г. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3 степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. Был избачом, председателем сельсовета, печником, работал на заводах им. Коминтерна и им. Чкалова в г. Новосибирске.

Максимова Юлия родилась в семье военного моряка в поселке Тихоокеанский Приморского края. Училась в г. Севастополе в СевГТУ на инженера-радиотехника и экономиста. Публиковалась в журналах «Мамас&Папас» (Москва), «Публичные Люди» (Киев).

Петров Сергей родился в 1975 году в г. Александрия Кировоградской области (Украинская ССР), окончил Омскую высшую

школу милиции, служил следователем, работал радиоведущим в Москве, писал сценарии для сатирического журнала «Фитиль». Рассказы публиковались в «Литературной газете», в журналах «Урал», «Смена», «Студия».

Пивоварова Юлия Леонидовна родилась в Новосибирске. Училась на Высших литературных курсах. Работала в журнале «Горожанка», новосибирских газетах и на радио. Стихи печатались в журналах «Сибирские огни», «Юность», «Дарование». Автор поэтических книг «Теневая сторона», «Охотник». Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

Поздняков Борис родился в 1945 году в Барнауле. Окончил юридический факультет Томского госуниверситета, работал юрисконсультом на различных предприятиях Павлодара (Казахстан). Автор сборников поэзии и прозы. Живет в Новосибирске.

Росов Владимир Андреевич родился в 1954 г. в городе Запорожье. Востоковед-историк. Публиковался в журналах «Славяноведение», «Россия и современный мир», «Новый журнал», «Русская Атлантида», «Проблемы Дальнего Востока». Автор научных монографий, книги очерков о русской эмиграции. Заведующий отделом в Государственном музее Востока. Живет в Москве.

Чех Александр — поэт, литературовед, музыковед. На протяжении многих лет — организатор музыкально-поэтических вечеров в «Доме Цветаевой» при Новосибирской государственной областной научной библиотеке. Живет в Новосибирске.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 году в г. Калинин. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Гуманитарные науки Сибири», «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.